

МАГИЯ  ФЭНТЕЗИ

Елена САМОЙЛОВА



ЗМЕИНОЕ ЗОЛОТО.  
ДЕТИ ДОРОГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА

## Annotation

Дорого ценятся среди людей волшебные шкуры змеелюдов, и еще дороже, если они золотые. Делают из «змеиною золота» лучшие доспехи, в которых уже ничье колдовство не страшно, и потому охотятся за шассами дудочки-змееловы, выискивая бесценный материал в глубоких подземных норах. Но каково юной змеелюдке, семью которой убили, а сама она лишь чудом выскользнула из облавы? Как быть, если на стороне убийц и люди, и закон, а у тебя лишь есть чужой облик и умение видеть истину? Выход один — сделать чужую дорогу своей, врагов обратить в друзей и научиться жить заново...



**Елена Самойлова**

## **Змеиное золото. Дети дорог**

*Автор выражает благодарность Евгении Шпилевой и Роману Льоренте-Касас за консультации в области высоких технологий, а также Льву Самойлову за помощь в постижении тонкостей мужской психологии*



# Часть первая

## ДО И ПОСЛЕ

«Издrevле известно, что нет среди тварей живых страшнее и гаже для человека, нежели шассы, или, как их называют в простом народе, змеелюды. Тело их составное, как у химеры: выше пояса подобие человека, ниже — змеиный хвост длиной до двух сажений, и все покрыто прочной чешуей бурого, черного или зеленого цвета, пробить которую не может даже стрела, пущенная из тугого охотничьего лука. Лишь тяжелые арбалетные болты в состоянии поразить шассу, да и то лишь когда он или она находится под неощутимой, незримой простым глазом властью волшебной дудочки змеелова.

Страшны и свирепы шассы, живущие в глубоких норах, каменных пещерах под горами; никого не подпускают они к своим гнездовищам, а уж когда в гнездах по весне появляются янтарные яйца с крепкой, как камень, скорлупой, тогда поблизости не стоит находиться ни людям, ни прочим разумным существам, ни зверью. Потому как все, кроме принадлежащих к роду шасс, послужат добычей и пойдут на прокорм самкам, ожидающим вылупления детенышей. Лишь змееловы, вооружившись своим искусством, верой в Бога и призвав на помощь надежных воинов, рискуя жизнью, проникают в проклятые гнездовища, чтобы уничтожить расплзающуюся под землей заразу.

Человек благодетельный и милосердный спросит, почему шассы считаются самыми гадкими, самыми отвратительными существами среди множества других, населяющих леса, горы и обширные степи на далеком юге Славенского царства? Отвечу: «Никто другой не способен пожрать разумное существо, дабы после заменить его собой». Потому и боятся шасс простые непросвещенные люди — стоит найти на окраине города сброшенную, изодранную в клочья бурую или черную змеиную шкуру в полторы-две сажени длиной, как в сердца людей закрадывается страх и недоверие ко всем, даже самым близким. Ведь известно, что шасса способна украсть не только внешность человеческую, но и память, и, сказывают, даже душу у не крещенных огнем божьим, потому и распознать ее могут лишь служители Ордена Змееловов, коим Господь даровал силу и власть увидеть скользкую змею в облике неповинного человека.

Но шассы не так бесполезны для человека, как может показаться на первый взгляд, и не столь неуязвимы, как думают многие. Плотная, блестящая на солнце чешуя, что покрывает их тела, является превосходной защитой от направленной магии, но и она же, будучи снятой с еще живой или свежееубитой твари, сохраняет это свойство долгие-долгие годы. Потому все лучшие доспехи, используемые волшебниками, изготовлены из шкур шасс, обработанных особым образом. Ядовитый шип, что венчает кончик хвоста у взрослых змеелюдов, равно как и железы, подающие яд в полые клыки, используют при создании универсального противоядия, которое может излечить любое отравление. Шассы не любят холода, неплохо переносят жару, но при всей их живучести самый простой и доступный способ окончательно уничтожить умирающего змеелюда — это сжечь его на костре, а пепел развеять по ветру или над текучей водой.

Среди шасс существует подвид, весьма немногочисленный и очень редкий, — золотые шассы. Как часто они рождаются, никому не известно, за всю историю существования Славении только четыре золотые шассы были обнаружены и ликвидированы Орденом Змееловов, и из шкур их были созданы превосходные доспехи, принадлежащие царскому роду Лазоревичей. На что способны золотые шассы, толком неизвестно, но трудности при их поимке несравнимы с трудностями, которые подстерегают змееловов на охоте за любой другой известной людям тварью».

*(Книга нелюдей, том второй)*

Тихим звоном отзываются кристальные деревья, выросшие в саду близ нашего гнездовья, на каждое, даже самое легкое прикосновение ветра — частого гостя в запутанном лабиринте ходов, «солнечных окошек» и воздухоотводов. Родители мне рассказывали, что когда-то давно, почти две сотни линек назад, здесь были так называемые шахты, где наши соседи, смешные низкорослые существа с негибкими, неуклюжими подпорками-ногами, добывали искрящиеся на свету камни, но потом сюда пришло людское проклятие, и гномы оставили эти места. К тому времени наш род, отделившийся от Золотого города, находящегося где-то в далеких горах, искал место для нового гнездовища — теплое, уютное, сухое и, что самое главное, безопасное. Ведь под землей живет множество хищных неразумных существ, которые охотятся как за новорожденными детенышами шасс, теми, кто еще не обзавелся прочной чешуей и не научился быстро и ловко ползать, так и за молодыми матерями, что откладывают светящиеся во мраке яйца в выращенное из каменных друз ячеистое гнездо.

Я опасливо огляделась по сторонам, но единственное сияние, которое я видела, — это огоньки, мерцающие внутри стволов кристальных деревьев. Значит, никого живого поблизости нет, иначе мои глаза сразу узрели бы исходящий от прищельца свет, который и подсказал бы, враг передо мной или друг. Впрочем, врагам тут взяться неоткуда: всех крупных хищников еще до моего рождения выжили отец с братьями, да так успешно, что желающих полакомиться за счет шасс сильно поубавилось. Я успокоилась, маленький еще гребень вдоль позвоночника вновь прижался к спине, став почти незаметным, да и короткие гибкие шипы на голове, которым только предстояло стать острыми и нести на кончиках парализующий яд, перестали вставать дыбом и привычно защекотали плечи, покрытые чешуей. Тишина каменного сада наполняла сердце спокойствием и возвращала веру в собственные силы.

Мягко сияют в темноте разноцветные искры на кончиках почти прозрачных веток; каждое дерево выращено с любовью, с мастерством и с каждой последующей линькой становится все более совершенным. Высокое, чуть зеленоватое берилловое дерево отца отполировано прикосновениями души до сталагмитовой гладкости — даже не верится, что когда-то давно это был всего лишь небольшой кристалл с палец длиной, шероховатый, неприметный. Отец нашел его, когда был немногим моложе меня, на свою двадцать вторую линьку, и даже удивительно, что его именно хрустальное дерево выросло так быстро и стало настолько безупречным. Чуть в стороне, в соседней линии, скрывается более низкий изумрудный росток моей матери, что сияет ярче подземных огней в глубокой шахте. Это самое прекрасное дерево в своей линии, самое заметное, хоть и небольшое — моя мать слишком молода, и я — ее дитя из первого выводка. Пройдет совсем немного времени, у меня появятся новые братья и сестры, и тогда кристальное дерево моей матери станет еще прекрасней, еще лучше.

Сегодня я приползла сюда для того, чтобы в очередной раз попытаться прорастить свой собственный кристальный росток на отведенном специально для меня небольшом участке каменного пола поблизости от отцовского дерева. Побегу двух моих братьев и сестры уже мерцали в темноте едва заметными пока что голубоватыми огоньками — так слабо, что не поймешь толком, какие камни они использовали, но главное, они уже есть. Ведь каждый

росток свидетельствует о взрослении, каждое кристальное дерево в нашем саду показывает, насколько силен и смел его владелец, насколько чисты его помыслы, насколько велика тяга к совершенству, к которому нам велит стремиться учение богов Тхалисса.

То, что я на пороге двадцать седьмой линьки не сумела создать росток кристального древа, свидетельствует либо о том, что я неполноценная, слишком слабая для того, чтобы в дальнейшем дать жизнь потомству, либо что пока мне попросту не попался подходящий камень. Мать утешала меня, объясняя, что все дело в материале, отец только качал головой, а младшие братья смеялись и считали отсталой. Может, это потому, что мое яйцо, когда лежало в общей кладке, было настолько тусклым, что мать боялась пустышки? Не знаю.

Сейчас я прятала в запястной складке аккуратно извлеченный из породы рядом с одной из вентиляционных шахт небольшой ярко-желтый топаз и надеялась, что на этот раз все получится. Положить камешек на неровную, шероховатую поверхность пола, накрыть ладонью, представить, как увиденное краем глаза внутри кристалла сияние тонкими ниточками-корешками уходит в толщу породы, как укрепляется и становится более гладким каменный росток, как...

— Аийша! — Искаженный эхом шелестящий голос младшего брата заставил меня вздрогнуть, я перестала чувствовать наливающийся теплом топаз, и камешек, почти укоренившийся в теле скалы, опять превратился в мертвое и бездушное семя. — А я тебя везде ищу!

Только сейчас я заметила братца, выбирающегося из узкого, невесть как тут образовавшегося лаза, больше напоминающего разлом в стене. Хитрющие глаза, яркие, оранжевые, как подземное пламя, гибкое, подвижное тело, сложный черный узор вдоль позвоночника — весь в нашего отца. Вырастет — наверняка станет его преемником, а пока лишь заноза под чешуей, такая же мелкая и раздражающая.

— Ты мне помешал.

Пытаюсь выглядеть сердитой, а все равно не получается. Детеныш уже различает оттенки эмоций, совсем как взрослый, и точно знает, что я не злюсь, только огорчаюсь. У меня опять не вышло. Кто знает, когда я в следующий раз решусь?..

— Не расстраивайся. — Брат виновато шипит мне в затылок, оборачивается вокруг, кладет голову на изгиб моего хвоста. Ему и вправду жаль, что так вышло, что он помешал очередной попытке доказать родне, но в первую очередь себе самой, что я не урод, что я такая же, как все.

— Я постараюсь. — Хочется добавить в свой ореол, окружающий искру богов, немного больше изумрудных радостных красок, но у меня не выходит: печальной синевы там все больше и больше.

— Хочешь, в следующий раз я тебе помогу? Чуть-чуть, самую малость. Никто и не узнает. — Ярko вспыхивает в его ореоле зеленовато-золотистая надежда. Он и в самом деле хочет загладить свою оплошность, но...

— Нет. Я сама должна.

Брат проворчал что-то неразборчивое, на миг появились красные искорки недовольства и сразу пропали. Вообще. Вместе с ореолом, который практически погас, став тонким, зыбким и почти неразличимым.

Музыка...

Тихая и неслышная, она давила, она подчиняла волю, манила и приказывала прийти на зов, отказаться от которого было почти невозможно. Шорох чешуи, когда брат поднялся и

пополз по каменному полу к источнику мелодии. Быстро, помогая себе руками, он уже скрылся из виду; я вздрогнула и последовала за ним. Неторопливо и осторожно, потому что прекрасная мелодия могла лишь подманивать меня, но не отдавать мне приказы, не давить на сознание.

Они стояли в просторном зале, спокойно, не опасаясь за себя и совершенно равнодушно относясь к тем, кто сейчас прятался за их спинами, до боли в напряженных руках вцепившись в странное, непонятное оружие. Люди, много людей. Столько сразу я никогда и не видела.

Тот, кто играл зов на маленькой, украшенной вычурными прожилками-узорами палочке, почти выдохся, мелодия сбилась на полтакта, я ощутила, как ее власть ослабевает, но тут второй человек, чье лицо было скрыто капюшоном, шагнул вперед, поднося ко рту точно такую же палочку, только более длинную, с ярко сияющими в полумраке драгоценными камнями, и музыка грянула с новой силой. Шассы, сползавшиеся из разных уголков гнездовья, останавливались на расстоянии броска от чужаков, но почему-то не нападали. Более того — опускались на свернутые кольцами хвосты, что означало полную покорность и повиновение.

Рубиновое марево с угольно-черными опаленными краями плотным шлейфом накрывало пришельцев. Глухая, беспросветная ненависть, смешанная со страхом и брезгливостью, подпитываемая чуждой, непонятной мне злостью. Мелодия, изливающаяся из тонких металлических палочек-трубочек, как бирюзовый поток, как причудливые извивы диковинного цветка, надежной петлей обвязавшие каждого из моих сородичей, усмирившие их волю и стремления. Но... зачем?

Прохладное сапфирово-синее пятно невозмутимого спокойствия, пронизанное медными сполохами-огоньками самодовольства и трепетного возбуждения, тот самый второй голос, поддерживающий основу бирюзовой мелодии-петли.

Звук металлической трубочки взлетел к потолку, и петля превратилась в удавку.

Засвистели окованные каленым железом прочные тяжелые палочки, один за другим оседали шассы на каменный пол, заливая его кровью, багряно-красной, жаркой, густой, неровной лужей растекающейся под каждым телом, вокруг которого медленно затухал ореол жизни.

— Почему вы?..

Не боретесь, не нападаете, а покорно умираете под ливнем из остро заточенного железа?!

Тихонько зашипел, соскальзывая на пол, младший брат. Тонкая юношеская чешуя не защитила его от железного ливня, спасти могло только бегство, но он умирал, не трогаясь с места, опутанный бирюзовыми побегими-щупальцами страшной и странной песни, потоком льющейся из тонкой трубочки в руках человека.

Убить... убить... хотя бы его!

Стремительный бросок вперед — люди, полыхающие рубиновой жаждой крови, слишком увлеклись убийством беззащитных, слишком уверовали в свою непобедимость и неуязвимость, в сдерживающую силу бирюзовых побегов и потому не были готовы к тому, что я окажусь так близко.

Гибкий хвост, покрытый бурой чешуей, с размаха хлестнул по рукам человека, держащего металлическую трубочку, из которой лилась мелодия зова. Негромкий треск хрупких косточек, тонкие пальцы разжались, роняя стремительно тускнеющий инструмент,



изрезанный святащимися зеленоватыми прожилками, а высокий, надрывный крик взлетел к потолку, эхом отражаясь от каменных стен пещеры. Человек отшатнулся, капюшон слетел с головы, открыв лицо, искаженное болью и яростью. Золотым жгутом соскользнули по плечу свитые в странную прическу с медным шариком на конце волосы, узкие плечи вздрогнули и поникли.

Человечка — это все-таки была «она» — прижала к груди искалеченные руки, что-то выкрикнула с жаркой, отчаянной яростью, полыхнувшей на миг ярчайшей алой звездой с неровным обугленным краем, и тотчас по моему боку скользнуло нечто острое, холодное, безжалостно разрезающее нежные темно-коричневые чешуйки на ребрах.

Больно...

Я отшатнулась, наотмашь взмахнула хвостом так, что человек, вооруженный стальной лентой, едва успел отпрыгнуть в сторону, уклоняясь от удара, — и метнулась в спасительный туннель, в тайный сад нашего семейного гнездовища. Туда, где в округлом зале множество узких проходов и извилистых лазов, протиснуться в которые может только шасса, не выросшая до размера взрослой особи.

Быстрее, еще быстрее! Помогая себе руками, цепляясь коготками за трещины в гладком полу, заползти в каменный сад и на миг оторопело застыть неподвижной статуей. Один за другим гасли кристальные деревья, превращаясь в мертвые камни вслед за своими создателями, тускнели причудливые веточки, с тихим звоном падали на пол вычурные разноцветные друзья. Нет больше моего рода: последние деревья меркнут, отмечая смерть прорастивших их из мертвой каменной породы шасс, погружают обширный зал в непроглядную тьму.

Нужный лаз едва заметно мерцает сине-сиреневым по неровному контуру узкой щели в теле горы. Втиснуться туда непросто, острые выступы нещадно царапают чешую, приходится проталкиваться вперед, цепляясь пальцами за трещины, изворачиваясь и безмолвно упрашивая мать-гору, чтобы пропустила в свое чрево, не зажала намертво в каменных тисках, обрекая на медленную смерть от голода и жажды.

Крики людей за спиной как грохот обвала — подгоняет так же хорошо, как оползень из дробленой руды, под который я едва не угодила в детстве в заброшенном гномьем руднике.

Я рванулась вперед, содрав об острый выступ чешую на спине, и оказалась в крохотной пещерке, дно которой было заполнено черной водой, изливавшейся из подземного источника. Затаилась, наполовину соскользнув в холодное озерцо и вслушиваясь в отрывистую людскую речь, доносившуюся из умершего каменного сада.

Что-то острое кольнуло изнутри запястную складку, покрытую мелкой чешуей. Я опустила руку, и в ладонь мне выскользнул необработанный золотисто-желтый топаз, уверенно мерцающий во мраке подземелья искрой готового прорости каменного семечка. Только вот родового сада уже не существует... как и самого гнездовища...

Я свернула в тугой клубок и тихонько горестно зашипела, зажав в кулаке топазовое семечко. Найду их, безжалостных, беспощадных, чужих. Найду играющих на металлических трубочках-инструментах и сделаю так, чтобы эта страшная мелодия больше никогда не звучала.

Даже если для этого придется влезть в шкуру одного из них.

Переполох, поднятый в нестройном ряду наемников мелкой шассой, которую не сумела захватить песнь молоденькой дудочки, постепенно утихал. Наемники, вооруженные

тяжелыми мечами, торопливо добивали распростертых на каменном полу нелюдей, довольно гогоча и подсчитывая немалую прибыль, которую выплатят змееловы за три десятка чешуйчатых шкур. Кто-то сдуру погнался за поганой мелочью, удивительно ловко хлестнувшей по рукам дудочницы хвостом и смывшейся во мрак подземелья, покуда наемники расправлялись с ее сородичами, — и хорошо, если обратно вернуться. Шассы даже в подростковом возрасте отличаются скверным характером, а будучи загнанными в угол, продают свою жизнь особенно дорого.

Викториан, уже лет десять назад получивший гордое звание первого голоса, убрал тонкую металлическую дудочку, украшенную янтарем, аметистами и тонким кружевом медных узоров, склонился над подвывающей от боли девушкой, бессознательно прижимающей к груди покалеченные кисти:

— Прекрати мычать, ты меня сбиваешь.

Дудочница, еще с утра заслуженно претендовавшая на роль первого голоса, упрямо вскинула голову, глядя на змеелова сквозь встрепанную золотистую челку, но почти сразу сникла, отвернулась, словно устыдясь побелевшего, искаженного болью лица и распухшей, до крови закушенной губы.

— Умница, — негромко проговорил Викториан, осторожно берясь за запястья девушки и разворачивая ее руки поближе к неровному свету чадающего смолистого факела. Невольно присвистнул, когда разглядел, во что превратились изящные гибкие пальцы его недавней ученицы.

Правой руке досталось больше, чем левой: четыре пальца из пяти перебиты ловким ударом хвоста, указательный вообще раздроблен так, что острые осколки кости пробили кожу и торчат из кровавой раны белесыми наростами. Вряд ли его теперь соберут даже лучшие медики Ордена Змееловов, скорее всего, попросту отрежут, чтобы рука не сгнила и не потащила девушку в могилу. А вот левой бывшая — теперь уже точно бывшая — дудочница пользоваться сможет, только вот выше второго голоса в любой из возможных связок-союзов ей никогда не подняться. Не сыграть на изящной дудочке сложной многоступенчатой мелодии-заклинания, не опутать нелюдей прочной сетью приказа, отнимающего волю и заставляющего покориться воле человека даже шассу.

— Вик... все настолько плохо? — Дрожащий, срывающийся голос девушки почти не слышен среди радостного гомона наемников, которым покалеченная дудочница была до сгоревшей свечки. — Не молчи только...

— Катрина, — змеелов поднял на ученицу разноцветные глаза, покачал головой, — если повезет, ты останешься вторым голосом, до первого тебе уже никогда не подняться. Мне жаль. Рекомендую после выздоровления пойти к ганслингерам, они...

— Хочешь сказать, что они принимают даже калек?!

— Хочу сказать, что у них ты сможешь реализовать свои амбиции. Среди дудочников у тебя такого шанса не будет.

— Где она?! — Девушка вдруг отшатнулась, поднялась на ноги и, неловко держа перед собой покалеченные кисти, шагнула к заполненному непроглядной тьмой коридору, откуда слышались голоса пустившихся в погоню наемников. — Где эта нелюдь?! У нее нет права жить! Нет! Нет!!! Я сама убью ее! Ненавижу!

Змеелову пришлось схватить за пояс разразившуюся бессильной и оттого более злобной площадной бранью дудочницу, осторожно, почти нежно обхватить тонкую шею ладонью, надавливая пальцами на пульсирующие жилки и начиная размеренно отсчитывать про себя

мгновения. На счет «восемь» девушка безвольно обмякла. Викториан окликнул суетливого наемника, возившегося с трупом змеелюда и, вероятно, надеявшегося найти в запястных складках чешуйчатой кожи драгоценные камни, которые шассы иногда таскают с собой, как хомяки — зерно за щеками, и приказал вынести девушку из подземного гнездовища. К скупому дневному свету, сырой, промозглой осенней непогоде и телеге, на облучке которой терпеливо ждали возница и состоящий на службе у Ордена лекарь. Там дудочнице хотя бы перевяжут руки и напоят обезболивающим, чтобы можно было довести раненую до ближайшей обители Ордена, а затем видно будет.

Викториан равнодушно проводил взглядом наемника, торопливо уносящего на плече покалеченный второй голос, и недовольно покачал головой. Способности у девушки были неплохие, иначе он ни за что не взялся бы ее обучать, но амбиции и самоуверенность зачастую подводили дудочницу. Подвели и сейчас. Вместо того чтобы удостовериться, что все гнездо змеелюдов подпало под власть заклинающей мелодии, она пошла к ним навстречу, чувствуя себя победительницей. Один раз споткнулась — Викториану даже пришлось подыграть ей, поддержать ее музыку долгой нотой, не дав распуститься узлам невидимой сети — и, скорей всего, именно тогда мелкая тварь умудрилась стряхнуть чары и атаковать, интуитивно ударив так, чтобы нанести максимальный вред. Худшей травмы для музыканта, чем переломанные пальцы, даже придумать трудно.

— Ушла, зараза. — Вынырнувший из черноты коридора наемник досадливо сплюнул на забрызганный темной кровью пол, брезгливо переступил через распростертое чешуйчатое тело, с которого в ближайшее время снимут ценную шкуру, и подошел к дудочнику. — Там в пещере ходов как в крысином гнезде, нырнула небось в щель поуже, да и затаилась, будет ждать, пока мы не уйдем. А может, застрянет где и издохнет с голоду. Кто знает, что у этих тварей в башке делается?

— Факел дай. — Викториан требовательно протянул руку, обтянутую тонкой кожаной перчаткой с обрезанными пальцами и узором-чешуей. Вряд ли мелкая тварь уползла далеко: шассы на удивление крепко привязываются к гнездовищу, особенно молодняк, и редко удаляются от своих каменных нор даже после их разрушения. Никуда не денется, будет кружить вокруг в боковых коридорах, пока не проголодается. А потом... Интересно, змеелюды пожирают своих мертвых или они не настолько стремятся к выживанию?

Неровный оранжевый свет чадающего, постепенно догорающего факела плясал по шероховатой стене коридора, дробился в крошечных хрустальных розетках, проросших сквозь тело скалы подобно диковинным цветам. Каждый шаг змеелова гулким эхом отражался от низкого потолка, звук разносился по сумрачному подземелью, напоминая затухающее биение чьего-то сердца. Тишина была столь глубокая, что Викториан слышал лишь шум крови в ушах да изредка возгласы наемников, свежую добычу в соседнем зале.

Мертвое гнездовище шасс неохотно впускало в свое нутро победителя-человека, и ему пришлось пригнуться, чтобы зайти в просторный зал, который никак не мог осветить слабенький огонь, при каждом порыве сквозняка пугливо прижимающийся к просмоленной палке, обмотанной ветошью. Неудивительно, что мелкую тварь не обнаружили — тут дальше собственной руки ничего толком не разглядишь, а с учетом того, что по своим подземным гнездовьям шассы умеют передвигаться совершенно бесшумно... В этом зале можно долго играть в прятки, пока змеелюду не надоеет предложенная игра и он не нападет со спины, переламывая хрупкую шею человека одним ударом хвоста.

Викториан едва заметно улыбнулся, аккуратно пристроил потрескивающий факел у

каменной стены, изрезанной глубокими неровными трещинами, и расстегнул тугой ворот рубашки. Потянул за длинную прочную цепочку, напоминающую серебристый витой шнур, и извлек из-за пазухи вычурную металлическую трубочку в ладонь длиной. Чуткие пальцы музыканта-змеелова скользнули по полированной узорчатой поверхности простенькой на первый взгляд дудочки, надавили на едва выступающую завитушку. Раздался тихий мелодичный звон, и дудочка вытянулась, став втрое длиннее прежнего, блеснула россыпью крошечных драгоценных камней-искорок, складывающейся в сложный узор-заклинание, узор-приказ, узор-правило. Инструмент Кукольника, над которым Викторян работал втайне ото всех с того дня, когда получил звание первого голоса и понял, что может находиться на полшага, а то и на шаг впереди своего учителя, своего Ордена. Дудочка змеелова, дудочка первого голоса при должном мастерстве исполнения и упрямом стремлении играющего на ней способна поставить на колени любую нечисть, а нежить и вовсе раздавить, раз и навсегда упокоить, возвратит в землю, из которой она восстала, но на людей не действует. Иногда люди даже не слышат мелодию, лишь едва ощущают вибрацию, щекочущую кончики пальцев и зарождающую смутное беспокойство в груди, но и только. Чего нельзя сказать об инструменте Кукольника, который чарует людей с той же легкостью, что и нечистых тварей, а доведенный до легендарного, недостижимого пока совершенства способен изменить тело и сущность человека. Превратить полуразложившегося вампира в живое существо, каким тот был когда-то. Вернуть оборотню человеческий облик и унять звериную ярость даже в ночь полнолуния.

Но и превратить человека в нечистую тварь, утратившую душу, тоже.

Говорят, первые Кукольники и основали ныне существующий Орден Змееловов, набрали учеников для того, чтобы очистить мир людей от расплодившихся чудовищ, и начали передавать им свои знания о волшебных инструментах, превращающих силу человеческой души и воли в приказ, а то и новое Правило. Но слишком непредсказуемы были порывы человеческие, а жажда власти могла пересилить благородное стремление оберегать и защищать, и поэтому Кукольники не раскрыли ученикам главный секрет — как собрать инструмент, изменяющий людей с легкостью умелого скульптора, лепящего из мягкой, податливой глины новую статую.

Кукольники уходили один за другим, унося с собой все флейты, но оставляли после себя множество подсказок. И если у змеелова достанет упорства в достижении поставленной цели, а воля и мастерство подкрепятся бездной терпения, рано или поздно он сумеет создать инструмент Кукольника, тонкую металлическую дудочку, которая позволит сыграть мелодию, изменяющую мир вокруг.

Такую, как та, что лежала на ладони Викторяна. Еще несовершенная, требующая доработки, долгого кропотливого труда, но уже способная на многое. Например, заставить светиться весь этот зал, уничтожив тени в каждом потаенном уголке, а не просто наделать десятков-другой волшебных светлячков, от хаотичного мельтешения которых зачастую больше вреда, чем пользы.

Змеелов медленно, почти торжественно поднес тонкую дудочку к губам, и инструмент отозвался на дыхание человека нежным долгим свистом-трелью, ступенчатым переливом, звоном разбивающихся о каменный пол сосуллек, отзвуками водяной капли, шелестящего по галечному руслу лесного ручейка.

Любое заклинание требует от истинного музыканта не только мастерства исполнения, но и недюжинной силы воли. Именно она становится основой колдовского плетения, на

которую ложится разноцветный магический узор-приказ, способный изменить мир вокруг заклинателя. Так просто — и одновременно это кажется невозможным. Собранный собственными руками дудочка не может зажечь в воздухе величественное сияние, подобное которому можно увидеть только на далеких северных островах, покрытых снегом и льдом, но высоко над головой уже разворачивается зыбкое свечение, ледяная радуга, освещающая зал от края до края.

Мириадами разноцветных огоньков заиграли на свету причудливо изогнутые стволы тонких, на первый взгляд хрупких каменных деревьев. Каждая веточка, каждый листок, больше похожий на полупрозрачное птичье перо с мягко закругленным кончиком, каждый извив рисунка на отполированной поверхности подземного растения выглядел произведением ювелирного искусства. Казалось, отломил цветок или ветку — и будет тебе изысканная брошь или украшение, даже обрабатывать не надо, только петельку прикрутить. Да и камень можно любой выбрать: в шассьем каменном саду и аметистовый куст есть, и хрустальный, и даже небольшое деревце из темно-красного граната, больше похожее на застывший во времени фонтан крови из глубокой раны.

Как змеелюды, не знакомые ни с ювелирным делом, ни с магией, умудряются создавать такие подземные сады, до сих пор загадка, которую пока никому из людей разгадать не удалось. Почему они всегда подбирают для своих «поделок» разные камни с одним и тем же изъяном — черным расплывчатым пятном в глубине тщательно отполированного «ствола», — тоже непонятно. словно гнилое дупло, выжженная дыра в ярком полупрозрачном камне. Да и что толку шассам с такого сада в крошечной тьме? Теперь уж точно никакого. А драгоценные деревья станут хорошей добычей для Ордена Змееловов, ведь недаром считается, что найти шассье гнездо в теле горы — огромная удача, все равно что обнаружить зачарованный клад или сказочные драконьи богатства. Несметные, неисчислимы...

Викториан неторопливо подошел к кроваво-красному гранатовому кустику, наклонился, рассматривая уродливое черное дупло в глубине камня. Для личного сада совсем неплохая статуя будет, да и не самое ценное сокровище в пещере этот застывший кровавый фонтанчик. Уступят трофей победителю даже скупые кладовщики Ордена, никуда не денутся. Раз уж все равно дудочник не нашел того, что надеялся обнаружить в разоренном гнезде шасс, поневоле придется довольствоваться подвернувшимся под руку...

Несовершенная, недостойная пока называться инструментом Кукольника, тонкая металлическая дудочка смолкла, и разноцветный светящийся туман, причудливым облаком закрывший почти весь потолок обширной пещеры, начал медленно рассеиваться и гаснуть. Еще минуту-другую он повисит, освещая мертвый каменный сад змеелюдов, а потом растает без следа, и можно будет уходить, запечатав вход в подземелье особым ритуалом, который не допустит в недра разоренного гнездовища никого, кроме носящих на своем оружии клеймо Ордена — свившуюся в клубок змею, покорно опустившую узкую граненую голову.

Дудочник убрал инструмент за пазуху и принялся придирчиво рассматривать низенькое светло-голубое аквамаринное деревце, более походившее на вытасченный из глубин моря коралловый побег. Протянул руку и с резким костяным треском отломил сверкающую каменными почками и крохотными цветочными бутонами верхушку, сунул обломок в просторный кожаный кошель на поясе. Пригодится каменная веточка из шассьего гнезда — украсит собой инструмент Кукольника и, быть может, сделает самого Викториана хоть на полшагочка ближе к заветной цели.

Странно все-таки шассы «высаживают» свои скульптуры: ровные линии то и дело прерываются, перемежаются пустыми участками, совсем как при обычной рассаде, когда работники специально оставляют побольше места между деревьями, чтобы в дальнейшем там можно было разбить цветник, высадить кусты или провести дорожку. А здесь? Будто знают людские порядки и стараются их скопировать. Зачем только? Чтобы потом проще было влезать в человечью кожу, превращаясь из жестокой твари в безобидное существо? И так уйти от погони?

Не получится. Для того Орден Змееловов и существует, чтобы не случилось ни с кем страшного, невыносимого, позорного.

*Высокий, протяжный звон-свист, мелодия, навязчиво, настырно ввинчивающаяся в уши. Теплая материнская ладонь, только что оглаживающая мальчика по голове, безвольно соскальзывает с нагретой солнцем макушки. Нежная, выбеленная дорогими кремами и притираниями кожа сначала грубеет, на глазах покрывается глубокими морщинами-бороздами, а потом вдруг сползает с хрупкой руки, как перчатка, обнажая покрытую ярко-зеленой чешуей когтистую шассью конечность...*

Викториан встал на колени прямо в мелкую каменную пыль, нисколько не заботясь о дорогих суконных штанах, моментально покрывшихся серыми пятнами, скользнул кончиками чутких пальцев музыканта по неожиданно теплomu полу пещеры, изрытому небольшими ямками, на дне которых едва заметно поблескивала золотая паутинка — будто оборванные в спешке тонехонькие корни цветочного побега.

— Эй, господин змеелов! Тебя тут маленькая поганка часом не зажрала? — Голос одного из наемников гулко раздался под сводами, далеко разлетелся по подземелью, порождая причудливое, чуточку пугающее эхо, от которого у человека неподготовленного мороз пройдет по коже.

Викториан усмехнулся, торопливо поднялся, небрежно отряхнул штаны и направился навстречу подчиненному «на раз». Расходный материал в бою, эти люди после успешного завершения чистки часто становились развязными и самоуверенными, неразумно предполагая, что опасность осталась лежать мертвой на окровавленном полу.

Наемник пугливо шархнулся в сторону, когда дудочник выступил из сероватых сумерек в чернильную мглу узкого туннеля, которую не разгонял неуверенный свет затухающего факела, едва удержался, чтобы не перекреститься, когда оранжевое пламя дважды отразилось в разноцветных глазах. Правый темный, почти черный, как дуло пистолета ганслингера, а левый светло-зеленый, прозрачный, как вода в затянутом ряской лесном пруду или шассий яд, — глянешь в такие и поневоле задумаешься, так ли велика разница между охотником-змееловом и его жертвой?

— Там... это... уже обдерихи заканчивают. Спрашивали, шкуры от кожного сала сразу чистить или как есть к телегам сволакивать?

— Пусть как есть относят.

Тихий, нежный, почти неслышимый свист, шипение, которое можно принять за шум крови в ушах, ощущение непонятной, неизвестной магии-волшебства, царапнувшее затылок острой ледяной колючкой. Змеелов застыл на месте как вкопанный и даже не покачнулся, когда в спину его врезался коротко матернувшийся наемник. Медленно развернулся, отодвигая недоумевающего человека в сторону, скользнул кончиками пальцев по кожаному

чехлу на поясе, плавно вытягивая инструмент первого голоса и всматриваясь в чернеющую мглу, заполнившую пещеру мертвого каменного сада.

Здесь она. Спряталась там, где человек до нее не доберется, и теперь выжидает. Если забила в тупиковый туннель, это полбеды: либо сдохнет от голода и жажды, либо попытается выбраться, пока тут орудуют гномы, аккуратно раскалывающие основания каменных деревьев под присмотром змееловов. Тогда ее гарантированно прирежут и невзрачную бурю шкуру прибавят к трофеям, оставшимся от родственничков.

А если нет? Если ход, куда забралась незрелая шасса, ведет на поверхность, к людям? Тогда ее днем с огнем не разыщешь, все ноги собьешь, и облава не поможет. Хитрые и юркие эти змеелюды, а уж когда из шкуры своей вылезут и человечью кожу напялят, и вовсе не обнаружишь, разве что случайно шасса сама себя выдаст или попадет под трель змеелова.

*— Не с-с-смотри!*

*Треск ткани, и широкая юбка, хранящая аромат белых роз и фиалок, накрывает ребенка с головой. Истошные вопли торговки почти заглушают музыку дудочки, которая становится все громче и громче с каждым ударом сердца. Родной, бесконечно любимый ласковый голос уже не узнать, слова звучат как шипение опущенной в воду горячей головни.*

*— С-с-сапомни. Твоя мать умерла с-с-сразу пос-с-сле родов.*

*Далекие отрывистые хлопки, звенящая музыка, оборвавшаяся на самой высокой, надрывной ноте.*

*Через дырочку в плотном синем бархате материнской юбки видна только покрытая изумрудной чешуей когтистая ладонь шассы, неподвижно лежащая на окрашенном багрянцем булыжной мостовой...*

Нельзя ее упустить. Маленькие змеючки в человеческом теле растут втрое быстрее, а память у них долгая — через полвека обидчика почувют и узнают. И непременно отомстят.

— Бегом к выходу, чтобы не мешал.

Второй раз наемнику повторять не пришлось: похоже, он считал оплату своего труда слишком низкой, чтобы всерьез рисковать жизнью при охоте на шассу, будучи вооруженным всего лишь коротким мечом не самого лучшего качества. С арбалетом в руках, да за спинами дудочников, оно всяко проще и приятней.

Шипение раздалось снова, на этот раз ближе. Еле слышный шорох чешуи по каменному полу. Выползла все-таки, гадина мелкая.

Викториан сунул узорчатую дудочку в чехол на поясе, вместо нее вновь доставая из-за пазухи инструмент Кукольника. Раздался тихий звон, когда металлическая палочка вытянулась, вспыхнула изумрудно-зелеными узорами под чуткими пальцами человека... Загорелись во тьме мертвой пещеры золотые шассы глаза с узкой трещиной зрачка, мириадами солнечно-желтых искр заплясала по ее чешуе магия инструмента Кукольника, оплела тугой петлей — и вдруг распалась на куски, жарким огненным ветром пронеслась под сводом подземелья, на краткий миг выхватывая из темноты заползающую в узкую трещину змеелюдку. Расплавленным золотом, раскаленными угольями блестел вычурный узор на кончике тонкого хвоста с неоформленным, безопасным пока шипом.

Узкая каменная кишка нещадно сдавила со всех сторон ставшее скользким чешуйчатое тело.

По влажной скале стекали тонехонькие ручейки, капли воды срывались с низкого потолка небольших пещерок, собираясь в мелкие солоноватые лужицы на полу. Слышно было, как за тонкой, непрочной стенкой шумела втиснутая в извилистое русло подземная река, как изредка глухо ударялись о стену булыжники, влекомые бурным течением, — русло в этом месте круто изгибалось, река вначале удалялась глубже под землю, а потом прокладывала себе путь наружу.

Я ползла вперед по влажному туннелю, помогая себе руками, цепляясь за камни, высвеченные голубоватым контуром. Страшно тут не то, что приходится протискиваться в узкую щель, страшно дышать, хвататься за выступы и думать о том, что в любой момент бурная подземная река может разрушить тонкую перегородку, отделяющую слишком тесное для нее русло от лаза, больше похожего на рану в теле горы...

Быстрее, еще быстрее.

Я слишком боюсь умереть так. От воды, заполняющей легкие, от течения, что подхватывает, подобно руке великана, и с яростью швыряет о камни, скрытые под водой. Боюсь с тех пор, как случайно свалилась в горный поток и едва сумела выбраться — просто несказанно повезло, боги Тхалисса еще хранили в тот день свое неугомонное, непоседливое дитя. Тогда мне все время чудилось, что на каждом бурлящем в полной темноте пороге река пытается затянуть меня в узкую промоину, протащить сквозь разлом, обнимая со всех сторон ледяными потоками-пальцами, убить, уничтожить, сделать своей частью, мертвой, холодной... и такой же безжалостной.

Меня вытащил отец. Именно его сияющая густо-синей аурой спокойствия рука схватила меня за хвост, выловила из беснующегося подземного потока в тот момент, когда я была готова сдаться и позволить реке нести меня куда угодно — хоть в открытый мир под солнцем, хоть под землю, к предкам.

Но сегодня отца рядом не было. И уже никогда не будет.

Погас, умер каменный сад, на месте сияющих огоньков остались лишь уродливые черные дупла, будто кто-то жестокий и невероятно сильный вырвал живое, еще бьющееся сердце из каждого ствола, выращенного тщательным, кропотливым трудом.

За что?! Вопрос, который не давал мне покоя, который звучал в голове эхом предсмертного вздоха-шипения, метавшийся под сводами черепа, как под потолком каменного подземного зала. За что эти двуногие нас так ненавидят? Что мы, живущие в пещерах и очень редко выбирающиеся в открытый мир под солнцем, успели им сделать, чем обидели так сильно, что они пришли не разговаривать, не наблюдать, а вершить странный несправедливый суд, выносящий нам смертный приговор? Разве мы кому-то мешали? Горы, внутри которых раскинулась частая сеть туннелей нашего гнезда, свободны и необитаемы, да и на поверхности нет ничего, кроме голых скал и редкого жесткого кустарника; вниз изредка спускались только малорослые гномы. Далеко от выходов не уходили, осматривали несколько туннелей и залов, да и уходили ни с чем — сунуться в глубь подземелий не рисковали. А эти... эти пришли как хозяева, как победители, как властелины всего сущего.

Острый камень врезался в бок, скользнул по прочной чешуе с противным скрипом. Я



зло зашипела, рывком проползла вперед, чувствуя, как вздрагивает тонкая стена, отделяющая меня от бурного речного течения. Опасный туннель, пугающий до дрожи, холодный, узкий — но единственный из известных мне, что ведет в открытый мир. Другие, может, и были, но я о них не знала, а отец собирался рассказать, но позабыл. Теперь поздно об этом думать, да и назад не повернешь: не пустит обнявшая со всех сторон скала, сожмет, раздавит тяжестью своего холодного чрева. К тому же наши боги не благоволят к трусам и отступникам, не прислушиваются к молитвам тех, кто отказался от намеченной цели из-за малодушия, отворачиваются от них в тот миг, когда помощь жизненно необходима...

Рывок, еще рывок.

Грохот воды постепенно отдаляется, туннель становится все суше и шире. Уже можно не протискиваться в узкую щель, полагаясь только на руки с обломанными коготками. Еще немного — и я сумела выпрямиться, поползти по тихо шуршащему камню, низко пригибая голову, чтобы ненароком не стукнуться лбом о редкие сталактиты, слабо мерцающие в подземном мраке.

Легкий, едва ощутимый теплый ветерок ласково скользит по влажной, кое-где ободранной чешуе, успокаивает боль. С двух пальцев на левой руке коготки сорваны начисто, и кровь капает на камень тяжелыми темными каплями, отмечая мой путь в открытый мир. Шкура покрыта царапинами, поток свежего воздуха неприятно щекочет длинные ссадины на боках, некрасиво ободранные, ставшие дыбом чешуйки, которые проще отодрать, чем пытаться пригладить, вернуть в четкий узор.

Впереди забрезжил дневной свет, показавшийся мне безумно ярким и слепящим после непроглядного мрака подземелий, где я привыкла ориентироваться, полагаясь на разноцветное сияние, исходящее от каждого предмета. От живого существа — яркое, сильное, вызывающе заметное, от каменных туннелей, подземных грибов и скал — тонкий, едва видимый контур. Отец рассказывал, что только мертвые невидимы для зрения шасс, лишь они кажутся нам черным слепым пятном, совсем как дупло, остающееся в сердцевине каменного дерева после смерти его владельца, его хозяина.

Я прищурилась и, стараясь смотреть на каменный пол, поползла к выходу. Открытый мир, раскинувшийся за пределами горы-гнездовища, в первые же мгновения поразил меня до глубины души, ослепил буйством жизненных красок, напугал и одновременно восхитил своим совершенством! Над горизонтом медленно и величаво поднималось дневное светило, разливающее по высоким глубоким небесам рубиновое зарево, у подножия скалы колыхались изумрудные волны-деревья, среди которых то и дело вспыхивали живые огоньки. Серая туманная дымка, легким облачком накрывающая подножие гор, пугливо жалась к земле, медленно таяла под лучами светила, распадалась на пышные белесые клочья, прячущиеся от рассветных шипов в глубоких оврагах.

Сколько же здесь... всего! Богатство, равного которому не сыскать даже в самой глубокой шахте, бесценное сокровище, такое же дорогое, как каменное дерево жизни для каждой шассы. Небо, которое я раньше видела только через небольшие окошки воздухопроводов, оказалось настолько высоким, что у меня закружилась голова. Чудилось, будто бы я проваливаюсь в эту бархатистую сапфировую синеву, чуть подсвеченную крошечными огоньками-бриллиантами, сердце пугливо сжимается, трепещет, будто бы его коснулась чья-то прохладная ладонь...

Тонкий долгий крик прорезает кажущийся безмятежным лес, колышущийся у подножия горы. Эхо мечется между скал, многократно отражаясь от каменных стен, поросших

чахлыми деревцами с мягкими иголочками вместо листьев, затихает, но только для того, чтобы раздаться снова, уже чуточку ближе.

Я пугливо прижалась к скале, сливаясь с пятнами бурой руды, проступавшей сквозь шершавый серый камень, и только тогда услышала низкий отрывистый смех, больше похожий на горловой лай брехливого подземного шакала, трусливой, подлой зверюги, которая никогда не решится напасть на шассу в одиночку, зато если собьется стая хотя бы из десятка крупных особей... Даже взрослой шассе придется нелегко, что говорить о детенышах и подростках.

Смех человека, вышедшего на охоту за разумной тварью. Низкий, раскатистый хохот двуногого существа, уверенного в своей неуязвимости и безнаказанности, в силе и превосходстве.

Ненавижу!

Я соскользнула вниз по узкой извилистой тропке, больше похожей на пересохшее русло неглубокой горной речушки, торопливо поползла, едва успевая замедлять непривычно быстрый спуск. По отполированным водой камням мое тело скатывалось с легкостью водяного потока, знай только прижимайся светлым животом к скале и следи, чтобы не влететь лицом в слишком крутой поворот.

Шорох мелких камушков, слюдяного песка под грудью. Жесткие крупинки липнут к кровотокающим ссадинам на местах содранной чешуи, раздражают, причиняют боль при каждом недостаточно ловком движении, а на пальцах, лишившихся коготков, выросла тонкая бурая корочка. Нестрашно: цикл-другой бодрствования — и они заживут, а отросшие когти будут крепче и острее сорванных.

Отрывистые, лающие звуки человеческой речи, жалобный вопль, взлетевший к холодным синим небесам и оборвавшийся на самой высокой ноте. Я нырнула в застеленные туманным облаком заросли высоких хрупких кустов, с треском ломая мягкие тонкие веточки, подползла к частым колоннам деревьев, которые, казалось, подметали небеса сияющими зеленью кронами. Ровная поляна, устланная плотным ковром пожухлых иголочек, резко, сладко пахнущих тягучей древесной кровью. Низкое, суетливое ворчание двуногого существа, окутанного грязно-красным ореолом злобы и страсти к насилию над тем, кто слабее, меркнущая голубоватая аура человека поменьше, безвольно распростертого на земле. Сладость смолы перешибает солоноватый запах с примесью железа, темное пятно разливается по лесной подстилке, пропитывает ее умирающей, истекающей из глубокой раны в груди человека жизнью.

Мужчина, так напоминающий одного из тех, что сеял смерть в разоренном гнездовище с помощью тяжелых железных колышков, резко дернул за яркую многослойную одежду лежащей на земле хрупкой, очень молодой, недооформившейся женщины, и странный материал разошелся с глухим треском.

Думаю, насильник даже не успел понять, что его убило: шея тихо хрустнула от точного удара хвостом, и человек молча повалился на ноги умирающей женщины, держась за широкий ремень вроде тех, на которых гномы-недоросли носят свои инструменты. Я наклонилась, почти касаясь кончиком длинного раздвоенного языка кожи убитого, и почти сразу с отвращением отпрянула. Нет, в эту шкуру я не полезу: человек источен болезнью изнутри, да еще и отравлен каким-то медленно убивающим ядом, который вначале вызывает эйфорию, а потом нездоровое, полубольное состояние. Нет, он не подходит. А вот женщина...

Я приблизилась к часто и неглубоко дышащей человечке, осторожно слизнула языком кровавую пену с ее губ. Здорова, молода, почти ребенок. Но не выживет: холодный железный шип пробил легкое и засел слишком глубоко. Внутренности уже наполняются кровью, еще чуть-чуть — и она погибнет, а значит, у меня не будет шансов забрать ее воспоминания и научиться языку людей, который сейчас звучит для меня как хриплый, животный лай. Отец учил, что если хочешь влезть в шкуру другого существа, то воспоминания можно взять лишь у живого или умирающего, а внешность... Для смены облика достаточно и свежего трупа врага. Я никогда не проделывала ничего подобного с разумными существами, только со зверьем, которое взрослые добывали на охоте специально для обучения молодняка. Принять чужую внешность, выбираясь из собственной шкуры так же, как десятки раз во время линьки, — просто, но как забрать чужую память, при этом сохранив свою?

Не попробую — не узнаю, а второй шанс может не подвернуться.

Я склонилась над глубокой раной в груди женщины, широко раскрыла рот и аккуратно надавила кончиком когтя на основание ядовитого зуба, сцеживая прозрачную зеленоватую жидкость.

Не бойся, человечка... Ты просто заснешь. Ты умрешь не от режущей при каждом вдохе боли в груди, не от раны — просто уснешь и не проснешься, а переход к смерти для тебя будет легким и приятным, через яркие чудесные сны, которые непросто отличить от яви.

Ее лицо разгладилось, веки медленно опустились, а на окровавленных губах заиграла слабая, нежная улыбка. Я рывком выдернула глубоко засевшую в ране длинную пластинку остро заточенного железа и припала ртом ко рту, ловя последний вздох, а вместе с ним чужую память и знания, накопленные за очень короткую жизнь... девочки, пятнадцати лет от роду. Ромалийки, странствующей по свету со своей семьей, которая осталась где-то у обоза, разграбленного выскочившими из засады разбойниками.

Рада... Радужка...

Тоненький ручеек чужих воспоминаний превратился в стремительный горный поток, оттеснивший в сторону меня-шассу и принесший с собой уже знакомую боль, сопровождавшую каждое превращение.

Телегу немилосердно трясло и подбрасывало на каждом камешке, попадавшем под деревянный обод колеса, натужно скрипели рассохшиеся оси, грозя переломиться прямо посреди горной дороги, больше напоминавшей козью тропу или русло высохшей речушки, а до обрешетки было боязно дотронуться — того и гляди отвалится. Наемники гуськом следовали за телегами, переговариваясь вполголоса и отпуская сальные шуточки по поводу и без, делили еще не выплаченную награду за шассы шкуры, которыми нагрузили самую первую повозку, запряженную низкорослым мохнатым коньком. Странной, смешной животинкой, которая не боится ни заморозков, нередко случающихся в горах ночью, особенно по осени и весне, ни палящего зноя, а по узким горным тропкам скачет не хуже легконогой бурой козы. Вот и сейчас — уверенно идет по скользким камням под противным морозящим дождем, неторопливо тянет телегу, не обращая внимания на острый змеиный запах, исходящий от накрытой грубой дерюгой поклажи, увязанной просмоленными бечевками. Другая лошадь нервничала бы и взбрыкивала через каждый десяток сажень, а эта трусит себе спокойненько, послушная ременному поводу.

Викториан сидел на дне лекарской телеги на мешке, набитом сухой травой, и вполголоса переговаривался с худощавым лекарем, благодушно улыбающимся стариком,

лицо которого, изрезанное морщинами, напоминало печеное яблоко. Такой будет осматривать смертельно больного с чутким участием, прямо-таки лучащимся из выцветших от старости, почти прозрачных глаз, и в зависимости от суммы «на лечение», предложенной родственниками, сообщит умирающему о скорой кончине и отправит домой либо напоит ядом, который погрузит человека в долгий сладкий сон, плавно переходящий в сон вечный. Орден хорошо платил этому лекарю за командировки в самые опасные и удаленные от столицы уголки Славении и еще лучше — за вытащенных с того света ганслингеров и дудочников. Но только в тех случаях, когда раненые могли вернуться на службу, а не отправлялись доживать свой срок калеками на скромную пенсию за выслугу лет.

Дядька Кош — так называли его ганслингеры и дудочники, побывавшие в лекарском крыле, расположенном в замке Ордена Змееловов, что стоит в сердце Славении, и вышедшие оттуда на своих ногах, здоровые, дееспособные, не изломанные жестокими ранениями. «Проводник», «смерть с ласковой улыбкой» — таким он остался в памяти родственников, которые привозили к нему своих близких и любимых, безнадежно больных или смертельно раненных в надежде на то, что сухонький, невысокий лекарь в светло-серых льняных одеждах подарит им легкий, безболезненный исход. Но были и те, кто сравнивал старика не иначе как с «оскалом жизни», потому что им-то как раз не повезло умереть в тот день, когда Орден в них еще нуждался, а лекарь искал новые способы «починки живых механизмов».

Редкими были исключения, когда дядька Кош брался за исцеление безнадежных, с точки зрения Ордена, брался на свой страх и риск — и либо творил чудо, либо прятал результаты новых методов лечения под землей. Могила ничего никому не расскажет, а желающих заглянуть в заколоченные гробы с выжженным знаком змееловов на крышке уже давно не находилось.

Викториан знал одного ганслингера, который до того, как попасть на идеально чистый, как свежеснеженный снег, мраморный стол лекаря Коша, был охотником Ордена и тяжелым двуручным мечом убивал опасных нелюдей, зачарованных дудочниками, сносил головы тем, кому нипочем были тяжелые арбалетные болты и заряженные магией револьверные пули. Человек вздорный и рискованный, не боящийся ни боли, ни смерти, бесстрашно идущий к цели, поднявшийся из грязных, провонявших дымом и гнилью трущоб на окраине портового славенского города до одного из наиболее успешных охотников за нелюдью. Его карьера мечника закончилась в день, когда он столкнулся с легендарной золотой шассой: змеелюд скрылся, оставив человека с искалеченной, разmozженной правой рукой и отравленного смертельным медленно действующим ядом. Дядька Кош тогда взялся за мечника лишь по одной причине: оружейники Ордена как раз собрали новую машинку, которая позволила бы даже лишенному руки ганслингера вновь взяться за револьвер и вернуться за службу. Вот только проверить ее никак не удавалось: добровольно отрезать себе руку никто не соглашался, а тут подвернулось такое «удачное» ранение.

Мечник выжил, более того — так наловчился пользоваться новой рукой, представлявшей из себя странную трехпалую перчатку, острые шипы которой врастали в живое тело, что вскоре сумел пробиться в ряды ганслингеров. Викториан успел поработать с бывшим мечником совсем недолго — месяц или два, да и то лишь до тех пор, пока Ризар не напал на след змеелюда с искристой золотой шкурой. Он ушел в тот же день, не сказав никому ни слова, не предупредив даже свою партнершу по постоянной связке, пропал на неделю и вернулся уже тогда, когда его возвращения никто не ждал. Принес с собой потемневшие от пороховой гари неровно снятые лоскуты золотой чешуйчатой кожи и в тот

же вечер заказал себе перчатку на металлическую руку.

В Ордене не нашлось смельчаков, которые рискнули бы упрекнуть Ризара в непростительной неаккуратности по отношению к бесценной шкуре золотой шассы. Трофей нашел своего победителя, но Викторян сомневался, что месть успокоила бывшего мечника, раз и навсегда лишившегося возможности орудовать любимым клинком.

Телега подпрыгнула на поповшем под колесо бульжнике, дудочника тряхнуло так, что зубы клацнули, едва не прикусив кончик языка, а бледная как смерть девушка с перебинтованными руками, бережно уложенная на травяной матрас, тихо застонала и приоткрыла мутные от обезболивающих пилюль глаза.

— Очнулась, что ли? — Лекарь Кощ повернулся, всматриваясь в лицо раненой с заострившимися скулами. — Нет, бредит просто.

— Не растрясем по дороге? — негромко поинтересовался Викторян, пытаясь соорудить над головой девушки нечто вроде навеса из плотного шерстяного плаща на случай, если дождь из противной измороси превратится в ливень.

— Да чего там растрясать-то? — пожал плечами старик, зябко кутаясь в подбитую волчьим мехом лекарскую накидку с вышитым у правого плеча знаком Ордена. — Раны неопасные, пусть и очень неприятные, внутренних повреждений нет, а сильнее всего у нее все равно только гордость пострадала. Ну, не сумеет красавица наша играть на своей дудочке да вышивать уже не получится. Что с того? На курок револьвера нажимать ей ничто не помешает, и не таких под непривычное оружие затачивали. Она ж все равно хотела с тобой в связке работать, теперь точно сможет, если за револьвер возьмется.

— Другое дело — нужен ли мне такой ганслингер в паре, — хмыкнул Викторян, привычным движением убирая с лица потемневшие от измороси волосы и глядя на небо, стремительно затягивающееся свинцово-серыми тучами.

Удивительная погода в горах: с утра солнце и чистые небеса без единого облачка, а через полчаса уже дождик накрапывает и ветер из ласкового и теплого становится сырым и по-осеннему холодным, будто бы не август на дворе, а разгар сентября. Сразу напоминало о себе поврежденное когда-то во время охоты за оборотнем-медведем колено — одно неловкое падение в неглубокий в общем-то овраг, а в результате два месяца пришлось ходить, опираясь на крепкую дубовую трость с металлической оковкой. Лекарь Кощ уверял, что до конца вылечить колено нельзя, только если заменить на новое, и то не факт, что протез приживется и будет служить лучше больного сустава. Викторян отказался от рискованного лечения и с тех пор по осени и весне не расставался с тростью: в сырую холодную погоду хромота неизменно возвращалась, как брошенная любовница, появлялась неожиданно и проходила бесследно, стоило только дудочнику отогреться у жарко горящего камина. Но, в конце концов, музыканта-змеелова не ноги кормят...

— Это не нам с тобой решать, Вик. — Дядька Кощ поднял изборожденное морщинами лицо к небу и довольно сощурился, как кот, выбравшийся на солнцепек. — Мое дело лечить, твое — за отродьями земными таскаться. А решают пусть умники в синих камзолах, украшенных золотыми чешуйками. Они все равно ничего другого делать не умеют.

— Если связка не срабатывается в течение полугода, она разбивается, — усмехнулся дудочник, опасливо прислоняясь спиной к кажущейся ненадежной деревянной обрешетке и вытягивая ноги в сапогах с высоким голенищем. — А у меня совершенно нет желания поднимать уровень этой девицы с непомерным апломбом. Работать придется за двоих в такой связке, а толку все равно чуть: она не смирится с ролью щита, не станет подставлять

себя под когти нелюдя, если я вдруг ошибусь, и тварь высвободится точно так же, как у нее сегодня. Думаю, что она позволит меня покалечить, только чтобы я почувствовал себя в ее шкуре.

— Надо же, — дядька Кош с мягкой улыбкой взглянул на миловидное личико девушки с тонкими, кукольными чертами, которые стали еще привлекательнее из-за бледности, превратившей Катрину в святую деву-мученицу, изображение которой так часто встречалось в городских храмах, — а по виду и не скажешь.

— При нашей работе ты еще смотришь на внешность? — Викторян приподнял рассеченную тонким белесым шрамом бровь и удивленно покосился на лекаря, который лишь пожал плечами и осторожно коснулся чуткими пальцами мерно бьющейся жилки на шее девушки.

— Разумеется. Ведь я давно уже знаю, что скрывается внутри.

Змеелов только хмыкнул и промолчал.

То, что для лекаря Коша любое живое существо — лишь сложный механизм, который с одинаковой легкостью можно как починить, так и поломать, ни для кого не было секретом. Впрочем, о болезненной страсти, почти одержимости старика к усовершенствованию «механизмов» знали немногие — только те, кто удостоивался сомнительной чести как-то поучаствовать в этом процессе. Те, кому посчастливилось выжить, предпочитали забыть облицованную белым мрамором, идеально чистую комнату в лекарском крыле, но даже гипноз не помогал людям выбросить из памяти холодный стол и слепящий свет волшебной лампы, не дающей тени.

Горная дорога вильнула, спускаясь вниз и выводя к развилке. Налево вела узкая «козья» тропка, по которой местные жители ходили в соседние деревни, расположенные к востоку от ближайшего перевала, направо расстилалась широкая глинобитная дорога, проложенная торговыми людьми и кочевым ромалийским народом, который разъезжал по всем славенским городам и весям, привозя с собой шутовские балаганы, танцовщиц и гадалок, карманников и толмачей. Люди с медово-бронзовыми от загара лицами, блестящими черными глазами, в которых всегда чудились отблески костров, в кричаще ярких одеждах, украшенных как грубыми бусинами из плохо обработанных камней, так и изысканной золотой филигранью. Народ, переполненный противоречиями, сочетающий в своей непонятной обычным людям кочевой жизни внешнюю свободу и строгую внутреннюю дисциплину, верящий бабьими сказками и суевериям, но при этом способный на свою магию, отличную как от магии дудочников, так и от артефактов ганслингеров. Сказывали, будто ромалийские пляски могут зачаровать нелюдей не хуже инструмента змеелова, но доказать такую байку было невозможно: не подпускал чужаков к своим тайнам кочевой народ, с радостью предоставлявший место у костра и миску с едой бродяге, попросившемуся обогреться у жаркого огня холодным вечером.

Ромалийцев можно было встретить на любой дороге, и потому белый парусиновый верх крытого фургона, показавшийся впереди, не удивил. Странно было другое: над лагерем всегда шумных и веселых кочевников стояла тишина, а ветер приносил запах прогорклого дыма и паленой мокрой шерсти.

— А ну, стой! — Возница натянул поводья, торопливо останавливая телегу и соскакивая на дорогу, подхватил пляшущую на месте лошадку под уздцы. — Чует нехорошее моя деточка, вперед идти не хочет. Не к добру это, вон и ромалийский лагерь тихий, словно вымер весь.

Тот и вправду вымер.

Викториан слез с телеги и пошел по обочине, медленно приближаясь к крытому фургону, за которым поднимался белесый дымок от затухающего под моросящим дождем костра. Опытные наемники, быстро зарядившие арбалеты тяжелыми калеными болтами, шли чуть поодаль, предоставляя дудочнику первому встретить неизвестную тварь, побывавшую в лагере кочевников.

Что-то в этом мире никогда не меняется.

Змеелов едва заметно улыбнулся, вытянул из кошелька на поясе дудочку, приложил к губам, осторожно, плавно вывел первую ноту зова, сложной и одновременно кажущейся незатейливой мелодии, способной выманить любого дневного нелюдя из засады или убежища. Тонкий, чистый, хрустальный звук, переливы ручья и звон капли по весне смешивались с шелестом ветра в тростнике, с отдаленным гулом накатывающей грозы. Приказ, мягкий и ненавязчивый, превращающийся в непреодолимое желание встать — и пойти на волшебную мелодию. Драгоценные камни, вставленные в металлическую дудочку, засияли разноцветными огоньками, замерцали, рождая в пронизанном водяной пылью воздухе маленькую радугу, обрамляющую спокойное лицо змеелова.

Минута, другая...

Никакого отклика — только зашуршало что-то под брошенным фургоном, и из-под свесившейся с высокого деревянного борта цветастой тряпки выглянула чернявая девчонка, перемазанная бурой грязью. Зыркнула блескучими глазами-угольками и нырнула обратно в кажущееся надежным убежище под днищем дома на колесах.

— Попалась, поганка!

Один из наемников торопливо сунулся под фургон, протягивая руку к ромалийке и намереваясь вытащить ее наружу под моросящий дождь, но вдруг взвыл не своим голосом, рванулся назад, перемежая хриплые вопли нецензурной площадной бранью. На ладони, не защищенной прочной кожаной перчаткой, обильно кровоточил след, оставленный зубами побродяжки. Хороший такой след, глубокий и четкий, — даже с трех шагов с легкостью можно было разглядеть отпечатки маленькой, кажущейся хрупкой челюсти.

— Она меня укусила! Дрянь мелкая! Убью! — Человек потянулся здоровой рукой за широким ножом, висевшим на поясе, но Викторян успел раньше.

Изящные, сильные пальцы дудочника перехватили окровавленную ладонь наемника, сдавили след от человеческих зубов, полукружием отпечатавшийся аккуратно между большим и указательным пальцами. Хороши же инстинкты у ромалийки — кусается, как лесной зверь, загнанный в угол; если бы силенок хватило, могла бы и кусок мяса выдрать. А может... и не человек это вовсе?

Викториан молча оттолкнул ругающегося наемника подальше от фургона, подался назад, поднося к губам резную дудочку и начиная играть «призыв шассы». Тягучая, плавная мелодия, изученная до мелочей, отработанная до того хорошо, что сыграть ее, казалось, уже и не потребуется сосредотачиваться на музыке. Знай повинуйся изливающейся из дудочки магии, будь ею, живи вместе с ней... и готовься к тому, что на твой призыв отзовется не только тот, кому он предназначен.

Девчонка все-таки показалась из-под фургона, на этот раз выбравшись полностью. Маленькая, костлявая, узкие загорелые плечики едва прикрывает слишком большая и явно чужая цветастая блуза с кое-как затянутым шнурком у горловины. Вместо традиционной для ромалиек яркой юбки с пышными оборками — широченный платок с длинными шелковыми

кистями по низу, завязанный путаным узлом вокруг бедер. Коленки сбиты в кровь и измазаны грязью так, словно девочка ползала на четвереньках, пытаясь скрыться от неведомых разбойников, вырезавших ее малочисленный табор.

Она смотрела на змеелова снизу вверх застывшим, мертвым взглядом угольно-черных глаз, в которых не было и следа прозрачного шассьего золота. На остром подбородке запеклась свежая кровь, которую она неосознанно пыталась стереть, но не слизнуть.

Человек. Перепуганный до неменяемого состояния, истощенный и диковатый, но все-таки человек. Сбежавшая из подземного сада незрелая шасса не могла бы не откликнуться на этот призыв, который, в отличие от призыва Катрины, был четким и правильным, без ошибок и фальшивых нот.

— Обычная побродяжка, — негромко произнес Викторинан, отняв дудочку от губ и пряча ее в провощенный чехол на поясе.

Что-то заворчал, заскулило под фургоном, и следом за девочкой на свет выбрался большеголовый щенок пастушьей собаки. Пушистая, серая с черными подпалинами шерсть слиплась от грязи и крови, одно ухо почти полностью отсечено: видимо, разбойники забавлялись, кидая в надрывно визжащее животное ножи или еще что потяжелее и покрупнее. Ромалийка торопливо наклонилась, взяла жалобно повизгивающего щенка на руки и вдруг шагнула навстречу змеелову. Кое-как прижала серого пастушника к груди, протянула тонкую, хрупкую ладонь и цепко ухватилась за край плаща дудочника. Подняла подбородок, выпачканный кровью. Взгляд совершенно не детский, отчаянный, пустой.

Именно такой взгляд видел дудочник у своего отражения в зеркале после того, как отец забрал его с площади, брусчатка которой была залита шассьей кровью. Из комнаты матери еще не успели вынести ее вещи, и на туалетном столике рядом с пузырьками духов стояла позолоченная коробочка с пудрой. Запах белых роз и фиалок разливался по опустевшим покоям, словно исходя от каждой вещи, от каждой резной деревянной панели, которыми были обшиты стены. Он продолжал чудиться подростку еще с месяц даже после того, как материнскую спальню закрыли на ключ и заколотили дверь толстыми дубовыми досками. Чудился до сих пор — накатывало всякий раз, когда он видел плотную блестящую чешую змеелюдов, когда играл объемную, затейливую мелодию призыва, эхом звучащую со всех сторон.

— Эй, змеелов, да тут по твоей части работенка все-таки! — Хриплый, чуть подсевший голос наемника выдернул дудочника из воспоминаний, которые год от года становились все более тусклыми и размытыми, но возвращались с новой силой, стоило только выйти на охоту за шассой. — Тут змеючка, похоже, поработала!

Значит, далеко не уползла.

Викторинан невольно улыбнулся, осторожно высвободил плотную ткань из пальчиков девочки и окликнул лекаря Коша, с интересом наблюдавшего за происходящим.

— Посмотри, что с девчонкой. Доведем ее до города, там как раз ромалийский табор стоял, им и отдадим. Тронулась она умом или нет, но оставлять ее здесь нельзя. Если незрелая шасса затаилась поблизости, то вместо ребенка, оставшегося в одиночестве, мы очень скоро можем получить оборотня, которого в такой глуши и распознать-то будет некому.

Сырой ветер, поднявшийся над дорогой, метнул в лицо змеелова ледяные капли, холодными пальцами скользнул под полы широкого, не застегнутого на тусклые медные пуговицы плаща. Викторинан поежился и торопливо обошел фургон, подходя к небольшому



оврагу, у которого столпились наемники, не решавшиеся спуститься вниз. Да и не нужно это было: еще не доходя до ложбины, на дне которой тихо журчал ручеек, дудочник почуял сладковатый запах корицы, не забивавшийся даже горьким дымом затухающего под дождем кострища. Умерщвленные шассым ядом в первый час после смерти всегда пахнут корицей, как праздничные булочки, и лишь потом начинают вонять, как самые обычные трупы, чересчур быстро разлагающиеся даже при прохладной погоде. И смотреть не надо на восковые расслабленные лица, не нужно обыскивать тела в поисках двух крошечных точек, оставшихся от укуса шассы, — достаточно принюхаться к сладковатому коричному аромату, разлитому в прохладном воздухе.

Почти все змееловы, хоть раз столкнувшись с жертвами шассы, навсегда переставали любить рождественскую выпечку, чувствуя себя неуютно и настороженно даже в крохотной пекарне через дорогу от замка, где располагался Орден. Впрочем, тамошний пекарь последние лет десять не использовал корицу при выпечке хлеба — достаточно было разок намекнуть, почему змееловы обходят стороной его столь выгодно расположенное заведение.

Дудочник мельком заглянул в овраг и отступил, морщась от ненавистного запаха.

— В кои-то веки шасса поработала на благо общества, и одной разбойничьей бандой в Славении стало меньше. Едем отсюда. Не мне объяснять, почему ночь лучше встречать за городскими стенами, а не на приволье.

Мелкая изморось наконец-то переросла в полноценный дождь, и змеелов поспешил вернуться к телеге, в уголке которой уже сидела спасенная ромалийка, прижимающая к груди щенка, обкорнанное ухо которого лекарь Кощ по доброте душевной замазал какой-то белой мазью. Щелкнули поводья, и телега, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах, неторопливо покатила в сторону городского поселения. Викторинан посмотрел на худую фигурку девочки, сжавшейся в комочек, но даже не пытавшейся хоть как-то прикрыться от дождя грубым шерстяным покрывалом, сложенным в углу телеги, вздохнул и сам потянулся за тканью, набрасывая ее на девочку подобием шалашика, под которым ромалийка скрылась почти полностью.

— Дядька Кощ, как она?

— Если считать только телесные повреждения, несколько ссадин и царапин, и все. Еще слегка простыла, ничего серьезного. — Лекарь даже не обернулся, кутаясь в теплый старомодный плащ с капюшоном. — А вот умом, похоже, тронулась. Не говорит ни слова, только за собаку свою цепляется. И чего ты ее подобрал? Чем жить безумной, лучше помереть побыстрее.

Змеелов только пожал плечами и попытался устроиться поудобнее. До города оставалось всего ничего — с версту по глинобитной дороге, которая грозила в скором времени превратиться в одну огромную лужу под проливным дождем.

Капли воды мерно стучали по жесткой лошадиной попоне, которой меня укрыл человек с разными глазами, срывались с кое-как обработанного толстой крученой нитью края на озябшие босые ступни, покрытые темной, ввевшейся в кожу грязью. Тихонько сопел пригревшийся на груди зверек — собака, как подсказывала чужая память, — изредка скулил во сне, приоткрывал коричневые глаза и снова засыпал, прижавшись пушистой головой к теплоте человеческого телу. Теперь моему.

Я украдкой взглянула на змеелова, выманившего меня из-под днища фургона, служившего домом молодой ромалийке, в чью шкуру я все-таки влезла, каким-то

невероятным везением сохранив большую часть ее воспоминаний. По темно-коричневому рукаву потертой куртки дудочника скользили дождевые капли, скатывались вниз, до широкой манжеты на медных пуговицах, и срывались с обтрепанного узорчатого края. Странно вот так наблюдать за тем, кто едва не прихватил меня в разоренном, разрушенном каменном саду чудесной песней-петлей, кто позвал меня из глубокой расщелины в скале, где я надеялась отсидеться, пока не уйдут люди, принесшие с собой смерть. Странно — и одновременно интересно, любопытно.

Из воспоминаний девочки-ромалийки о шассах я узнала только сказки, рассказанные престарелой кочевницей у ярко горящего походного костра. Сказки о великих золотых змеях с человеческим лицом, которые любой самородок, любой драгоценный камень или черную руду вытянут на поверхность земли своим колдовством и оставят лежать на открытом месте в дар яркому дневному светилу. Не пугали ромалийцев золотые змеи-шассы, были они для кочевого народа чем-то вроде волшебных зверей, с которыми трудно вести дружбу, но и враждовать без крайней нужды не стоит. Вот и рассказывали они чуточку пугающие легенды, послушав которые девочке захотелось хоть одним глазочком, хоть на секундочку, но увидеть сияющую солнечным золотом змею с человеческим лицом, узнать, вправду ли после нее на взрыхленной, будто плугом, земле останутся лежать золотые самородки. Да пусть не самородки даже — хотя бы невзрачный какой камушек на память из таинственных подземных глубин.

Исполнилось ее желание. Увидела ромалийка чудесную змею, только шкура у меня была не золотая, а бурая, покрытая кровоточащими ссадинами да облепленная мелкой каменной крошкой. И приползла я отнюдь не для того, чтобы подарить девочке самоцвет или золотой слиток, — легкая смерть в тот момент была более ценным даром.

Но если легенды о шассах именно такие, какими они звучали в детских воспоминаниях, то почему люди, вооруженные калеными болтами и тонкими звонкоголосыми дудочками, пришли в наше гнездо убивать? Не потому ли, что их собственный мир изменился до неузнаваемости и они ищут врага в каждом, кто хоть сколько-то не похож на них самих? Боятся всего, даже собственной тени, в которой когда-то скрывалось нечто странное и непонятное, принятое за врага и несправедливо обиженное?

Тихо застонала девушка, лежащая на дне телеги и до подбородка укрытая колючим темным одеялом. Змеелов неохотно приоткрыл глаза, мутные, усталые, потер лоб ладонью, смахивая с лица влагу, и поправил навес над ее головой, на миг открыв лицо девушки полностью. Я вздрогнула, мир перед глазами сразу перестал выглядеть плоским зеркалом, сменившись объемной картиной, наполненной разноцветной сутью каждого живого существа и предмета.

Я узнала человечку, что играла на металлической дудочке мелодию, бирюзовыми побегими оплетавшую моих сородичей, узнала лицо, которое исказило болью в момент, когда ее хрупкие, тонкие пальцы хрустнули под ударом моего хвоста. Ее призрачное сияние стало ярче, переполнилось чернотой глухой боли там, где были руки, и заалело по контуру: ненависть, зреющая в глубине ее сердца, как уродливый плод, уже укоренилась и сейчас медленно, неторопливо остывала, подобно лаве, выплеснувшейся из жерла вулкана во время извержения. Заледенеет ее ненависть, черным тяжелым камнем покроет сердце, и тогда не жди от такого существа ничего хорошего, доброго или искреннего. Впрочем, ее-то мне как раз не было жаль ни капельки. Сама избрет для себя участь похуже смерти, сама придет на край пропасти, куда ее и сталкивать-то не придется, — рухнет бледная как смерть человечка

с льяными волосами в эту бездну, сгинет, не оставив после себя ни потомства, ни доброй памяти, ни права на новую, лучшую жизнь.

Иногда боги Тхалисса даруют своим детям-шассам возможность увидеть будущее, увидеть, какой тропой будет двигаться живое существо и куда заведет его эта тропа, а самым сильным, опытным и умелым — право что-то изменить, заставить жизненный путь чуть-чуть отклониться в сторону. Мелочь, казалось бы, — минутное опоздание, равно как и излишняя торопливость, — может спасти жизнь или помочь избежать того, что предопределено великими богами при рождении.

Я смотрела, как осторожно, бережно отводит сверкающая синевой спокойствия и невозмутимости рука змеелова тонкую прядку волос от лица девушки, едва ощутимо касается кончиками изящных, сильных пальцев ее щеки... и совершенно ясно видела единственный шанс для находящейся в забвении человечки избежать бездны, которая уже ждала ее в конце пути, нетерпеливо распахнув голодную пасть. Спокойствие змеелова может погасить ее ненависть, исцелить черноту отчаяния, пятном тьмы расползшуюся над сердцем, только если этот человек с разными глазами будет всегда с ней рядом. А ведь он будет... он сам стоит на перепутье — идти ли за своей непонятной мечтой, странной одержимостью, что красно-золотым лепестком пламени угнездилась у него под сердцем, или окончательно отказаться от нее ради укрытой одеялом человечки с переломанными пальцами. Говорят, ради мечты люди способны на невозможное. Что ж, раз это настолько важно, нельзя позволить змеелову от нее отказаться...

Тихо заскулил проснувшийся щенок, завозился, не то пытаюсь слезть с моих рук, не то пробуя прижаться еще теснее, влезть под слишком большую для худенького девчачьего тела одежду, подобранную в фургоне после смены облика. Я торопливо опустила глаза, крепко зажмурилась, стараясь вернуть им прежний человеческий вид, пока дудочник не понял, кто наблюдает за ним из-под намокшей под дождем лошадиной попоны.

Скрип досок, удивительно теплая рука касается моего лица, сильные пальцы сдавливают кажущуюся хрупкой кость подбородка.

— Посмотри на меня.

Приказ, который не обсуждается, голос низкий, чуть хриловатый, будто бы горловые связки когда-то давно были надорваны или чересчур перетружены. Слова раздаются со странным присвистом-шипением — на удивление приятно слышать, ощущение, будто бы шасса пытается разговаривать на человеческом языке...

— Посмотри.

Я раскрыла глаза, с облегчением осознав, что вместо яркого объемного сияния вокруг каждого предмета вижу унылую и тусклую картинку, присущую обычному человеческому зрению, и подняла взгляд на змеелова, пристально всматривающегося в мое лицо. С трудом удержалась, чтобы не улыбнуться в ответ на эту сосредоточенную серьезность. Так и подмывало показать язык и звонко, задорно расхохотаться, но нельзя. Я должна быть испуганной и подавленной, а еще лучше — слегка сумасшедшей, чтобы не пытались вести расспросы.

Лицо змеелова с разными глазами приблизилось к моему. Радужка левого глаза светло-зеленая, почти прозрачная, как берилл в холодной пещере у истока подземной реки, тогда как правая темно-каряя, почти черная, цвета плодородной земли на полях. Взгляд, который мог бы быть теплым, ласковым, но казался ледяным и безразличным, как полированный агат.

Странно, но мстить ему мне не хотелось. В мой дом он пришел как наблюдатель, как бездушное, безразличное оружие, так и не пущенное в ход, щит для людей с острыми железными болтами, хорошо заточенный клинок, обращенный против каждого, кто не может называться человеком. Оружие бесполезно мстить, оружие можно только использовать. А мстить нужно владельцу или тому, кто держался за рукоять и направлял смертоносный клинок.

— Что ты видела?

Он выговаривал каждое слово медленно, словно думал, будто бы я не понимаю или не воспринимаю человеческую речь. Интересно, какого ответа может ждать змеелов, равнодушно наблюдавший за тем, как шасс целого гнездовища вырезают одну за другой, пока его человечка плетет бирюзовую удавку-песнь, а затем ушедший в одиночку в мертвый каменный сад?

— Змею...

Первое слово в человеческом облике дается очень трудно. Губы кажутся онемевшими, нечувствительными, язык неповоротливым, а гортань не подчиняется, издает не привычно-мягкие, свистящие звуки, а нечто хриплое, грубое, отрывистое. Голос дрожит как осиновый лист на ветру, но глаза змеелова разом вспыхивают, зажигаются потаенным огнем, а меж тонких пшенично-золотых бровей залегает глубокая складка.

— Опиши! — Он подается мне навстречу, словно подземный хищник, почуявший близкую добычу. Я невольно отшатываюсь назад, вжимаюсь в жесткую деревянную обрешетку, хлопая мокрыми ресницами и глядя на мужчину как на матерого волка, загнавшего меня в угол.

И тогда выражение его лица меняется. Разглаживается суровая складка на лбу, лицо из пугающего, напряженного становится вначале каменно-спокойным, а потом преображается, словно озаряясь изнутри мягким светом. Теплая улыбка трогает его губы, но так и не отражается в глазах, по-прежнему нетерпеливо-сосредоточенных: как будто змеелов надел прекрасную маску, способную успокоить и заставить говорить даже перепуганного вусмерть ребенка.

— Расскажи, пожалуйста. — И даже голос его звучит иначе. Он создает неуместное, непонятное ощущение защищенности. — Я не позволю никому тебя обидеть, только Расскажи.

— Она... — Ох, трудно как говорить, неудобно, слова чужого языка перенапрягают не привыкшее к такой речи горло. — Узор... как солнце... Желтый... Золотой.

Пауза. Словно дудочник пытался понять, вру я или все-таки говорю правду.

— Хорошая девочка. — Змеелов потрепал меня по щеке тем же снисходительным жестом, каким я совсем недавно оглаживала большеголового щенка, пробравшегося в мое убежище под днищем брошенного фургона. — Умница.

Он отвернулся, разом утратив всякий интерес к побродяжке, прячущейся от холодного дождя под лошадиной попоной. Откуда-то издалека донеслась музыка, веселая, лихая, сопровождаемая мелодичным металлическим звоном. В сыром воздухе мне почудился запах дыма, сладковатый, душистый. Не пожарище, расцветающее на крыше чьего-то дома, не погребальный костер, уносящий ввысь, к небу, нечто странное и невидимое, что люди называли душой, — обычное пламя очага, усмирное и покоренное, обогревающее протянутые к нему руки и готовящее пищу.

— Ромалийское племя, — усмехнулся старик с острым, внимательным взглядом,

беззастенчиво и совершенно равнодушно осматривавший меня всюду перед тем, как посадить в телегу. — Им что дождь, что снег, что солнце — все едино. Их скрипки даже в январскую метель играют. И как только не портятся? Непонятно. Колдовства на их инструментах нет и не было никогда, а ведь поди ж ты... И играют. А сами пляшут и на снегу, и на раскаленных угольях, и на каменных мостовых... и ведь не калечатся.

Последнее слово старик произнес почти мечтательно, словно давно хотел раскрыть секрет этих странных, свободных как ветер и непостоянных, как огонь, ромалийцев, чьи яркие островерхие шатры уже показались на подъезде к городским стенам, темно-серой грядой возвышавшимся над поредевшим лесом. Запах дыма, запах человеческой пищи стал сильнее, сквозь игру скрипки пробился высокий женский голос, выводящий песню, звонкую, четкую. От нее сердце начинало биться быстрее, хотелось прыгнуть с жесткой, неудобной повозки и бежать на этот зов, наполненный искристой, чистой радостью, стать частью этой песни, этого не замутившегося злостью или страхом потока.

— Придержи повозку, — негромко скомандовал змеелов, поднимая голову и глядя в сторону цветных ромалийских шатров. Дождалься, пока телега остановится, и прыгнул на дорогу, которая к тому времени превратилась в болото, наполненное дождевой водой и жидкой охрянной грязью. Протянул руки, вытаскивая меня из теплого шалашика, и понес через скользкую, сыто хлюпающую при каждом шаге рыжевато-бурую жижу к ромалийскому лагерю.

Умолкла скрипка, стих певучий голос, выводящий звонкий гимн жизни и свободы. Почти в полной тишине змеелов прошел между цветных шатров, над которыми реяли яркие флажки из неровно обрезанных шелковых лент, поставил меня в двух шагах от полыхающего жаром костра и отступил.

— Вашей крови ребенок.

Дождь усилился, превратился в ливень, моментально вымочил меня до нитки. Тихо заскулил, завозился у меня на руках проснувшийся щенок, прижался мокрой головой к плечу, словно надеясь укрыться от непогоды столь странным образом.

— Нашей.

Звучный женский голос на миг перекрыл шум дождя, обжигающе-горячим солнечным шариком прокатился по озябшему телу. Я вздрогнула, подняла взгляд, рассматривая неторопливо идущую ко мне женщину, держащую в руках широкий цветастый платок с длинными шелковыми кистями, вода по которому скатывалась крупными каплями, будто по воощенной коже. Не молодая, но и не старая. Морщинки частой сеткой покрывают спокойное лицо, но спина прямая и гибкая, как у юной девушки, движения легкие и плавные, а глаза могли бы поспорить цветом с синей бирюзой. Длинные косы черными с серебром змеями свисают почти до земли, тихо позванивают вплетенные в них золотые монетки, трепещут на стылом ветру яркие ленточки, спиралью обвивающие каждую косу от основания и до самого кончика.

Ромалийка набросила теплый платок на мои плечи и ласково улыбнулась, осторожно кладя ладонь мне на затылок.

— Знаешь, кто я, девочка?

Я мотнула головой, но вдруг поняла, что знаю. Лирха ромалийского табора. Охранительница рода, предсказательница будущего. Та, кто читает судьбу по линиям ладони и может зачаровать долгой, тягучей песней даже поднявшегося из могилы мертвяка, завернувшего к костру, разведенному стылой осенней ночью. Лирха выведет свой табор на

нужную дорогу даже сквозь густой туман и злую снежную метель, ее путь ляжет кованой серебряной лентой даже сквозь лешачьи чары и наведенный морок, а бережно хранимые в маленьком сундучке снадобья даже чернокрылую смерть отгонят от постели больного или раненого.

Ромалийка вдруг подмигнула мне и накрыла мои глаза теплой крепкой ладонью, от которой пахло свежескошенной травой и полевыми цветами. Чуть раздвинула пальцы, и через узкую щелочку я увидела неторопливо удаляющуюся спину дудочника. Моргнула и посмотрела на него шассьими глазами. Золотисто-красный лепесток пламени-одержимости, пригревшийся под сердцем змеелова, полыхал ярчайшим костром, почти полностью поглотившим ровную синеву спокойствия. Я едва заметно улыбнулась и осторожно коснулась замерзшей ладонью теплой руки лирхи. Первый шаг по новой дороге сделан. Я остаюсь с людьми, а безымянный дудочник отправляется на охоту за змеиным золотом. Он положит на это много сил, много времени и растратит весь огонь, полыхающий глубоко внутри, ничего не оставив для лежащей на дне лекарской телеги женщины с переломанными пальцами. Мы еще встретимся, все трое, на одном перекрестке дорог, но сияющая мозаика богов Тхалисса, выложенная на мягком песке времени, уже будет совсем другой.

— Добро пожаловать в наш общий дом, Ясмия.

Я крепко зажмурилась, вцепилась свободной рукой в запястье лирхи, почувствовала, как пугливо дрогнули тонкие пальцы, униженные серебряными перстнями. Она знает, кто я. Чует меня-шассу в человеческом облике так же хорошо, как я чувала бы нежить, от которой в любом облике тянет сырой могилой и плесенью. Боится, но принимает, дает новое имя и возможность начать новую жизнь.

Странное имя. Ясмия. «Я-змея»... Похоже, и люди умеют давать некоторым... сущностям правильные, говорящие имена.

Лирха осторожно приобняла меня за плечи и повела к багряному ромалийскому шатру с гостеприимно откинутым пологом.

Странно мне было наблюдать за тем, как времена года сменяли друг друга под огромным сияющим куполом, имя которому «небо». Смотреть, как зелень листвы чередовалась с золотом и багрянцем под проливными осенними дождями, как первые заморозки покрывали пожухлую траву белесым, таявшим к утру налетом.

Рассветные зори становились все холоднее, воздух — все прозрачнее, а небо — все выше, пока не наступило утро, в которое выпавший за ночь снег не растаял, а остался лежать на земле тонким белоснежным покрывалом. Северный ветер гнал по тусклому низкому небу седые облака, сыплющие ледяным дождем пополам со снегом, превращал раскисшую грязь на дорогах в твердую, как камень, комковатую глину, покрытую корочкой хрупкого льда. В горах сделалось слишком холодно, и однажды лирха Ровина, облачившись в темно-красное дорожное платье, взяла узорчатый деревянный посох и, прикрыв глаза, босиком пошла на перекресток дорог, выбирая путь для табора.

Юг... Запад...

Она кружилась в неистовом, бешеном танце; казалось, будто ее ноги не касаются заледеневшей земли, будто танцовщица пляшет в воздухе, ловит гибкими пальцами невидимую паутинку, которая должна указать табору направление. Звенят золотые монетки, вплетенные в длинные седеющие косы, а сами косы темными плетями со свистом рассекают неистовый северный ветер, принесший с собой свежий запах снега и скорой зимы. Глаза лирхи плотно сомкнуты, она танцует вслепую, танцует в темноте и ищет, ищет, ищет...

Тогда я прикрыла лицо ладонями и украдкой взглянула на пожилую ромалийку, взявшую меня в свой шатер, глазами шассы. И едва не ослепла от неистового сияния, от солнечного луча, шаровой молнии, кружащейся над перекрестком пяти дорог. Лирха сияла холодным лунным серебром, прощупывая мир вокруг себя тонкими паутинками-зарницами, которые вспыхивали лишь на краткое мгновение, зависали над головой ромалийки путаной нитью, а затем гасли для того, чтобы появиться снова, но уже в другом направлении.

Яркая путеводная звезда на небосклоне, далекий свет маяка, лепесток пламени в окне родного дома — вот чем была для ромалийского табора лирха, наконец-то поймавшая нужное направление и протянувшая туда тонкую серебряную паутинку, ровную и прочную.

Смолк звон бесчисленных браслетов, украшавших изящные руки Ровины, истаяло слепящее лунное сияние, оставив после себя спокойную травянистую зелень с уродливыми черными подпалинами напротив сердца, от которых во все стороны расползлись тонкие разветвленные паутинки-трещинки, словно кто-то набросил на лирху частую сеть с неровными ячейками.

Я вздрогнула, зажмурилась, возвращая себе человечесье зрение, и отняла ладони от лица. Тяжело опирающаяся на прочный дубовый посох ромалийка, указывающая путь табору по юго-восточному тракту, была неизлечимо больна.

— Туда, — хрипло прошептала женщина, дрожащей рукой указывая нужный путь. — Туда, — повторила она и сделала первый нетвердый шаг по мерзлой глине, опираясь на дорожный посох.

Колкие снежинки, подхваченные студеным ветром с холодной земли, летят мне в лицо, больно царапают непривычно чувствительную кожу. Я смотрю за тем, как Ровина делает второй шаг, как она почти падает на колени — но властным движением руки останавливает

метнувшегося к ней на помощь рослого мужчину в шитой золотом красной рубахе и с длинным плетеным кнутом на поясе. Лучший конокрад в таборе: сказывали, будто на спор он свел жеребца из княжеской конюшни и в тот же день продал его нерадивым конюхам, поутру обнаружившим пропажу. Испугались княжеского наказания, понеслись на торжище за свои кровные выкупать любого похожего жеребчика. Им-то Михей сведенного коня и продал, а потом еще и благодарности за скорый торг да низкую цену выслушивал. Всегда уверенный в себе, решительный и известный упрямым нравом, Михей-конокрад замирает, будто натолкнувшись на невидимую стену, сквозь которую свободно гуляет ветер, треплющий седеющие кудри ромалийца и подол темно-красного, словно кровью выпачканного подола лирхиного платья.

Третий шаг от перекрестка по юго-восточному тракту, казалось, отбирает последние силы Ровины, и она беззвучно соскальзывает на мерзлую землю. Михей поднимает ее легко, словно соломенную куклу, и несет к крытому войлоком фургону, в который уже впряжена пара серых в яблоках лошадей. Глаза лирхи широко распахнуты, в них чудится отражение чего-то далекого, невидимого для простых людей. Длинные косы почти касаются земли, монетки отзываются плачущим звоном на каждый торопливый шаг конокрада. Тонкие пальцы Ровины скрючены, как вороньи лапки, будто бы лирха до сих пор хватается за незримую паутинку, не дает ей выскользнуть из рук, которые исхудали за последний месяц столь сильно, что часть браслетов просто не держится на хрупких запястьях, падает на стылую землю звенящим золотым дождем.

Окрик вожака словно разбудил меня. Я схватила дубовый посох Ровины, торопливо подобрала рассыпанные по дороге браслеты и бегом устремилась за Михеем, силясь поспеть за быстрым широким шагом рослого мужчины. Отполированная до блеска деревяшка в моих руках вначале кажется теплой, нагретой под жаркими солнечными лучами, несущей запах душистой разогретой смолы и пряных трав, а потом стремительно остывает.

Ледяной ветер вихрится над перекрестком, несет с собой колкую снежную пыль. Через небольшую щелку меж полотнищами грубого войлока, накрывающего фургон подобием шатра, я вижу, как ромалийцы торопливо грузят скарб в повозки, как Михей наблюдает за тем, как привычно и без суеты табор собирается в дорогу, указанную лирхой, как вожак садится на вороного коня и первым едет по юго-восточному тракту.

Ровина полулежала на вышитых шелком разноцветных подушках, и яркие глаза цвета молодой бирюзы внимательно наблюдали за каждым моим движением. Потом протянула ко мне иссушенную возрастом и неизлечимой болезнью руку, холодные пальцы сжались на моем запястье. Лирха достала из мешочка на поясе футляр для тонких деревянных пластинок-тарр и наугад вытащила одну из них.

— Ясмия, внученька, что видишь?

Я взяла карту, провела пальцем по четким линиям рисунка, вслух считая изогнутые мечи. Шесть мечей, направленных острием вниз. Понимаю, что нехорошее что-то, а что именно — непонятно. Ускользает от меня смысл тарры, словно рыба в проточной воде, щекочет холодком чешуи пальцы, шлепает по ладоням упругим сильным хвостом, а в последний момент высвобождается, оставляя ни с чем.

Лирха мягко улыбнулась и покачала головой:

— Опять позабыла. Ну ничего, мало к кому это знание с первого раза приходит. Я еще раз расскажу...

Она ласково провела ладонью по моим заплетенным в две косички волосам,



украшенным желтыми лентами, и начала объяснять заново, а я и не слушала почти — неотрывно смотрела на скомканный батистовый платок, которым Ровина прикрывала рот, когда холодный северный ветер заставлял ее захлебываться жестоким кашлем.

На белом кусочке ткани, отороченном тонким кружевом, темнели пятна крови.

Зима пришла в мир, заселенный людьми, тихо и неслышно, мягко ступая белыми когтистыми лапами по неровной колеистой дороге, холодом проникая под тяжелый войлочный полог украшенных яркими лентами-флажками повозок и заставляя людей во время стоянок сбиваться у жарко горящих костров. Снег постепенно покрывал землю, делая звуки более звонкими и четкими, блестел на солнце алмазным крошевом, да так ярко, что у меня поначалу с непривычки слезились и болели глаза.

Довольно быстро я поняла, что человечесье тело не умеет согревать само себя в холод и, чтобы не заболеть или не замерзнуть, нужно надевать сразу несколько слоев того, что Ровина называла одеждой. Вначале, пока было тепло, я носила тонкую мягкую рубашку длиной до колен с расшитыми рукавами, широкую яркую юбку, подол которой, если завязать его хитрым узлом, превращался в сумку, и нитку янтарных бус. Позже, когда пришла осень, мой наряд дополнился неудобными башмаками, которые следовало надевать на полосатые вязаные носки, пушистой серой шалью и плащом, вода по которому стекала, будто с наклонной стенки шатра, и потому оставляла сухим.

И еще я выпросила у лирхи маленький кожаный мешочек — ладанку, где ромалийцы хранили амулеты и прочие мелкие безделушки, которые имели ценность только для их владельцев. В своей ладанке я носила солнечно-желтый топаз, который когда-то должен был стать моим каменным деревом, еще одним побегом моего рода, моего гнездовища — а в результате остался лишь горькой памятью об утраченном доме. Иногда мне чудилось, что какая-то искорка все-таки успела прижиться в этом «змеином камне», что тлеет в прозрачных золотых глубинах «сила, способная изменить». Ведь сам по себе мертвый камень, пусть даже сколь угодно красивый и драгоценный, не прорастет прозрачными корнями в теле горы, не потянется к потолку подземного зала хрупкими ростками-веточками, не засияет потаенным огнем, который разгорается все ярче с каждой линькой шассы и гаснет с ее смертью, оставляя внутри каменного ствола уродливое черное дупло.

Просыпаясь с первыми лучами солнца, я торопливо одевалась, уже не путаясь в непривычных одеждах, выбиралась из теплой повозки лирхи Ровины к тлеющему кострищу посреди лагеря, разгребала палкой остывший пепел и золу, высвобождая мерцающие алыми искорками горячие еще уголья. Бережно раздувала их, подкладывая мелко наструганные щепочки и березовую кору, пока на светлом дереве не расцветал первый лепесток рыже-золотистого пламени, а в небо не устремлялись тонкие струйки сизого дыма.

Я любила укрощенное пламя, с самого первого дня пребывания среди людей безотчетно протягивала к нему руки — и слишком быстро поняла, что коснуться этого янтарно-золотого великолепия безнаказанно не могу. В первый раз пузырьки ожогов, наполненные прозрачной жидкостью, покрыли мои пальцы за мгновения, а потом отзывались ноющей болью на малейшее прикосновение еще дня два, пока лирха Ровина лечила мои руки, смазывая поврежденную кожу прохладной зеленой мазью и бинтуя мягкими тряпочками. Ее размеренный голос убаюкивал и успокаивал, и в те минуты, когда я находилась на грани между сном и явью, рассказывал не то старинные легенды, сказки, не то правдивые предания об изнанке огромного мира, населенного людьми.

О серебряной дороге, светлой шелковой лентой расстилающейся под босыми ногами сквозь наведенный морок и колдовской туман, теплой весенней землей проступающей из-под жесткого крупчатого снега в суровую зимнюю метель. О дороге, которая выведет к цели кратчайшим путем, самым ровным и прямым, вот только нужно четко представлять цель, к которой идешь по этой серебряной ленте, — дом, где приютят в холодную ночь, торговый тракт, ведущий в нужный город, или же место, где будет безопасно. Ровина рассказывала о том, когда нужно искать лунную дорогу, а когда можно создать ее самой, как ступить на эту призрачную тропу — и не провалиться сквозь нее на изнанку мира, став частью туманного царства берегинь.

О чаранах, существах, истинный облик которых видят лишь их жертвы перед смертью. Притворщики, оборотни не хуже диковинных змей, способные принять людской облик и удерживать его на протяжении весьма долгого времени — была бы пища. Чараны как никто другой оправдывают широко распространенную среди людей поговорку: «Ты то, что ты ешь». Не то разумные звери, не то обретшие плоть и кровь духи, эти существа редко питаются животными, не желая быть запертыми в облике жертв человеческой охоты, предпочитая сами становиться двуногими охотниками. Но в отличие от шасс, которые чаще живут в уединенных гнездовищах, чараны обитают среди людей, привыкая к человеческому обществу и человеческой жизни, изучая шумные города с изнанки и питаясь теми, кого сами люди отвергли, считая недостойными. Бродяги, разбойники, продажные женщины, бездомные... и ромалийцы, которых никто не считает, — вот кто составляет пищу чаранов. Странное, но по-своему устойчивое сосуществование людей и плотоядных духов: питаюсь отверженными, чараны вроде как помогают поддерживать порядок в городах, облегчая жизнь тех людей, которые не могут или не хотят с оружием в руках отстаивать свое право на сытые и беззаботные годы.

О том, почему некоторые ромалийцы путешествуют шумным табором, зарабатывая на жизнь гаданием и мелким колдовством, песнями и плясками, а иногда и воровством, а кто-то оседает в деревнях целыми семьями. Оказалось, что из большинства городов, где обосновались змееловы, любой табор, в котором есть лирха, выгонят в три шеи, а то и просто не впустят, и не помогут ни золотые монеты, ни уговоры. А все потому, что лирхины пляски и заклинания почему-то мешают музыке дудочников звучать ровно и чисто, сбивают ноты, вносят фальшь в отработанную годами тренировок мелодию. Стоит ромалийской лирхе пересечь черту города, как живущие в нем дудочники сразу ощущают это вмешательство, как рябь на поверхности воды, разбегающуюся от упавшего камня, как постоянный гул, мешающий сосредоточиться. Вот и гонят ромалийских колдуний из города, а с ними и весь табор, и хорошо хоть, что дают срок собрать вещи и уехать мирно, не опускаясь до грубого и бесцеремонного выдворения. Ведь змееловы змееловами, но за приворотными зельями да верными предсказаниями, за лекарственными снадобьями, унимающими лихорадку и останавливающими кровь, за товарами из далеких поселений и песнями свободной, лихой жизни простые люди все равно приходят в ромалийский табор. Да и испытать на себе силу ромалийского проклятия на семь колен за нанесенную обиду никому не хочется.

Лирха рассказывала многое, делясь со мной знаниями о вещах, которые люди, засыпавшие каждую ночь в теплых постелях внутри каменных домов с высокими потолками, предпочитали не замечать. Учила раскладывать тонкие деревянные пластинки с картинками, показывающие будущее, объясняла, как излечить больного с помощью трав и песней отогнать пьющий жизнь морок, но уходила от любого вопроса о том, как быть

человеком. Проходить ли мимо сородича, просящего о помощи, или откликнуться на зов так, как сделала бы это шасса для любого из своего гнездовища? Как верить людям, которые говорят одно, думают другое, а делают третье? Не прибегать же каждый раз к шассьему зрению, позволяющему проникнуть в подлинные порывы человеческого существа... Вопросы сыпались из меня один за другим, но Ровина лишь качала головой и молча улыбалась.

Очередное утро последнего осеннего месяца выдалось тихим, сумрачным и очень холодным. Я сидела у костра, машинально оглаживая пушистую шерсть веселого, игривого пастушника, который всего за четыре месяца из пугливой дрожащей собачонки превратился в бодрого любопытного пса. Он таскался за мной дымчато-серым хвостом повсюду, куда бы ни направлялась. Дымком его и прозвали легкомысленные и одновременно серьезные ромалийские дети, которые поначалу чурались меня, сидящую в уголке Ровининога шатра, пока сама лирха раскладывала на низком столике, накрытом темно-синим шелковым платком, цветные картинки, называемые картами судьбы, таррами. Понимать смысл мелких закорючек, которые люди называли грамотой, в ромалийском таборе умели немногие, только те, кто продавал на городских торжищах шелковые платки, разноцветные бусы да искусно вырезанные деревянные гребни, потому и предсказания-намеки на картах судьбы зашифровывались в ярких изображениях, нанесенных красками на тонкие деревянные пластинки. Много было этих пластинок-тарр, все картинки разные, чудные. Не то кровь, не то вино, льющееся из кубков на протянутые руки, сверкающие мечи, воздетые к небу или втыкаемые в землю, россыпь золотых кругляшков-монет и резные деревянные посохи вроде тех, с которыми путешествовали ромалийцы по ухабистым славенским дорогам. Мне в свое время тоже достались две картинки — человек в нелепых одеждах, бездумно и весело идущий к пропасти, шут, безумец, и повешенный вниз головой на раскидистом дереве. Черные волосы повешенного извиваются, подобно змеям, почти касаются плодородной земли, тело обвивает грубая пшенично-желтая веревка, но лицо умиротворенное и спокойное. Я тогда спросила у лирхи, что означают эти картинки, а она в ответ лишь улыбнулась и легонько провела изящной, чуть дрожащей ладонью по моей голове. Немного позже я узнала, что мне выпали «слепое следование» и «жертва во имя чего-то нового». Но к чему мне было это знание?

— Мия! — Звонкий детский голосок расколол сонную утреннюю тишину, разлитую над табором. — Мия, ты где?

Дымок недовольно дернул остатками обкорнанного когда-то уха и громко тьякнул в ответ, вскакивая настолько шустро, что я едва успела перехватить это стремительное создание поперек туловища, прижав к груди и не дав ему вырваться и обляять восьмилетнюю дочку ромалийского скрипача. Чернявая смуглая девочка, одетая в заметное красное платье и заботливо укутанная в цветастую материнскую шаль, опасно встала в трех шагах от меня, неловко переминаясь с ноги на ногу и глядя на утихомирившегося Дымка.

— Мия, там тебя лирха Ровина зовет, что-то интересное показать хочет. Иди быстрее, огонь я поддержу, я умею...

Я неловко встала, пытаясь размять затекшие от неудобной позы ноги, качнулась, едва не смахнув разгоревшиеся щепочки краем тяжелой широкой юбки, кликнула собаку и направилась к повозке, над откидной дверью которой звенели тонкие медные трубочки на витых шнурках.

День... День...

Плачут медные трубочки-бубенцы на холодном ветру, и, даже не заглядывая в повозку, я знаю, что лирхи там нет. Стынет покинутый домик на колесах, даже ненадолго оставленный хозяйкой, которая в очередной раз пытается научить меня понимать мир людей, слушать ветер, путающийся в хитросплетенной сетке-паутине, читать по воде и идти по дороге, увидеть которую можно лишь в яркую лунную ночь.

«Сюда, внученька!» — Сильный голос лирхи Ровины, казалось, слышен отовсюду.

Я невольно зажала уши ладонями, подняла голову к светло-серому небу, затянутому снеговыми тучами.

«Сюда!»

Чернеющие в сером утреннем свете голые ветки кустов — как корявые пальцы, протянувшиеся во все стороны в поисках добычи. Под ногами громко трещали невидимые под тонким снежным покрывалом сучья. Я пробиралась сквозь валежник неумело и шумно, цепляясь широкой юбкой за обломанные ветки и ругаясь сквозь зубы словами, подслушанными у Михея-конокрада, когда тот рассказывал у мужицкого костра о встрече с торговым караваном, везущим в ближайший речной порт шерсть и меха. Мол, у Загряды, что стоит славным городом как раз на пути у ромалийцев, нежити расплодилось столько, что крестьяне из окрестных деревень уже колья точить перестали. Как есть, выдергивают из плетня основу, что похлипче других, ею упыря али белую бабу заколют, а потом на место ставят. Все равно на следующую ночь, а то через две опять начнет что-то шаркать у забора, охотиться на скот и малолетних детей.

Ругань же была на змееловов и стрелков их, которые саму Загряду-то посещали раз в год по большому одолжению и солидному денежному посулу. А до сельских мертвяков, которые невесть почему поднимаются с освященного кладбища, прославленным охотникам за чудовищами и тварями земными вроде как и дела нет совсем. Спрашивается, к чему змеелову со своей дудкой ехать в загрядскую деревню, если крестьяне и так упырей побивают и упокаивают, даже не запыхавшись.

Но это пока.

«Сюда, Аийша!»

Имя, данное мне матерью при рождении из янтарно-рыжего яйца в сухой теплой пещере с низким сводом, судорожной дрожью прокатилось вдоль позвоночника, стянуло грудь тугим стальным обручем глухой, почти позабытой тоски. Я споткнулась, запуталась в валежнике и едва не упала. Левую руку обожгло болью, жаркие капельки покатались по замерзшей коже.

Остро пахнет железом, так остро, что голова кружится, а мир перед глазами плывет и из черно-серо-белого становится радужным, цветным, в нем каждый предмет или живое существо окружены облачком-аурой. Краски вспыхивают неожиданно и оттого кажутся наиболее яркими, слепящими — и особенно радующими после зимнего бесцветья. Над спящей под снежным покровом ложиной поднимается белесое зарево, словно там, за чернеющими древесными стволами, находится пресловутый край света, где заходит солнце и встает луна, где мечутся травянисто-зеленые сполохи болотных огней и безжалостно хлещут землю сизые плети молний. Перезвон стеклянных бубенцов заполняет стылую тишину, окружает странной переливчатой мелодией, которой хочется покориться, позволить ей нести себя, подобно щепке, попавшей в бурный речной поток.

Из-за деревьев вышла лирха Ровина. Я узнаю ее по лунно-белому сиянию: женщина закутана, как в королевскую мантию, в расшитый серебром и алмазами шлейф самой зимы.

Ромалийка ступала легко и бесшумно: босая, даже в мешковатом шерстяном платье с высоко подобранном подолом она смотрится царицей, владычицей этого безмолвного заснеженного леса, затянутого тяжелыми облаками неба и ледяного ветра.

Она протянула мне руки, помогая вылезти из бурелома, куда я по глупости забралась. Ее кожа теплая, нежная, а ласковое прикосновение утишило боль в ссаженной ладони, остановило карминовые жаркие бусинки-капли, падающие на снежное покрывало. Ровина достала из широкого рукава тонкие серебряные ободки-браслеты, усыпанные крохотными колокольчиками, застегнула кажущиеся ледяными оковы на моих хрупких запястьях, а потом повела за собой на поляну, в центре которой уже полыхает огненный рыже-красный цветок, огромный костер, к которому невозможно приблизиться и на пять шагов — до того жарко.

«Не бойся, Аийша».

Губы лирхи оставались плотно сомкнутыми, но я все равно слышала ее голос, ласковый, звонкий, как пение непокорного ручейка, несущего кристально чистые воды в узком извилистом русле меж камней. Ровина вела меня по кругу, по границе холода и жара, по тающему снежному покрывалу в двух шагах от черной земли, кое-где покрытой жухлой влажной травой, и с каждым шагом росло во мне напряжение. Как будто бы шасса, свернувшаяся безмолвным чешуйчатым клубком внутри хрупкого человеческого тела, вот-вот пробудится, расправит завернутый спиралью бурый хвост, встопорщит острый гребень вдоль гибкого позвоночника — и вырвется из слишком тесной человеческой шкуры на волю.

Замкнулся круг, в центре которого жарко полыхает трепещущее под порывами ветра пламя. Лирха остановилась, помогла мне снять теплую шерстяную свиту и цветастый платок, аккуратно складывая вещи на снег, жестом велела подоткнуть подол широкой юбки, а потом недовольно посмотрела на мои потрепанные башмаки. Я торопливо разулась, но не сразу решила ступить босиком на снег.

Ромалийка терпеливо ждала.

Где-то глухо, протяжно завывли волки, с треском разломилось прогоревшее посередине бревнышко в костре, выбросив сноп колючих искр, золотых хвостатых звездочек. Я сделала шаг вперед, и мерзлая земля под ногами показалась обжигающе-горячей, колющей пятки острыми иглами, но потом лирха взяла меня за руку, и пробирающе-яркий мир свернулся радужной спиралью, пронизанной плачем серебряных колокольчиков, украшающих мои запястья.

Две птицы танцуют на заснеженной поляне: одна — цвета лунного серебра, другая — солнечного золота. Их резные длинноперые крылья соприкасаются друг с другом с тихим металлическим звоном, рождая мелодию, изменяющую мир вокруг. Вот уже и земля не кажется холодной и жесткой, и высокое рыжее пламя утрачивает свой жар, обращаясь в великолепный цветок с множеством причудливых острых лепестков, проросших сквозь самоцветную россыпь алых углей. Дрожит над чудесным цветком перегретый воздух, тихо звенят монетки, вплетенные в длинные косы лирхи Ровины, которая ведет меня за собой в странной пляске по кругу. Миг — и огонь расступается, пугливо припадает к пылающим рубиновым самоцветам и почти гаснет, а ромалийка тянет меня все дальше, сквозь душное полотно невесомого жара, сквозь сгущающиеся сумерки...

Как нить, протянувшаяся сквозь полотно следом за иглой, так я прошла следом за лирхой сквозь огонь, очутившись в призрачном городе, где дома, сложенные из мертвого камня, почти смыкались крышами над головой, закрывая вечернее небо. Гладкие окатыши

под ногами, образующие странное каменное поле, меж которых застрял мелкий мусор, перемешанный с грязью. Тонкие столбы, увенчанные бело-голубой неяркой звездочкой, расположенные у каждого дома и дающие скупой свет. Окна закрыты прочными ставнями с железной оковкой.

И повсюду разлито болезненное тусклое сияние страха, окутавшего человеческий город подобно туманному одеялу, холодному, сырому, липнущему к лицу и волосам.

«Ищи...»

Что искать?

Топаз у меня на груди вдруг нагревается, золотое сияние пробивается из туго стянутой ладанки. Я торопливо достаю сверкающий «змеиный камень», крепко сжимаю в ладони, но свет все равно просачивается сквозь пальцы, одевая их прочной шассьей чешуей.

Не бурой и не бронзовой.

Золотой, как монеты в косах лирхи Ровины...

Краем глаза я замечаю движение — кто-то выходит из узкого переулка, пьяно пошатываясь и хватаясь за стену необычайно светлой рукой. Красные точки зрачков плывут в темноте, существо окутано плотным багряным коконом, который значительно больше меня, да и любого из людей, которых я встречала.

Тишина, звенящая, закладывающая уши, в которой шумное дыхание существа кажется особенно громким. Негромкое ворчание, больше похожее на низкий горловой рык, когда неведомый зверь, прижившийся в человеческом поселении, заметил меня, попятился обратно в переулок, отворачивая лицо, видевшееся мне лишь ровным пятном, в котором смешались все оттенки алого, как в рубиновом древе, когда-то жившем в каменном саду моего родного гнездовища.

Не бывает у людей столь сочного красного цвета в ауре, их цвета — оттенки синего и зеленого, изредка смешиваемые с кровавой яростью, огненной мечтой-одержимостью, лунным серебром врожденной магии. Оттенков множество, но это всегда лишь одиночные всполохи, искры на фоне озерной синей глади, светлячки в зеленом травяном море. Шассы находили друг друга по ровному янтарному сиянию, иногда способному озарить целый каменный зал, а иногда по тусклому огоньку, как у новорожденных или недавно отложенных яиц в надежно укрытом гнезде. Животные и птицы в мире людей виделись мне светло-зелеными с желтизной пятнами, как берилловые кристаллы в каменных нишах, яркие подземные цветы, украшающие шассьи пещеры.

Здесь же нечто совсем иное. Не живое, не мертвое — просто иное. Не зверь, не человек, не принявшая чужой облик шасса. Так что же?

Тянется за прижавшимся к холодной каменной стене существом яркий багряный след, цепочкой лужиц уходит куда-то в непроглядную темень переулка, в рукотворную пещеру меж тесно соседствующих друг с другом домов. По такому следу его любая нежить найдет, любой охотник выследит, а ослабленный житель теневой стороны людского мира вряд ли сумеет выстоять против стаи падальщиков. Черной уродливой дырой, прожженной угольком на многоцветной шелковой ткани, выглядит рана над сердцем.

Я вижу, как тело непонятого создания пытается зарастить эту дыру в ровном полотне сияющей алым ауры, как протягиваются багряные нити-паутинки, соединяющие неровные края, но слишком редко плетение, слишком медленно идет заживление раны. Существо медленно гаснет в сгущающейся тьме, из ярко-алого становясь тусклым, малиновым.

Жалко...

Шаг вперед, сквозь кажущийся холодным и плотным густой туман. Сизые извивы оплетают ноги тугими петлями, обнимают за пояс чужими, нежеланными руками, но стоило мне разжать пальцы и выпустить искристое золотое сияние «змеинового камня» на волю, как туман пугливо отступает, торопливо оседая мутными белесыми хлопьями на камни мостовой.

Еще шаг, и еще.

Прерывистым, хриплым становится дыхание теневика, когда я приближаюсь на расстояние вытянутой руки и склоняю голову набок, рассматривая дыру в его ауре. «Змеиный камень» в моей ладони обжигает даже сквозь прочную чешую, сыплет во все стороны белыми и рыжими хвостатыми искрами, а контур солнечно-желтого сияния вдруг становится точно по размеру обугленного черного пятна на переливчато-алой «ткани».

Я улыбаюсь. Оказывается, все так просто...

Вспыхнувшие с новой силой алые паутинки торопливо прорастают сквозь дармовую силу, аккуратно и тщательно приращивая сияющую золотом заплатку поверх прорехи, заживляют сквозную, смертельную рану.

Я очнулась, сидя на стволе поваленного дерева в двух шагах от потухшего костра. Самоцветная россыпь у основания огненного цветка обратилась в обычные черные угольки, которые неведомая сила разметала по запорошенной снежной крупой поляне; цветастый платок лирхи Ровины, брошенный на горячее еще кострище, тлел ровным сизым дымком, а сама лирха сидела рядом со мной, положив теплую ладонь на мое плечо. Мне было холодно и жарко одновременно, ступни пульсировали тупой болью, которая вспыхнула с новой силой, когда я попыталась подобрать ноги, чтобы хоть как-то обогреть их. Лирха торопливо обняла меня, коснулась ладонью моего взмокшего лба.

— Тише, внученька, тише. В первый раз оно всегда так.

Но я уже негромко подвывала, разглядывая свои покрасневшие, распухшие ступни, кое-где измазанные сажей. На пальцах вздувались волдыри, наполненные прозрачной жидкостью, да и пятки с каждой минутой болели все сильнее.

— В первый раз? — Я смотрела на Ровину с все возрастающей обидой, ощущая, как глаза начинает жечь от соленой влаги. Люди легко плачут от боли, особенно женщины и дети, последние вообще льют слезы по поводу и без него, даже если ссадят коленку или потеряют игрушку, без которой, разумеется, ну никак не могут обойтись. Странная, мало чем оправдываемая реакция человеческого тела, совладать с которой мне не всегда удается.

— Танец на угольях, — негромко пояснила лирха, доставая из небольшой сумки, аккуратно пристроенной у древесного ствола, деревянную коробочку и две чистые полоски мягкого небеленого льна. — Самый высокий порожек на пути в берегинье царство, в туманные дали, но переступить его легче остальных. Другие не порогом — лестницей высокой кажутся, не каждый смельчак до вершины дойдет, зато уж если доберется — попадает сразу на серебристую лунную дорогу, которая ведет куда надо. А в царстве берегинь самой надо свой путь искать. Нашла ли, Ясмия? Или рановато я тебя на землю вытолкнула?

Лирха смотрела на меня с хитрым прищуром, потрескавшиеся на легком морозце губы едва заметно растянулись в улыбке, выбившиеся из кос черные с проседью пряди обрамляли лицо Ровины кружевной узорчатой рамой.

— Не знаю. — Там, где розоватая мазь уже начала впитываться в кожу, постепенно

утихала боль от ожогов. Я наклонилась за расшитым мелким бисером кошельком, что носила привязанным к поясу, и мешочек-ладанка выскользнул из выреза блузки, закачался на длинном витом шнурке. Легкий и пустой, утративший привычную тяжесть.

Я ахнула, схватилась за ладанку, сдавливая в кулаке ромалийский оберег, ощупывая аккуратный шов со всех сторон, дергая за узелок на горловине, ища дырку, через которую мог вывалиться бесценный «змеиный камень». Безуспешно — ладанка была совершенно целой, туго завязанной на хитрый ромалийский узел, который с легкостью распускается, если знать, какую петельку объемной пуганки потянуть на себя.

— Потеряла что-то? — Голос Ровины звучал глухо и будто бы издалека. — Или оставила по доброй воле в берегиньем царстве?

Оставила? По доброй воле?

Я вспомнила угольно-черную дыру, расплзшуюся по переливающемуся всеми оттенками алого полотнищу, вспомнила, как своей рукой вложила в нее «змеиный камень», надежно и прочно закрывший прореху, подобно кусочку мозаики, как алые нити протянулись сквозь золото кровеносными сосудами, заживляя рану. Кому я подарила частицу шассьего гнезда, кусочек своей прошлой жизни? Кому оставила каменное семечко, которое непременно стало бы деревом, если бы я решилась и попыталась прорастить его в ближайшей пещере?

— Похоже, я спасла кого-то. Того, кого спасти не стоило. — Я зажмурилась, а потом глянула на ромалийку шассьими глазами, всматриваясь в частую черную сеть, покрывающую зеленое сияние человеческой ауры. — Ровина, как давно ты знаешь, кто я?

Теплой улыбкой озарилось лицо лирхи, серебристыми искрами заскользила магия по тонким пальцам, утишая боль в обожженных ногах.

— Еще до того, как тебя привели к нам. Тарры сказали. Я искала ту, что сможет заменить меня, когда придет мой черед сплясать последний танец с женщиной в белом, а нашла Ясмию, змедеву из волшебных сказок. Тебя оставил у нас человек, безжалостно уничтожающий вокруг себя все то, что не в силах понять или принять, от чего не может держаться подальше. Шут, безрассудно и слепо идущий по дороге своей судьбы, не замечающий ничего вокруг: ни чудовищ, что пытаются ухватить его за ноги, ни берегинь, что стремятся предупредить об опасности. — Она вздохнула, набросила мне на плечи теплую шаль и укутала потеплее. — Идем, внученька. Придется тебе на меня опереться, а то пока дойдем до стоянки, успеем и замерзнуть, и простыть. Не смотри, что я старая и больная женщина, сейчас я посильнее и покрепче тебя. Только золото из глаз своих скрой до поры до времени — не все ромалийцы верят бабкиным сказкам, предпочитая прислушиваться к речам змееловов.

Подняться на ноги оказалось еще труднее, чем в тот, самый первый раз, когда я ощутила вместо гибкого сильного хвоста две трясущиеся от слабости неказистые подпорки, на которых предполагалось ходить и даже бегать. Сделать шаг в обмотках по снегу, остро чувствуя каждую сломанную веточку, каждый мелкий камушек или желудь, скрытый под тонким белым покрывалом, — почти невозможно. Если бы не Ровина, подставившая мне плечо, я бы и вовсе никуда не дошла, осталась бы на той поляне и, что самое вероятное, просто сбросила бы человеческий облик, как старую, отслужившую свое шкуру. Отыскала какую-нибудь нору и впала б в спячку на несколько месяцев, как обычные горные змеи, которые с наступлением холодов прячутся в расщелинах скал и выбираются наружу только после того, как солнце растопит лед и согреет темные камни.



— Ничего, внученька. — Лирха взмахнула рукой слева направо, словно отводя в сторону невидимый полог. — Сейчас будем дома.

Разноцветными искрами замерцали камни в широком золотом браслете, болтающемся на узком, иссушенном прожитыми годами запястье, качнулась, подобно подвесному мостику, замеченная снегом тропинка под нашими ногами, вильнула, как потревоженная змея, и уперлась в вересковую заросль, до которой было от силы пять шагов.

— Потерпи, хорошая моя. — Ровина кое-как довела меня до кустов, прикрыла мне глаза ладонью и потащила сквозь цепляющийся за одежду вереск.

Острая веточка оцарапала мне подбородок, снег пушистыми хлопьями осыпал непокрытую голову, а в следующую секунду лесная тишина сменилась залихватской мелодией, наигрываемой на старой ромалийской скрипке, людским гамом и отдаленным лошадиным ржанием. Лирха убрала ладонь от моего лица и едва заметно улыбнулась.

Иногда дорогу домой можно сделать очень и очень короткой.

Деревенька под названием Гнилой Лес, казалось, испокон веков стояла у широкого торгового тракта, ведущего мимо Загряды к морскому порту у далекого северного берега Славении. Даже старожилам уже не вспомнить, что раньше появилось — поселение, которое вначале разрослось до шести десятков дворов, а потом опустело на треть, или сама дорога, проложенная через многочисленные болота. Годы шли, стылые топи, от которых тянуло сыростью, холодом и лихорадками, постепенно осушались, да и мрачный густой лес перестал быть гнилым и превратился в обычный еловый бор, богатый грибами и ягодами, но деревня свое название так и не поменяла. Пробовали жители переименоваться — и шильду новую на подъезде ставили из крепкого промороженного дуба, и проезжающих мимо поправляли, да только без толку все. Шильды с новым названием за одну только зиму чернели и рассыпались в мелкую труху, а в Загряде и окрестных деревнях как прозывали местных гнильцами, так и продолжали прозывать. Словно приросло к небольшому клочку плодородной земли у края болот кем-то вскользь брошенное имя, стало его неотъемлемой частью и глубинной сутью — и через много лет само место не согласилось на перемены.

Так и остался стоять Гнилой Лес рядом с дорогой и стоял бы дальше, радуя проезжавшие мимо торговые караваны свежим хлебом да радушием, если бы не случилась однажды беда, после которой деревня зачахла. Кто успел, прихватил самое необходимое и сбежал вместе с семьей из проклятого места, кто замешкался, подбирая имущество подороже да время поудобнее, навсегда остался прикованным к клочку земли в шесть с половиной верст от края до края. Ровный круг на славенской карте, границу которого свободно пересекают лишь пришлые, дорожные люди. Глухой лес, за полвека стеной вставший по краю заколдованной человеческим отчаянием земли, стал своего рода тюремной стеной, за которую не мог выбраться ни один из рожденных в медленно умирающем поселении. Людей истреблял голод, затем болезни, а в конце пришел страх перед самыми близкими.

Скрипнуло потемневшее от времени крыльцо, и усталая, рано состарившаяся женщина вышла на порог некогда ухоженного и красивого дома, держа в руках пустые деревянные ведра. Тихо, почти испуганно прикрыла за собой входную дверь, за которой звенели детские голоса, и торопливо направилась к колодцу. Первый снег накрыл пустынные улицы и крыши домов тонким слоем, не столько скрывая, сколько подчеркивая разруху, уже который год подтачивающую деревню и превращающую добротные деревянные избы в покосившиеся развалюхи с протекающей крышей и скрипучими половицами, здоровых и крепких людей — в бледных, постаревших, усталых призраков, а детей...

Женщину передернуло, и она пугливо втянула голову в плечи, ускоряя шаг и отворачиваясь от заметенного снегом пустыря, посреди которого еще стоял почерневший от сажи и времени остов церковной колокольни. Давно стоял — полвека уже прошло; бревна, что дотла не сгорели в ночь большого пожара, так и сгнили под холодными осенними дождями и снегом, но полуразрушенная колокольня по-прежнему возвышалась над деревней как ни в чем не бывало, и ничего ее, проклятую, не брало. Сказывали старики: место это когда-то было освященной землей, да и церковь стояла хоть и крохотная, но на диво уютная и светлая. Бывало, зайдешь, встанешь под круглым оконцем, что было прорублено в башенке-куполе, и словно боженька сверху на тебя смотрит, легко и радостно на сердце

становится.

Вот только глупость да жестокость людская все погубили. Крестьяне, живущие рядом с болотами, в которых гибли по пьяной лавочке люди и пропадала скотина, с которых по осени и весне тянуло промозглой сыростью да лихорадками, боялись всего, чего не могли понять и принять.

Укрылась как-то в церкви блаженная девчонка с некрасивой заячьей губой, невесть от кого нагулявшая ребеночка в неполных шестнадцать лет, — сбежала из дома сразу же, как скорый на расправу, водящий тесную дружбу с бутылкой отец заметил «позор» семьи. Сбежала, чтобы не исполнил родитель жестокую угрозу — выбить из дочкиного чрева прочно укоренившееся семя неведомого чужака, а в дальнейшем научить девушку скромности и послушанию кулаком да палкой. Священник, в то время живший в пристроенной к церкви избушке, укрыл девчонку, помогал по мере сил, а когда пришло время ей разродиться, позвал на подмогу повивальную бабку с окраины деревни — ведь каким бы благочестивым и отзывчивым ни был духовный отец, при родах он не самый лучший помощник. Женское это дело, всегда было, есть и будет, и лишь потому в прицерковную избу, где обычно крестили новорожденных, пришла сухощавая женщина с острым взглядом, сноровистыми руками и целой сумкой снадобий и травяных сборов.

Ребенок родился сразу после полуночи, а уже вечером следующего дня по Гнилому Лесу разошелся слух о том, что чудаковатая девка родила чертенка. Крепкая, уверенная в себе повитуха, вечером ушедшая в избушку священника принимать роды у приبلудной девицы, вернулась поутру домой дряхлой, трясущейся от старости и ужаса бабкой, которая и слова связного вымолвить не могла, только твердила что-то о бесах да нечисти поганой. Вот тогда-то от неуверенного шепотка по углам селяне и перешли к действиям — в ту же ночь вышли на улицы и мужчины, и женщины, оставив всех детей моложе двенадцати лет под надежным на первый взгляд укрытием родных стен, и с зажженными факелами направились к церкви.

Напрасно священник пытался усмирить напуганную, а от того еще более обозленную и непримиримую толпу, напрасно закрывал собой вход в небольшую избушку, откуда раздавался громкий плач разбуженного младенца, — крестьяне довольно быстро выволокли на снег блаженную, прижимающую к себе пищаний сверток.

Женщина у колодца глубоко вздохнула, подтянула глухо забренчавшую цепь с крюком на конце и подвесила на него пустое деревянное ведро.

Мать рассказывала, что ту девку сожгли в той самой церкви вместе с ее ребенком и священником, который до последнего пытался вразумить перепуганных крестьян, что дитя, рожденное глубокой ночью, было больше похоже на волчонка, чем на человека, да и не столько плакало, сколько громко, надрывно пищало и скулило, как побитая собачонка.

Тогда жители Гнилого Леса думали, что вместе с уродцем сжигают зло, поселившееся у них под боком, а на самом деле лишь показали нутро собственной души, изъеденное гнилью, подобно старой коряге на краю болота. Они стояли и смотрели, как пламя от объятая огнем церкви вздымается до небес, но за мгновение до того, как рухнула крыша, до них долетели последние слова священника. Их слышал каждый, кто был на площади перед огромным погребальным костром, слышал четко и ясно, несмотря на гул пламени.

«Да убоитесь вы детей своих...»

Из колодца раздался громкий плеск, когда ведро плюхнулось на поверхность стылой, кажущейся черной воды, булькнуло, уходя ко дну. Женщина налегла на ворот, и тяжелое ведро неторопливо поползло вверх.

Не потому ли сбылось проклятие, что крестьяне не нашли в себе смелости разобрать обугленные остатки церкви и похоронить по-человечески кости погибших?

— Мама?

Женщина вздрогнула, натруженные, покрасневшие от холода пальцы разжались, и уже почти показавшееся над краем колодезного сруба ведро стремительно полетело обратно. Бледная темноглазая девочка лет восьми, невесть откуда возникшая на дорожке, неторопливо подошла к колодцу, заглядывая в темное чрево.

— Ты упустила ведро, мама. Надо достать. Только не как в прошлый раз, ладно?

В прошлый раз доведенная до отчаяния непреходящим страхом, уставшая еженощно просыпаться от собственного крика, мать нарочно утопила ведро в колодце, потом кликнула дочь, к тому времени из милой, отзывчивой девочки превратившуюся в отражение потаенных кошмаров, и столкнула ее в глубокое колодезное чрево. Захлопнула крышку небольшого сруба, задвинула ржавый кованый засовчик и опроретью кинулась домой, на ходу обливаясь слезами облегчения пополам с раскаянием. Да только рано она доченьку оплакивать начала: стоило ей переступить порог горницы, как ее окликнул знакомый девчачий голосок. Звонкий, ничуть не дрожащий от холода.

Ребенок стоял у печи, держа в бледных, тощих ручонках выброшенное в колодец деревянное ведро. С волос и платица стекала вода, собираясь в большую лужу на чисто вымытом полу. Девочка улыбалась, даже не пытаясь выжать одежду или убрать с лица прилипшие к коже прядки темных волос.

Улыбалась так, что женщину мороз продрал по коже.

В ту же ночь муж ее умер во сне, захлебываясь криком и безуспешно пытаясь отогнать невидимых чудовищ, так некстати пришедших по его душу.

— Конечно, милая. — Крестьянка торопливо спрятала дрожащие руки под фартук, крепко сцепив пальцы в замок. — Я достану.

— И приготовишь пирожки мне и братику? — Девочка широко улыбнулась, поправляя яркую вязаную шапочку с красной кисточкой у виска.

— Приготовлю. Только потерпите немного.

— Здорово! — Она шагнула к матери, крепко, с недетской силой обняв побледневшую женщину за пояс. — Я люблю тебя, мама.

— И я тебя, детка...

Девочка потерлась щекой о живот крестьянки, а потом подняла голову, улыбаясь еще шире и всматриваясь в ее лицо глазами, которые на краткое мгновение превратились в черные, выжженные дотла дыры.

— Мама, а пирожков хватит для моих новых друзей?

— Каких друзей? — прошептала белая как полотно женщина, стискивая пальцы до ноющей боли и наблюдая за тем, как ее ребенок указывает за широко распахнутые ворота.

— Этих друзей.

Яркие фургоны кочевого народа крестьянка увидела на дороге еще до того, как говорливые, шумные ромалийцы въехали в проклятую деревню.

В небольшой комнатке под самой крышей, отведенной радушными хозяевами для меня и еще троих ромалийских детей, было довольно тепло и уютно. Начавшийся вечером неожиданный дождь вперемешку со снегом моментально обратил в скользкую грязь дорогу у порога дома и загнал под крыши даже вездесущую сельскую ребятню, без устали

носившуюся по деревне то с цветными деревянными игрушками, то с лакомствами, подсунутыми родителями.

Я лежала без сна на толстом матрасе, набитом душистым сеном, и смотрела на крохотный огонек небольшой восковой свечи, укрепленной на доньшке глиняного блюда с отколотым краем. Ветер задувал сквозь щели неплотно подогнанных ставен, холодной рукой оглаживал босые ноги, высовывающиеся из-под коротковатого лоскутного одеяла. Рядом тихонько посапывала дочка скрипача, пристроив отяжелевшую во сне голову на моей руке. Толстые косички я ей кое-как расплела, но толком расчесать так и не сумела, и теперь пушистые кудряшки норовили пощекотать лицо или залезть в нос. Не слишком-то приятно, но будить ребенка только потому, что он мне немножко мешает, было неудобно.

Чуть в стороне, около горячей кирпичной трубы, пристроились вечно мерзнущие сестры-близняшки, Карина и Зарина, в прошлом году подобранные одной из ромалийских танцовщиц на крупной городской ярмарке. Девочки занимались воровством — таскали кошельки во время торгов у зазевавшихся господ. Одна отвлекала внимание, пока вторая аккуратно вынимала мешочек с серебром из кармана намеченной жертвы, а потом обе растворялись в толпе. Промышляли девчонки так ровно до тех пор, пока случайно не нарвались на человека из Ордена Змееловов, невесть как оказавшегося на шумном празднике. Ровина объясняла мне как-то, что люди, носящие знак змеи, стоят вне человеческого закона, и наказание может оказаться куда как серьезнее, чем могло бы быть. Воришке, схваченному за руку в кармане простого горожанина, грозило тридцать плетей, если тому не было двенадцати, поймавший же карманника змеелов мог и кисть отрубить, невзирая на возраст преступника и не опасаясь порицания за поспешный самосуд и жестокость. Если бы рядом не оказалась женщина из Ровининого табора, что заступилась за девочек и предложила змеелову виру в качестве откупа за попытку кражи, одна из близняшек могла бы остаться калекой на всю жизнь. А чтобы Карина не позабыла о своей глупости, ромалийка остригла ей длинные пшеничные кудри по плечи, а потом еще и упростила лирху заговорить волосы так, чтобы они не отрастали, пока девица замуж не выйдет по всем правилам. И буквально на следующий день девчушка выпросила у кого-то длинный нож и косо срезала волнистую прядь у виска, не поверив в заговор Ровины. Может, и зря: почти год уже прошел, а как была в палец длиной та прядка, так и осталась. Зато и змеелова того, и запрет на воровство Карина накрепко запомнила.

Я приподнялась, осторожно вытащила из-под пригревшегося ребенка начавшую затекать руку и попыталась устроиться поудобнее под тем жалким кусочком одеяла, что не успела еще стащить с меня маленькая Ли́ра. Вот удивительно: девочке всего восемь лет, меньше меня чуть ли не вдвое, а одеяло умудрилась стянуть почти полностью, да еще так хитро в него завернулась, что отыскать кончик, чтобы заставить Лиру поделиться, было невозможно.

Внизу хлопнула дверь, застучали грубые крестьянские башмаки. Интересно, куда наша хозяйюшка отправилась в такой час? За окном хлещет стылый осенний дождь, во дворе грязи по щиколотку, а она куда-то собралась. Говорят, в такую погоду человек собаку из дома не погонит, какая бы старая и брехливая она ни была, пожалеет бессловесную животину, а тут селянка сама из дому идет в промозглую ночь...

И снова тихо, настолько, насколько вообще может быть в неумело сложенном доме, когда непогода забивает все посторонние звуки.

Я прикрыла глаза, поджала колени и попыталась заснуть под неумолкающую песню

ветра. Дома, в родном гнездовище, редко когда бывало шумно. Чаще всего в пещерах было тихо и беззвучно, редко где прошелестит чешуей проползающая мимо детской шасса или запоет ветер в невидимом воздуховоде.

Чувство безвозвратной потери и тоски по погибшему дому накрыло спустя несколько дней после того, как змеелов оставил меня в ромалийском таборе. Накрыло разом и заполнило до самого доньшка. Я ревела в голос, билась в надежно укрытом заклинаниями шатре лирхи Ровины, драла невесть откуда взявшимися на человеческих пальцах шассыми когтями подушки и ковры, как бешеная кошка, — и отчаянно боялась, что сброшу тесную человечью шкуру и обращусь в неуправляемое чудовище, которому ярость затянула глаза алой пеленой безумия. Лирха, которая все это время находилась вместе со мной в шатре, каким-то образом сдержала мое превращение, вытянув колкое чувство утраты по капле, а потом накрыла мою память нежной, как облачко тумана, пеленой отстраненности. Той самой, что позволяет рвущим душу воспоминаниям утратить яркость и четкость, избавиться от желания мести, когтистой рукой схватившей за горло. Но об этом ее чутком и осторожном вмешательстве я узнала много позже, когда решила, что буду учиться тому, чему Ровина желает меня научить, в надежде, что полученные знания помогут найти ответ на вопрос, который мучил меня с того момента, как я очутилась в человеческой шкуре.

Как быть?

В родном гнездовище все было просто и понятно. Вырасти. Научиться подчинять себе горную породу, изменяя, перестраивая и дополняя ее согласно душевным стремлениям и на благо рода. Добиться, чтобы выращенное в каменном саду дерево стало достойным продолжением семейной ветви. Дать жизнь новому поколению и научить его видеть и жить в лабиринте туннелей.

Просто. Понятно. Естественно.

А сейчас? Притворяться человеком и быть им — совершенно разные вещи. И влиться в стремительный, беспокойный и непостоянный поток человеческой жизни куда сложнее, чем просто влезть в шкуру представителя этого народа. Лирха приняла меня, даже зная о моей чужой сути. Заглядывая в золотые шассы глаза, могла долго рассказывать о нежити, прячущейся в густой тени склепов и надгробий, о хитром переплетении человеческих взаимоотношений, о законах совести и законах власти, понять которые я была не в силах, как ни старалась. Законы власти просто опустились холодными камнями на дно моей памяти, а законы совести, как выяснилось, были для каждого свои, и мне еще предстояло до них додуматься.

Сложная, насыщенная и противоречивая человеческая жизнь, с одной стороны, изумляла своей непосредственностью, раздражала обилием предрассудков и глупостей «во имя добра», а с другой — вызывала жгучий интерес, желание узнать как можно больше о том, как наивные и мудрые, жестокие и великодушные, ненавидящие и любящие люди умудряются менять целый мир вокруг себя одним лишь своим присутствием...

День... День...

Я вздрогнула, стряхивая с себя вязкую дрему. Рядом со мной пошевелилась Лири, что-то забормотала сквозь сон. Моя ладонь осторожно легла на спутанные кудряшки девочки, огладила теплый лоб, щеку.

Спи, маленькая.

День...

Где-то еле слышно, но на удивление чисто и звонко плакал колокольчик.

Я приподнялась на локте, оглядываясь по сторонам. Свеча, стоявшая на крышке объемного сундука, давно погасла, и комната погрузилась в почти полную темноту. Что-то скользнуло по моей щеке, будто пролетающая мимо летучая мышь задела бархатистым теплым крылом. Я тихонько ахнула, резко села, прижимая ладонь к лицу и вглядываясь во мрак. Нечто шевелилось в нем, и оно было чернее ночи, темнее предрассветных сумерек, размытое пятно, на миг показавшееся из густой тени в углу комнаты и сразу же спрятавшееся обратно.

Сердце на миг пропустило удар, екнуло и пугливо сжалось. Я схватилась рукой за опустевшую ладанку, все еще болтавшуюся на шее, и взглянула на комнату шассыми глазами. Если бы я сделала это в момент, когда ромалийский табор только въезжал в покосившиеся деревенские ворота, я бы предпочла ночевать в фургоне на обочине дороги, невзирая на холод и непогоду. Сквозь бревенчатую стену крестьянского дома уродливыми щупальцами прорастала чужая воля. След, оставленный существом, которое покинуло мир живых, но так и не смирилось с участью мертвеца. Угольно-черная прореха в разноцветном полотне мироздания, отвратительный цветок с пульсирующей алым сердцевинкой. Недаром Ровина говорила, что самый заметный, самый ощутимый след в мире людей оставляет нежить: ведь даже обычный, не наделенный магическим чутьем человек, оказавшись рядом с местом дневной лежки неумершего, ощутит смутный страх и беспокойство и постарается как можно быстрее покинуть «нехорошее место». Чего уж говорить о ведуньях, «зрячих», лирхах, которые чувствуют нежить так же хорошо и уверенно, как волки — израненную добычу. Странно только, что Ровина, поутру разложившая на шелковом платке тарры, никого не предупредила о грядущей опасности — лишь нахмурилась, читая по картинкам знаки судьбы, да и убрала раскрашенные дощечки обратно в узелок. В то, что пожилая ромалийка могла ошибиться, я не верила: лирха уже давным-давно не вызывала в памяти значение тарр, она их слышала почти так же четко и ясно, как обычные люди слышат собеседника. Значит, она намеренно позволила табору встать на ночлег именно в этой деревне?

Я осторожно вытянула из-под спящей девочки край измятой юбки, поднялась с лежанки и тихонько, с ботинками в руках, прокралась к едва заметно подсвеченной зеленым двери. Колокольчики зазвенели громче, черные побеги марова колдовства зашевелились, узкими трещинами скользнули по потолку, приближаясь к спящей Лире. В памяти всплыла дудочка змеелова, мелодия которой превращала волю музыканта в бирюзовые петли, намертво оплетавшие шасс одну за другой, в волшебную паутинную сеть, вырваться из которой оказалось невозможно даже для самых сильных из моего гнездовища.

Здесь — та же дудочка, только она плачет серебряным звоном и полночными трещинами прорастает сквозь стены, тянется не к шассам, а к людям. К тем, у кого еще слишком мало своих сил и своей воли, чтобы устоять перед маровым зовом. К самой легкой добыче.

К детям.

Каждую шассу начиная с того дня, когда у нее открываются слепые глаза, учат, что нужно защищать тех, кто слабее.

Каждой ученице с момента, когда она впервые берет в руки тарры, лирха прививает стремление подсказывать тем, кто не умеет читать знаки судьбы, помогать обойти опасность стороной, а если обойти не удастся, то встать на пути каждого, кто хочет навредить людям, доверившим свою жизнь «зрячей» женщине.

Я бесшумно положила башмаки на пол и шагнула к торопливо разрастающейся угольно-

черной «трещине», притаившейся в углу чердака, ощущая змеящиеся по полу шупальца как промерзшие насквозь тонкие древесные корешки, жесткие и колющие ступни даже сквозь толстые вязаные носки. Алая искра, трепещущая в глубине угольно-черной мглы, задрожала, едва я поднесла к ней отливающие тусклым золотом чешуйчатые ладони, скользнула вверх, как потревоженный светлячок, но я успела раньше. Основа чужой воли угасла в моей руке, как затушенное меж пальцев тусклое свечное пламя.

— Мия... — Дочка скрипача села на тюфяке, растирая кулачками заспанные глаза. — Мия, а где мальчик с колокольчиками?

— Какой мальчик? — Я торопливо зажмурилась, возвращая глазам человеческий вид, и лишь потом повернулась к ребенку, с трудом различая в темноте хрупкий силуэт.

— Ну тот, который звал нас гулять. Карина и Зарина сразу пошли, а меня с собой не взяли, сказали, что маленькая еще.

— Тебе приснилось. — Кое-как на ощупь я добралась до постели, на которой спали близнецы.

Пуста, но замерзшие ладони еще ощущали тепло нагретой простыни. Совсем недавно ушли. Но как? Я ведь даже не заметила, не обратила внимания, что их нет — как будто над брошенным у печной трубы тюфяком висело «слепое пятно», несложный заговор, способный отвести глаза даже лирхе именно из-за своей простоты. Он не поможет против того, кто совершенно точно знает, что или кого ищет, кто внимательно оглядывается по сторонам, но позволит случайному взгляду скользнуть по «слепому пятну», как по пустому месту. Нет, не совсем пустому. Как по части привычной, ничем не выделяющейся обстановки, по безликому силуэту в толпе, неяркому пятну, не привлекающему внимания.

— Не присни-и-илось, — капризно заныла девочка, выпутываясь из-под одеяла. — Я гулять хочу, там солнышко и цветов много. И их можно рвать на веночки...

— Цветы не жалко? — поинтересовалась я, выпрямляясь и направляясь к выходу. — Им тоже жить хочется, как и тебе. А ты наиграешься и выбросишь их умирать.

— Не выброшу! — упрямо заявила Лира, заворачиваясь в одеяло. — Хотя мальчик говорил, что им все равно не больно.

— Интересно, откуда он знает? Он ведь не цветок.

— Нет. Но умирать ему было не больно, поэтому он точно знает.

Я вздрогнула, торопливо сунула ноги в башмаки и выскочила за дверь.

Мара полуночная, мара-воровка, «сонная смерть»...

Ровина говорила, что такие нередко приживаются в людских поселениях, жители которых вершили страшный народный суд. Не слушали ни священников, ни старост и уж тем более не писали челобитных к правителю ближайшего города, а собирались на площади и шли вершить справедливость, поднимая на вилы старика, у которого благодаря знаниям и травам в мор выжила вся скотина, женщину, родившую от чужака... Да кого угодно, кому не посчастливилось стать воплощением чужих страхов и несбывшихся надежд и кого побрезговали похоронить согласно человеческому обычаю. Тогда спустя несколько лет в поселение придет мара — полуночный кошмар, потихоньку, по капельке отбирающий жизнь у людей. Вначале это будут лишь тяжелые сны, неохотно отпускающие с рассветом, но чем больше пройдет времени, тем сильнее становится нежить, и потаенные страхи начинают приходиться даже при свете дня. Не угадаешь, в ком поселится «сонная смерть»: пока прах не погребен, накопившая достаточно силы нежить прирастает к наиболее слабым духом и волей, и первая же отобранная жизнь навеки привязывает человека к маре, превращая в



нежить, способную существовать при свете солнца.

Неужели лирха рискнула привести табор в Гнилой Лес только для того, чтобы не расползлось марово гнездо по округе, чтобы не стало подобных деревень еще больше? Сколько их — селений на пять жилых дворов, где нежить тихонько копит силу, годами выпивая людей, которые и уйти-то не могут, потому что не позволит мара ускользнуть человеку из заботливо выстроенного загона, нагонит у самой границы своих владений, и тогда не жди пощады. Только если укроется человек на освященной земле, в церкви или на тихом кладбище, где лежат тела людей, нашедших истинный покой, — тогда «сонная смерть» и отступит.

Я так и не смогла понять причину, по которой забрасывание иссохших костей или мертвого тела землей под тягучее песнопение гасит алые сполохи не-жизни, укоренившиеся в давно умершем человеке, почему установленный над свежей могилой осиновый крест накрывает низкий холмик невидимой плитой, из-под которой уже не восстать ни упырю, ни маре. Низенький домик с крестом на крыше убережет человека от нежити куда надежней высоких каменных стен и железных решеток, а круг из заговоренной ведуньей соли отведет глаза лесным духам, отпугнет призрачных жителей болот и рек.

Это просто работает, и неважно, верит ли человек в проводимый обряд или нет.

Тяжела доля людей несведущих, нечистых на руку и совесть: по незнанию или глупости призовут к своему дому нечистую тварь али полуночную нежить, а потом не знают, как сбросить ярмо чужой воли. И ведь вместо того чтобы в себе, в душах своих отыскать червоточинку, искоса начинают смотреть на соседей да на пришлых людей — кому полегче, тот виноватым и становится. И за помощью к бездушным змееловам обращаться не торопятся, пока совсем поздно не будет — видать, страшатся, что облеченный особой властью дудочник в первую очередь спросит, чем навлекла на себя деревня мару или упыря? Убили кого тишком и похоронить по-человечески на освященной земле постыдились? Или обидели женщину «зрячую», так крепко обидели, что безлунной ночью вышла она на перекресток дорог, сплела злое, крепкое, как железо, и упругое, как луговая трава, заклятие, обернула наговоренный камень окровавленным платком, да и закопала его при входе в деревню. А последствия такого обряда известны: на семь верст окрест все живое рожать перестает. Цветет все, как раньше, даже пышнее и ярче, а вот плодов не дает, и девки краше становятся, и парни, да толку от той красоты, если все, как один, — пустороды. Вот и злятся люди, все отдать готовы, лишь бы плодородие в свою землю вернуть, и тогда-то приходит нечисть, что рада-радехонька выполнить такое простое на первый взгляд человеческое желание — продолжить себя в потомках. Заключаются договоры, рождаются дети... да только людского в них одна внешность и остается.

Но чаще темные, неграмотные крестьяне боятся не высокой платы, которую может запросить змеелов за избавление от напасти, не осуждения, а холодного, расчетливого равнодушия, с которым дудочник выслушает сбивчивые рассказы, сядет на коня и объедет вокруг деревни, оставляя после себя восемь заговоренных вешек. Осиновые кольца с выжженным на оголовье знаком Ордена, что надежно запрут внутри круга прижившуюся в деревне нежить, и там ты хоть в лепешку расшибись, — «вешковый» круг кого угодно впустит, а вот выпустит с неохотой как чужака, так и местного. А нежить и вовсе сама не может пересечь невидимую линию — только если пришлый человек не выломает заговоренную вешку или же не вывезет красивую бледную «девицу» на своем коне в

большой мир.

Пожилая лирха тяжело привалилась спиной к обшарпанной стене сгоревшей колокольни, переводя дыхание. Змеелова вешка стояла аккуратно у обочины дороги при въезде в Гнилой Лес и напоминала гладко ошкуренный колышек, на две ладони возвышающийся над землей. Оберег, надежно запирающий внутри невидимого круга расплывшуюся нежить вместе с живыми людьми, одновременно служил алой чумной тряпкой, вывешенной на дереве недалеко от обреченного поселения. Каждый дудочник или ганслингер, проезжая мимо такой вешки, просто обязан был проверить целостность обережного круга и, если она была нарушена, объявить тревогу.

Но почему не прийти на помощь? Ведь дудочнику достаточно сыграть на своем инструменте песню, которую услышит лишь заклинаемый и сам заклинатель, — и нежить покорно покинет селение, выйдет на зов из своих укрытий хоть днем, хоть ночью, и в зимнюю стужу, и в летний зной. Выйдет — и безвольно замрет напротив призвавшего ее человека, если потребуется — встанет на колени и будет ожидать своей участи, которая всегда незавидна. А ганслингеру зачастую достаточно потратить несколько свинцовых пуль, выпущенных из зачарованного револьвера, чтобы раз и навсегда избавить деревню, накрепко усвоившую горький урок, от напасти.

Так почему же они не считают своим долгом вмешиваться до того, как спасать будет некого? В свое время Ровина так и не нашла ответа на этот вопрос.

Тогда, много лет назад, долгожданное тепло заставило ее, совсем еще юную девчонку, поверить в то, что весна наконец-то наступила. Молодая зелень, плотным ковром затянувшая склоны холма, у подножия которого располагалось небольшое село, радовала глаз своей яркостью. От запаха цветов дурела голова, и лирха Ровина, еще носившая в те благословенные времена простое имя Лидия, частенько пропадала в подлеске, собирая хрупкие первоцветы в маленькие букетики, которые прикалывала к платью. После холодной снежной зимы скорая теплая весна казалась благодатью, и люди с радостью наблюдали за тем, как дружной зеленой стеной всходят озимые, как растут на грядках овощи, а на фруктовых деревьях распускаются мелкие белесые цветочки, обещающие к осени богатый урожай.

Все изменилось, когда на закате в деревне появилась бледная девушка, одетая в длинное белое платье, одновременно походившее и на саван, и на подвенечный наряд. Лидия случайно увидела ее за окном, когда та неторопливо шла по улице. Казалось, незнакомка плывет по воздуху, не касаясь земли изящными ножками. Она остановилась напротив дома Лидии, обернулась — и улыбка раскроила ее прелестное личико надвое страшным, нечеловеческим оскалом. Тогда в деревню вошла сама смерть, принявшая облик одного из своих многочисленных немертвых слуг.

Лидия плохо помнила, как отец ночью стащил ее, сонную, с кровати и сунул в огромный сундук, в который мать заботливо складывала приданое для единственной дочурки. Но даже спустя много лет ей снилась гробовая тишина, в которой деревенский кузнец, всю жизнь поносивший и бога, и нечисть, не боявшийся выйти на медведя с одной рогатиной да собственноручно откованным охотничьим ножом, будет неистово, срывающим полусшепотом читать молитву, которой мать учила девочку едва ли не с рождения...

...Отец наш, сущий на небе...

Шорох длинного подола, скользящего по полу, невесомые шаги, почему-то отзываются тупыми уколами в виски. Голос отца смолк мгновенно — так быстро, что

Лидия успела подумать, что оглохла. Что-то глухо застучало по полу, будто по гладким доскам запрыгал набитый тряпками мяч, который детвора обожала гонять по пыльным улочкам. Тихий смех, от которого кровь застыла в жилах, — а потом все успокоилось. Даже спертый воздух перестал давить на грудь холодной могильной плитой, едва уловимый запах протухшей, застоявшейся в кадке воды улетучился, но выбраться из своего убежища Лидия осмелилась лишь утром, после того как петух успел вдосталь наораться во дворе, а в хлеву тревожно замычала недоеная корова.

В комнате было пусто, неровная цепочка бордовых капелек вела от сундука к окну с вывороченными, расколотыми в щепу ставнями, и тщательно затертое, будто вылизанное красноватое пятно на полу...

Отца Лидия так и не нашла. Видать, не спасла чудотворная молитва грешного человека, а может, не о своем спасении упрашивал кузнец невидимого бога. Не только будущая лирха в то утро недосчиталась близких — смерть взяла свою плату почти в каждом дворе, не оставив ни следов, ни тел погибших.

Весна все так же благоухала цветами и молодой зеленью, когда девочка сбежала из дома, прихватив с собой лишь небольшой узелок на скорую руку собранного приданого и железную подкову, выкованную отцом. Сбежала потому, что на стене каждого дома ей чудился кровавый отпечаток узкой шестипалой ладони, на каждом встреченном человеке — крохотная метка в ямке между ключицами, нечто вроде комариного укуса, небольшое пятнышко, которое походило на клеща, впившегося в тело и уже насосавшегося крови. Сбежала, не сказав никому ни слова, — и очнулась, лишь столкнувшись на узкой проселочной дороге с высоченным мужчиной, одетым в наглухо застегнутый, несмотря на почти летнее тепло, кожаный плащ. Незнакомец как раз закончил вбивать небольшую вешку на обочине — ошкуренный деревянный колышек длиной в локоть. Еще два точно таких же виднелись за широким поясом, украшенным медными бляхами.

Заметив Лидию, мужчина медленно выпрямился, и из свободного рукава ему в ладонь выскользнула недлинная, богато украшенная дудочка. Разноцветными огнями вспыхнули драгоценные камни на обращенном в серебро коленце тростника, заискрился на солнце сложный узор, вьюнком оплетающий этот сломанный лунный лучик. Полилась мелодия, которая больше походила на шелест листьев, стрекотание кузнечиков в траве, чем на музыку...

— «Зрячая», — отняв дудочку от губ, хмыкнул человек и холодно улыбнулся. «Как змея», — подумалось тогда Лидии. — Беги отсюда, пока выпускают. Здесь место теперь нехорошее будет.

— А как же... — Девочка обернулась, глядя на оставленную деревню, как на выброшенного под проливной дождь порядком надоевшего своей вредностью котенка, — с искренней жалостью и облегчением. Пронизывающий до самого нутра ужас остался там же, на дне огромного сундука, наполовину заполненного вышитыми простынями и сорочками.

— Они все равно что мертвы. Достойная расплата за глупость и непомерную жестокость.

Дудочник ушел, не оглядываясь более ни на Лидию, ни на деревню.

До вешки с выжженной на оголовье пронзенной змеей девочка так и не решилась дотронуться...

Лирха Ровина глубоко вздохнула, отгоняя неожиданно яркие воспоминания, взялась

обеими руками за мокрый от непогоды, занозистый брус, подпирающий снаружи покосившуюся дверь колокольни, дернула, расшатывая вросший в землю нижний конец. Когда-то давно ее родное село было отдано змееловом на откуп нежити, которую тот мог лишь удержать на месте, но не уничтожить. Сил не хватило бы? Рисковать не хотел? Кто теперь разбираться будет, история эта давно поросла быльем, умерла вместе со сгинувшей деревней, от которой ныне остались лишь разрушенные бревенчатые скаты да «черная метка» на карте славенских земель. Но когда Ровина почуяла «вешковый» круг на подъезде в Гнилой Лес, она не сумела заставить табор пройти мимо. Не предупредила о грядущей беде, позволила ромалийцам проехать сквозь гостеприимно распахнутые для чужаков покосившиеся ворота — и почти сразу же покинула людей, оставив их под присмотром юной «зрячей». То, что ее истинная природа далека от человеческой, лирху уже давно не волновало. Молодая змеедева пришла в ромалийский табор точно так же, как сотни других будущих лирх до нее — утратив все, что связывало с прошлой жизнью, а то, что привел Ясмию не распознавший законную добычу дудочник, лишь ярче обозначило ее путь. Ромалийскими лирхами не рождаются, ими становятся после того, как знакомая с раннего детства жизнь сгорит вместе с частью души, обратится в пепел, из которого приходит дар «зрячей». Только потеряв дорогое и родное, можно увидеть то, что ранее не было замечено, выйти на дорогу — и повстречать свою судьбу в лице немолодой лирхи, ведущей свой табор по берегиньему царству, читающей будущее по линиям на ладони и раскрашенным таррам и готовой принять бремя наставничества.

С тихим стуком ударился о землю тяжелый прогнивший брус, закрипели давно не смазанные петли, когда Ровина надавила на хлипкую, податливую дверь, ведущую в колокольню, сунулась внутрь — и сразу отпрянула. Из небольшой башенки с крутой деревянной лестницей, змейкой вьющейся вдоль стен, несло тяжелым покойничьим духом, сыростью затопленного по весне подвала и стылым холодом замороженного насквозь нежилого дома. Где-то наверху завывал ветер, колотящий по каменным стенам дождем пополам со снегом, а стены на ощупь были холодными и скользкими, будто покрытыми плесенью. После давнего пожара колокольня почти не изменилась, время словно застыло в тот день, когда проклятие душным паутинным коконом опутало деревню.

Лирха скользнула внутрь, встряхнула руками, заставив плакать золотые бубенцы на браслетах, повела ладонью перед собой, будто отодвигая густой мрак в сторону, как пыльную занавеску. В колокольне разом посветлело, словно в небольшое оконце над головой заглянула полная луна. Густые тени по углам посерели и выцвели, позволяя увидеть остатки разрушенной мебели, не тронутые пожаром, ветхие обрывки, когда-то служившие покрывалами, и только в небольшом закутке под лестницей-змейкой тьма по-прежнему лежала непроглядным чернильным пятном.

Ровина отставила в сторону посох, прислонив его оголовьем к подгнившему дверному косяку, и направилась к лестнице. Звон бубенчиков становился все тише, тьма проглатывала звуки, как голодная тварь — случайно подвернувшуюся добычу, обступая лирху со всех сторон. У закутка женщина наклонилась и сунула руку в густую тень, чуткими пальцами ощупывая занозистую скамейку, с которой свисала ветхая тряпка.

Не тряпка, а остатки льняного платья...

Ромалийка торопливо сдернула с плеч богато украшенный шерстяной платок, расстелила на грязном полу, тихонько шепча заупокойную молитву, вновь потянулась к скамейке, бережно перекладывая с нее легкие, как высохший тростник, тонкие кости.

Погибшей в дыму пожара, когда-то охватившего колокольню, едва ли было шестнадцать лет — скелет маленький, хрупкий. При жизни девушка была невысокого роста, прихрамывала на левую ногу из-за неровно сросшегося перелома, искривившего щиколотку, и вряд ли могла работать в поле. Из-за чего же ее не похоронили, если было известно, что она погибла в пожаре? Почему она так желала мести, что вернулась в родную деревню «сонной смертью»?

Ответ отыскался, когда лирха, осторожно переложив кости девушки на узорчатый платок, снова провела ладонью по скамье. Еще один скелет, завернутый в истлевшие тряпки. Крохотный, невесомый. Искореженный еще в материнской утробе так, что поначалу Ровина подумала, что держит в руках останки нечисти-полукровки, хотя те рассыпаются в прах, в серую пыль, стоит только до них дотронуться, сдвинуть с места упокоения.

Вот чем жители Гнилого Леса заслужили «сонную смерть» и «вешковый» круг, отделивший владения нежити от людской земли, заслужили извечный страх перед близкими и собственными снами и ненавязчивое наблюдение дудочников. Ведь всякая мать, если она может таковой называться, будет оберегать и защищать свое дитя до последнего вздоха, даже когда оно уродливо и, судя по всему, нежизнеспособно. Наверняка девчонке предложили отдать ребенка, чтобы кто-нибудь тихонько притопил грех в болоте, отдал нечистое дитя кикиморам, а та заупрявилась, и как результат — ночь, полная огня от горящей колокольни, обложенной сухостоем, смерть от раздирающего легкие дыма и огромное желание отомстить за две погубленные жизни.

Лирха завязала углы платка крест-накрест, прижала получившийся узел к груди и торопливо покинула колокольню, ощущая, как потревоженная тьма выливается сквозь трещины в ненастную ночь, как ветер наполняется тихими смешками и хохоточками, как стекающий по длинному плащу и косам дождь застывает хрустким белесым инеем.

Расплодившиеся в деревне мары почуяли угрозу и теперь нападут в открытую, чтобы помешать человечке добраться до освященной земли старого кладбища. Ведь без непогребенных костей марова сила пойдет на убыль, да так быстро, что люди оглянуться не успеют, как станут свободными — для призраков все окончится с новым рассветом, а для людей... Все будет зависеть от того, как хорошо они усвоили полученный горький урок.

Они ждали меня у колодца. С полдюжины детей, тесным кружком сгрудившиеся вокруг дрожащих под проливным дождем близнецов, повернувшись ко мне сразу же, стоило только появиться из-за угла дома. Лица «маровых плодов» призрачно светились в предрассветной сырой мгле, глаза словно обведены угольными кругами, побелевшие губы сжаты в тонкую нитку.

— Я пришла за своими.

— А может, останешься с нами?

Мары расступились, и высокий босоногий мальчишка, небрежно оглаживающий по голове одну из близняшек, поднял на меня печально знакомые разные глаза. Правый — темно-карий, как плодородная земля на полях, левый — светло-зеленый, почти прозрачный. Взгляд змеелова, с приходом которого в моей жизни все перевернулось. Он отыскал наше гнездовище, привел с собой безжалостную дудочницу, бирюзовым колдовством опутавшую мою семью, наемников с тяжелыми арбалетами. Он подобрал меня на обочине дороги, когда я только-только оказалась в слабом человеческом теле, и я до сих пор со страхом думаю о том, что могло случиться, если бы змеелову хватило проницательности. Если бы мелодия его дудочки подчинила меня, сладким ядом проникла в мое сердце и уговорила бы принять

истинный облик, сбросить неудобную человечью шкуру...

Я вздрогнула и отшатнулась, а мальчик неторопливо приближался ко мне, меняясь с каждым шагом. Каштановые волосы, остриженные под горшок, посветлели и удлинились, лицо утратило подростковую мягкость, черты поплыли, превращаясь в личину дудочника, парень стал гораздо выше ростом, движения — более резкими, отрывистыми, словно каждый шаг причинял уже привычную боль.

Змеелов, одетый в простую льняную рубаху и штаны, едва доходившие до колен, широко улыбнулся и потянулся ко мне.

— Оставайся. Я тебя не обижу. Тебе будет хорошо.

Ладонь, скользнувшая по моей щеке, была холоднее льда.

Я улыбнулась в ответ, ощущая, как на гладкой, нежной коже нарастает прочная шассья чешуя.

— У моего страха были теплые руки.

Мир вспыхнул яркими красками, когда я оттолкнула нежить в сторону, глубоко погружая когтистую ладонь в ее грудь, безжалостно уничтожая слабо трепещущую алую искорку. Успела заметить черную плеть, наотмашь хлестнувшую по тому месту, где я только что находилась, ощутила, как по оголенным ногам скользят комочки холодной глины, брызнувшей во все стороны. Вперед, пока угольные тени окончательно не загасили стремительно тускнеющее голубоватое с рыжими искорками страха сияние близнецов.

С губ слетает громкое раздраженное шипение, когда мара бросается мне под ноги, хватая под коленями, пытаюсь повалить в жидкую грязь. Еще одна цепляется за плечи холодными как лед, жесткими руками, которые чудятся скрюченными древесными побегам с шершавой корой. Чуть в стороне приглушенно рыдают девочки, окруженные «сонной смертью», оживляющей их потаенные, полузабытые страхи, негромко трещат маровы голоса, похожие на звук ломающихся веток, а я пытаюсь вырваться из душащего кольца, чтобы успеть добраться до близнецов, не дать им погибнуть.

Я с трудом балансировала на зыбкой грани, отделяющей мой человеческий облик от шассьего, чужая, как покрытая бронзовой чешуей не вовремя разбуженная змея раздраженно шипит на облепившую ее тьму. Еще немного — и я сброшу неудобную, тонкую человечью шкуру, переступлю грань, чтобы выжить и снова стать тварью, за которой охотятся дудочники.

Еще одна алая искра гаснет, зажатая в моих когтях, угольно-черная тень рассыпается мелкой пылью, оставляя после себя лишь нейтральный, слабо очерченный контур настоящего мертвого тела.

«Аийша!»

Голос Ровины словно пробудил от тяжелого сна, и я очнулась, уже занеся руку над головой одной из сестер, смотревшей сквозь меня страшным, неживым, остекленевшим взглядом. Небольшую грязную площадь залило лунным светом, который пришилил черные маровы тени к земле волшебными серебряными кольями, не давая им сдвинуться с места. Лирха выронила из ослабевших пальцев объемный цветастый узел, обеими руками схватилась за отполированный, искрящийся изумрудной зеленью посох, едва удерживаясь на ногах.

«Закопай кости... по обряду, на старом кладбище... мы проезжали...»

А как же...

Я посмотрела на девочек, стоящих на коленях в жидкой грязи под постепенно

утихающим дождем, бесцеремонно подхватила их под руки, волоком вытаскивая из душной колдовской паутины, из стремительно распадающегося марова круга. Звон серебряных колокольчиков захлебнулся в шуме ветра, где-то завyla собака, захлопали двери и ставни, словно кто-то сдернул толстое стеганое одеяло, накрывавшее деревню и гасившее звуки повседневной жизни, раннего крестьянского утра.

Зашевелились пригвожденные к земле лирхиным чарованием мары, кто-то уже сбросил личину человеческого ребенка, став пустоглазой чудью с белым, как простыня, вытянутым лошадиным лицом, кто-то тянул длинные паучьи лапы к цветастому узлу, валявшемуся у ног Ровины.

«Беги... Долго не удержу... Много их...»

Я выпустила близнецов и бросилась к ромалийке, оскальзываясь на сырой грязи. Правый башмак почти сразу зачерпнул ледяной воды из лужи, левый едва не остался в тележной колее, когда я без лишних слов на ходу подхватила с земли на удивление легкий узелок и во весь дух понеслась к покосившимся воротам у входа в деревню.

— Мийка! — Чьи-то руки перехватили меня за пояс, оторвали от земли и хорошенько встряхнули. — Куда тебя бес несет под утро, что за шум?

Не сразу, но я узнала голос Михея-конокрада и торопливо зажмурилась, возвращая себе человечесье зрение. Ровина-то меня не сдаст в ближайшем городе дудочникам-змееловам, а вот за остальных ромалийцев, которые на площадях да у костров походных рассказывают байки о змеедевах и сокровищах несметных, поручиться лирха не могла. Рада была бы, вот только чужая душа, особенно ромалийская, те еще потемки. Сегодня на змеедеву посмотрят как на диво дивное, чудо чудное, а через день, стоит какой-нибудь нечисти закружить, зачаровать неразумную девку или парня и сманить в лес или глубокий омут, поневоле вспомнят о прижившейся в таборе нелюди. Вслух никому ничего не скажут, побоятся, да вот только змееловы и безымянным доносчикам рады.

— Ясмия, — голос Михея дрогнул, и он медленно, осторожно поставил меня на землю, — что с тобой приключилось? Глянь, ладони как ящеричьи лапки...

Я открыла глаза и посмотрела на свои руки, крепко прижимающие к груди Ровинин узелок. На запястьях, с которых медленно пропадали бронзовые чешуйки, оставляя после себя ярко-красные пятна, будто бы от ожогов.

— Колдовство, — пробормотала я, отступая от ромалийца. — Чудь пустоглазая, мара испортила, слово дурное вслед бросила. Там Ровина ее едва держит, мне бежать надо, на кладбище...

— Куда бежать? — Михей выругался, торопливо снимая теплый шерстяной кафтан и набрасывая его мне на плечи. — От «сонной смерти» на своих двоих не уйдешь, как ни старайся, уж поверь старому пройдохе, а до кладбища этого бегом и вовсе не доберешься, сердце остановится. — Он чуть ли не опрометью метнулся к низенькому стойлу, куда вечером загнал упряжных коней, чтобы уберечь их от холода и непогоды, ругаясь вполголоса. Обернулся на полдороге, увидел мою неуверенную попытку тихонько улизнуть через неплотно закрытые ворота и гаркнул так, что я вздрогнула и невольно присела. — Одна дурища лезет куда не надо, и вторая туда же! Стой, тебе говорят, сейчас лошадь выведу. Чудь и скакового коня в «волчий час» догонит и перегонит, а вот на рассвете слабеет. Может, и успеешь...

Прав оказался Михей-конокрад, усадивший меня на приземистую неоседланную кобылку и от души хлопнувший ее по крупу так, что не вовремя разбуженная животина взяла

с места в галоп и успела покинуть деревню до того, как обозленная нежить преодолела лирхины чары и бросилась в погоню.

Страшно было не за себя — нежить не сумеет мне навредить, если я сброшу человечесью кожу, шассам однажды умершие не помеха. Слишком слабый в них горит огонек, слишком зависимы они от украденной жизненной силы. Но вот оставшимся в деревне ромалийцам может прийти туга. Нежить, осознав, что не способна причинить мне особого вреда, попытается собрать зараз как можно больше чужих жизней, а значит — устроит кровавую баню. Всех лирха Ровина просто не сможет вывести дорогой берегинь, не успеет. Сколькими готов пожертвовать табор, чтобы дети и женщины скрылись от беды на серебряной лунной дороге, проложенной через туманные поля? Скольких Ровина готова оставить позади?

Если я достаточно хорошо успела ее узнать, то ни одного.

Лошадь всхрапнула, поскользнувшись в глубокой луже, скакнула вперед, едва не сбросив меня на землю и щедро окатив брызгами ледяной грязи. Я уже не пыталась сидеть ровно, как меня учили, — просто распласталась на лошадиной спине, сдавив коленями вздымающиеся бока и крепко держась за гриву. Если свалюсь в канаву раньше, чем доберусь до кладбища... с человечесьей жизнью можно будет распрощаться. Не отобьюсь я, безоружная, от «сонной смерти», сбросившей личину, — либо раздерут меня бескровные руки мар, либо обращусь в шассу, которой с наступлением утра и скрыться-то будет негде.

Треснула, переламываясь пополам, выставленная у самой дороги вешка, сбита лошадиным копытом, — и будто лопнула туга натянутая невидимая веревка, низкий, гудящий звук сладостной дрожью прокатился по спине. Странная магия, не добрая и не злая, запирающая, оберегающая, отзывающаяся в сердце смутным узнаванием, — что-то знакомое, но давно и прочно позабытое.

Мелькнула покосившаяся, полуразрушенная кладбищенская ограда, почти невидимая в сыром рассветном тумане. Небо посветлело, очистилось от туч, и на востоке уже налилась розовым светом заря, завывание ветра, преследовавшее меня всю дорогу, утихло. Лошадь замедлила бег, пошла ровнее и тише, аккуратно переступая через низкие, заросшие сорной пожухлой травой холмики. Кое-где еще сохранились высокие каменные надгробия и покосившиеся кресты, но в целом кладбище больше походило на странную долину, где меж холмиков вились десятки вытоптанных тропинок.

Где схоронить останки, переданные Ровиной? Попытаться разрыхлить один из холмиков или поискать ровное место, чтобы не обидеть ничью могилу? Или надо выкопать ямку под одним из крестов и просто присыпать землей цветастый узел с шелковыми кистями? Надо торопиться, пока нежить не...

Что-то наотмашь ударило меня по плечу, сбрасывая на землю. Какой-то бульжник больно впился в бедро, когда я упала, прижимая к груди узел с твердым, ломким содержимым. Звонко, пронзительно заржала лошадь, мечась из стороны в сторону. Я едва успела откатиться, спрятаться за покосившимся надгробием, чтобы не попасть под копыта, один удар которых мог с легкостью проломить мне череп. Зашипела от боли, потирая ушибленное бедро, и замерла, когда на гладко обтесанный край чужого надгробия легла бескровная шестипалая ладонь, украшенная длинными перламутровыми когтями. Так, значит, нежить может прийти и на освященное место? Или старое кладбище со временем перестало быть таковым и потому уже не может защитить ни меня, ни кого-то еще? Не потому ли никто из жителей деревни, несмотря на страх, испытываемый перед поселившейся среди людей «сонной смертью», не попытался бежать? Ведь если бы нежить



остановилась у старой кладбищенской ограды, у человека был бы шанс отсидеться здесь до утра, пока восходящее солнце не погонит пустоглазую чужь обратно в убежища, в относительно безвредный человеческий облик, в прохладную тень покосившихся домов.

Каменным крошечком разлетелось надгробие, перламутровые когти располосовали рукав Михеева кафтана. Я взвизгнула, ощущая, как кровь жаркими струйками бежит по замерзшему предплечью, как рука стремительно немеет, а ослабевшие пальцы уже не могут удержать цветастый узел. От следующего удара я уклонилась, едва успела выскользнуть из слишком большого и тяжелого кафтана, когда белые пальцы мары крепко ухватились за воротник, пытаясь меня удержать, и рванулась прочь, петляя между могил, как заяц, уходящий от погони.

Человека, сидящего на одном из надгробий, я заметила случайно. Он почему-то совершенно спокойно наблюдал за моими метаниями и даже не вздрогнул, когда очередной крест разлетелся в мелкую щепу от удара нежити. Наверное, потому я и побежала к нему, не задумываясь, кто это: змеелов, вольный охотник на нечисть или случайный прохожий, бродяга без рода и племени.

— Помоги! — Голос у меня все-таки сорвался, я споткнулась и растянулась на старой могиле, до крови ссадив неловко выставленные перед собой руки. Человек вздрогнул и поднял на меня тяжелый взгляд янтарно-карих глаз, прозрачных, таких светлых, что еще немного — и его глаза могли бы сойти за шассьи. — Помоги...

Он поднялся с камня, шагнул ко мне навстречу...

Не может он не помочь. Просто не может!

...Переступил через меня, небрежно роняя тяжелый охотничий нож так, что широкое светлое лезвие с травлением-змейкой глубоко вошло в сырую землю на волосок от моих судорожно сжатых пальцев.

— Копай, детка.

Голос низкий, рокошущий, совершенно не вяжущийся с худощавой высокой фигурой, закутанной в темный плащ. Нежить тонко, пронзительно заверещала, мелькнула тонкая бескровная рука, метящая в голову незнакомца — и моментально отлетевшая в сторону, аккуратно перерубленная в локтевом суставе. Первый луч солнца, показавшийся из-за горизонта, позолотил медово-рыжие волосы человека, собранные в длинный хвост на затылке, яркой искрой вспыхнул на кончике тяжелого, широкого лезвия меча, больше напоминавшего огромный нож длиной в аршин.

Ощущение спокойствия и полной защищенности, почти позабытое со времен жизни в родном гнездовище, накрыло меня с головой теплым, уютным одеялом. Я выдернула нож и принялась торопливо рыхлить светлым лезвием сырую кладбищенскую землю, выгребая охряный грунт руками и не отвлекаясь от своего занятия, даже когда начисто срубленная чужья голова с пустыми, будто выжженными глазницами подкатилась к моим ногам.

В фургоне было непривычно душно и очень жарко. Я лежала на тонком матрасе, набитом ароматной травой и овечьей шерстью, укутанная заботливой лирхой по самый подбородок, и наблюдала за мужчиной, сидевшим у выхода и перебиравшим какой-то мелкий хлам из поясного кошелька в свете масляной горелки. Именно он каким-то чудом умудрился перебить мар на старом кладбище, а потом еще нашел в себе силы, чтобы дотащить меня до дороги, где нас и подобрала спешно покинувшие деревню ромалийцы. Конечно, после такого подвига никому даже в голову не пришло оставить растрепанного человека в порванной одежде на обочине в двух днях конного пути от Загряды, впрочем, кто он такой и как его зовут, тоже никто не потрудился выяснить, а сам путник не очень-то стремился рассказывать о себе.

Ровина, пригласившая незнакомца в свой фургон, уже на второй день поручила ему отпаивать меня горьким пахучим снадобьем, а сама все чаще пропадала где-то, возвращаясь лишь к ночи. Осунувшаяся, усталая, с трудом сдерживающая надрывный кашель. Чаровать ей становилось все труднее, отгонять лютую непогоду тоже. Мы сделали крюк, свернув в Гнилой Лес, и теперь успевали добраться лишь до Загряды. Впрочем, выбора-то особого не было: либо устраиваться на зимовку в городе с не самой лучшей репутацией, где не было гнезда дудочников, а по словам Михея, принимали «любую шваль, лишь бы она за себя золотом платила», либо ехать дальше, на юг, в надежде, что зима и непогода не зажмут табор посреди дороги в снежные тиски.

— Долго собираешься меня разглядывать? — Я вздрогнула, когда в относительной тишине фургона раздался низкий, хриплый голос. Мужчина ссыпал с ладони в поясной кошель какие-то полупрозрачные шарики и металлические звездочки, туго затянул горловину мешочка и поднял на меня взгляд. — Если хочешь чего-то спросить, то спрашивай. Но правдивого ответа обещать не могу.

— А что толку тогда спрашивать? — поинтересовалась я, приподнимаясь на локте и нащупывая в полумраке фургона высокую чашку с целебным отваром, унимавшим жар и кашель, которыми наградили меня старое кладбище и осенняя непогода.

— Ну, молчи дальше, — ответил он, продолжая оглядывать меня с головы до ног.

— Как тебя зовут?

— Кому как удобнее. А тебя? — Рыжий усмехнулся, и мне почудилось, будто бы я говорю с хитрой и изворотливой лисицей, а не с человеком.

— Тоже, — в тон отозвалась я, осторожно отпивая из чашки горячий напиток с медовым привкусом.

— Это означает, что мы познакомились и, если я скажу «эй, ты», тебе станет понятно, кого я зову?

— Вряд ли. — Я взяла чашку обеими руками, пытаюсь согреть холодные пальцы о теплые деревянные бока. — В таборе меня называют Ясмия.

— Значит, где-то еще называли иначе? — Он улыбнулся шире, густая, криво обрезанная рыжая челка занавесила янтарно-карий глаз, сделав человека еще больше похожим на изворотливого лесного зверя. — Не трудись говорить, что это не мое дело, я и сам это прекрасно знаю, так что даже настаивать не буду.

Кажется, мой кладбищенский спаситель оказался человеком на редкость

самоуверенным и хамоватым.

— А тебя звать «Эй, ты» или как-то иначе?

— Искра.

— Искра? Не очень похоже на мужское имя, — с сомнением произнесла я, оглядывая своего спасителя, наряженного в праздничную ромалийскую одежду, подаренную Михеем взамен порванной нежитью.

— А мне наплевать, — равнодушно отозвался тот, откидываясь на гору подушек в углу фургона. — Мне оно нравится.

На этом весьма «содержательный» разговор и увял. Искра прикрыл глаза, притворившись спящим, а я, кое-как выпутавшись из одеяла, в которое меня завернула лирха, еще утром пересевшая в головной фургон, на четвереньках пробралась к плотно задернутому войлочному пологу и отодвинула полотнище, прикрывающее вход, чтобы глотнуть свежего воздуха.

С белого-белого неба сыпались холодные пушистые хлопья, которые моментально таяли на коже, обращаясь в капельки воды. Дорога из размытой дождями, с водой, стоящей в глубоких колеях, превратилась в выложенную небольшими гладкими камнями тропу, на которой могли разъехаться две повозки, даже не задев друг друга бортами. Вместо огромных, непривычных просторов вокруг оказались дома с множеством небольших окошек и покатыми красными крышами, и, что самое главное, вокруг было шумно. Очень.

Привыкнув к тишине, царящей в шассьем гнездовище, я не сразу смогла приспособиться к ромалийскому табору, наполненному разговорами, смехом и песнями в любое время дня и ночи, но только попав в поселение, называемое городом, я поняла, насколько ромалийцы тихие и незаметные. Человеческие голоса, к которым я с трудом привыкла, находясь в таборе, смешивались в постоянно нарастающий гомон, в неотступно преследующий гул, который я поначалу приняла за эхо надвигающейся бури. Я никогда не видела, чтобы столько людей собиралось в одном месте, и их было так много, что постоянно вспыхивали ссоры: кто-то кому-то наступил на ногу, толкнул или слишком сильно прижал, пытаюсь протиснуться к яркому крытому прилавку.

— Впервые в городе? — сочувственно поинтересовался из своего угла Искра. Я только растерянно кивнула, продолжая во все глаза рассматривать улицу, больше похожую на испещренное горное ущелье, чем на место, где живут разумные существа. — Тогда готовься к обилию новых впечатлений, из которых тебе придется по вкусу в лучшем случае треть.

— Много ты о моих вкусах знаешь, — хмыкнула я, едва ли не по пояс высовываясь из фургона, чтобы рассмотреть женщину в темно-синих пышных одеждах, богато украшенных бронзовым узором, похожим на чешую.

— Ты как минимум не любишь копать другому могилу, — усмехнулся Искра. — А в городах, подобных Загряде, ремесло могильщика едва ли не самое полезное. После умения обращаться с оружием, разумеется. Залезь обратно, не то на дорогу выпадешь.

— Не выпаду, — упрямо тряхнула косичками я, высовываясь наружу еще дальше, заметив на маковке высокого остроконечного здания странную каменную скульптуру, похожую на свернувшуюся в кольцо змею с длинными лапами. Но то ли снежинка попала в глаз, то ли расстояние оказалось слишком большим, — мне почудилось, будто бы змея шевельнулась, чуть склонила узкую, словно ограненную голову и посмотрела на меня выпуклыми каменными глазами.

— Значит, опять простудишься. — Сильные горячие руки обхватили меня за пояс и

мягко утянули обратно в фургон. Искра, невесть как очутившийся рядом, прижал меня к себе так, что перламутровые пуговицы на его рубашке ощутимо впились в мою спину. — Тебе мало было старого кладбища?

Изящные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями медленно скользнули по моему запястью, оставляя ощутимую полосу тепла на коже, тронули замочек серебряного браслета. Искра обнял меня еще крепче, прижался щекой к моему затылку, глубоко, шумно вздохнул, словно запоминая мой запах.

— Или у тебя есть привычка выбегать на холод в одной сорочке? Яс-с-смия?

Всего на миг мне показалось, будто бы встреченный на старом кладбище безвестный бродяга назвал дареное имя так, как произнесла бы его шасса. С непередаваемыми шипящими нотками в приглушенном голосе, с легким свистом — так, как никогда не смог бы его выговорить человек. Я вздрогнула, попыталась отстраниться, а когда мне это не удалось, принялась выворачивать шею так, чтобы заглянуть в прозрачные светло-карие глаза Искры. Взгляд спокойный, неподвижный, безмятежный, как полированное стекло, как отшлифованный до блеска сердолик. Нечеловечий взгляд... знакомый, кажущийся странно близким и родным.

— Хочешь, я покажу тебе город? Таким, каким его мало кто видел? — Искра наклонился, теплые пальцы огладили мое горло, будто бы рисуя на коже неведомые мне символы. — Ведь твой табор собирается устроиться здесь на зимовку, так? На неделю конного пути вокруг нет больше ни одного крупного поселения, которое пожелало бы принять на зимний постой такое количество бродяг и не испытывать недостатка в запасах пищи и тепла. Не забесплатно, конечно, но, если судить по количеству золотых украшений на ваших женщинах, вам будет, чем оплатить и въездную пошлину, и проживание. Скажи, разве тебе не хочется увидеть Загряду не из-за спины той пожилой женщины, которая зовет тебя внучкой?

Его губы осторожно и вместе с тем нетерпеливо коснулись моих, кончик языка скользнул по моим зубам, а потом Искра отодвинулся, глядя на меня с легкой заинтересованностью в лисьем взгляде:

— Тебя раньше не целовали?

Я неопределенно пожала плечами, задергивая войлочную занавесь и не давая больше сырому холодному ветру выстуживать фургон. Отвернулась, принимаясь в полумраке на ощупь выискивать теплую вязаную свиту, шерстяные чулки и многослойную, поначалу казавшуюся мне чересчур тяжелой юбку.

— Ты мне не ответишь? — Мужчина потянулся за потрепанной, залатанной на локтях курткой на толстой шерстяной подкладке. Тихо звякнул короткий, но тяжелый Искров меч, когда рыжий нашарил оружие на дне фургона.

А что я могла ответить? Среди шасс не было принято то, что у людей называется поцелуем, а прожив несколько месяцев в таборе, я поняла только, что он означал взаимное расположение мужчины и женщины или же попытку это расположение завоевать.

— Нет, раньше не целовали. — Я наконец-то нашарила юбку и принялась одеваться, на ощупь затягивая тесемки.

— Значит, мне безумно повезло — сорвать первый поцелуй с уст прекрасной девы, да еще и ведьминой ученицы. — Искра откинул полог фургона, выпрямился во весь рост и широко улыбнулся: — Я еще вернусь, юная ромалийка, и принесу с собой молодую весну и свежие цветы тебе в подарок. А потом покажу тебе Загряду такой, какой ты никогда ее не

забудешь.

Он соскочил с борта фургона на дорогу, махнул рукой на прощание и скрылся в одном из рукотворных туннелей-переулков так быстро, что я даже не успела спросить, как он собирается найти меня в этом огромном, похожем на муравейник городе. Только вот стоило Искре скрыться, как тревожно заняло в груди, будто угнездившееся под сердцем спокойствие улетучилось вместе с рыжим молодым бродягой, с одинаковой привычкой носившим как праздничные ромалийские костюмы, так и потрепанную одежду небогатого горожанина. Словно любая одежда — с чужого ли плеча или сшитая по мерке — была ему одинаково неудобна. Как будто сам облик легкомысленного бродяги был ему чужд и неинтересен...

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

Я машинально огладила кончиками пальцев висевшую на шее пустую ладанку. Неужели Искра когда-то появился на свет в шассьем гнездовище? Не потому ли, стоило мне увидеть его на старом кладбище, я почувала в нем что-то родственное, кого-то, кто не отвернется от моей беды и непременно поможет? Фургон качнулся и остановился. Я торопливо натянула белесую свиту из овечьей шерсти, сунула ноги в разношенные сапоги и, подхватив туго завязанный узелок с таррами, выбралась наружу. Оказалось, что вереница повозок остановилась у большого двухэтажного дома из дерева и камня, неказистого, но прочного и очень просторного на вид. Ромалийцы покидали свои шатры на колесах, осматривались, оценивая зимовье. Женщины деловито обсуждали, как побыстрее разгрузить фургоны и перенести имущество в дом, где можно стирать, а где — купить дров и еды. Мужчины старались убрать повозки с улицы, уводили лошадей на ближайшую площадь, где их можно было определить в конюшни, а дети... дети с радостными криками побежали на порог дома с гостеприимно распахнутой дверью, у которой стояла дородная хозяйка, Успевшая обсудить с главой табора плату за жилье, — запускать кошку на удачу. Маленький дымчато-серый котенок, которому досталась столь нелегкая и ответственная роль, возмущенно мяукнул, вздыбил шерсть и сиганул в дверной проем — только его и видели.

— Не убежало бы их счастье, — негромко пробормотала зябко кутающаяся в пуховый платок лирха Ровина, тяжело опираясь на прочный узорчатый посох.

Ромалийка хотела сказать что-то еще, но захлебнулась глухим, надрывным кашлем. Я торопливо шагнула к ней, приобняла за содрогающиеся плечи, пока приступ кашля не закончился так же внезапно, как и начался. Лирха выпрямилась, глубоко вздохнула, отирая вытянутым из рукава платочком выступившую на губах багряную пену. Посмотрела на меня начавшими выцветать бирюзовыми глазами и осторожно дотронулась сухими холодными пальцами до моей щеки.

Я первой отвела взгляд. Не нужно быть шассой, чтобы видеть: лирха Ровина не переживет нынешнюю зиму, какой бы мягкой и теплой она ни оказалась.

На закате вернулся Искра. Он успел сменить ромалийскую одежду на городскую, тускло-коричневую, сделавшую молодого бродягу почти незаметным в толпе. Если бы не рыжие волосы, небрежно убранные в длинный пушистый хвост на затылке, боюсь, я не отличила бы Искру от жителей Загряды, не признала бы в безоружном горожанине человека, отогнавшего от меня нежить на старом кладбище.

— А у меня для тебя есть подарок, прекрасная дева, — хитро улыбнулся он, сверкнув янтарными лисьими глазами, и жестом фокусника выудил из складки широкого плаща

необычный цветок, похожий на пушистое облачко, и протянул его мне. — Только не спрашивай, где я в такое время года украл хризантему, от владельца оранжереи все равно не убудет.

— Ну, раз не убудет... — Я задумчиво огладила нежные холодные лепестки кончиками пальцев. Вздумай я оборвать крепкий стебель, белый венчик накрыл бы мне ладонь невесомой горстью перьев. Необычное растение, но очень красивое. — Спасибо, Искра.

— Ты так смотришь на цветок, будто раньше таких не встречала. — Мужчина улыбнулся и скользнул по мне оценивающим взглядом: от теплой свиты, застегнутой на искусно выточенные из дерева пуговицы, до подола многослойной юбки, из-под которого выглядывали мыски теплых сапожек. — Позволишь показать тебе город, пока совсем не стемнело? Конечно, на центральных улицах с наступлением сумерек зажигают фонари, но не в бедняцком квартале, где вы устроились на зимовье.

Я невольно улыбнулась, зачарованно перебирая лепестки цветка-облачка. Город, поначалу ошеломивший меня обилием жителей, их непохожестью в лицах и одежде, яркими флагами на торговых площадях и рисунками, собранными из разноцветных стеклянных кусочков, перестал радовать, как только фургоны выехали на окраину. Здесь все было удручающе одинаковое, тесное — взгляду не за что зацепиться. Переулки, больше похожие на тесные горные тропы на месте высохшего русла ручья, кое-где завалены мелким мусором и гниющими овощами, горожане стараются как можно быстрее выбраться из них на центральные широкие улицы, и без того переполненные жителями. Дома похожи на маленькие крепости с прочными дубовыми дверями и ставнями, укрепленными полосками закаленной стали, а их обитатели кажутся солдатами, готовыми в любой момент броситься на защиту своих бастионов. Все вооружены: у кого-то на поясе остро заточенный топор, у кого-то — окованная железом палка, а ведь на торговых площадях оружие было далеко не у каждого...

Проходивший мимо человек окинул недобрый взглядом мою яркую одежду и черные кудри, заплетенные в косы, и поспешил прочь, машинально оглаживая ладонью рукоять тяжелого охотничьего ножа за широким поясом. Я невольно вздрогнула и прижалась к идущему рядом Искре.

Недаром Ровина, обойдя вокруг дома с мешочком заговоренной соли, строго-настрого запретила кому-либо из ромалийцев выходить на улицы после наступления темноты без оружия, ладанки с оберегом и сопровождения. Полсотни заговоренных вещей раздала она сегодня «новоселам»: браслеты, кольца, медные подвески или ленты, которые нельзя было снимать ни днем ни ночью, — а потом слегла до вечера в небольшой комнатушке на первом этаже, куда велела перенести только отобранные ею накануне узелки с амулетами, колдовскими травами и готовыми снадобьями. Странно, но когда я сказала, что хочу пройтись по городу, пожилая ромалийка только небрежно кивнула, попросив меня не задерживаться надолго, и надела мне на руку тонкий медный браслет с вкраплениями малахитовых капель. Я потом украдкой посмотрела на этот подарок шассьими глазами: оказалось, что браслет оплетен тонкой паутиной заклинания, отпугивающего нежить, а вдобавок еще и соединен колдовской нитью с одним из украшений Ровины, так что если со мной случится беда, лирха узнает об этом раньше, чем кто-либо еще. И поможет.

— Искра, а есть в этом городе места, где можно на похожие цветы посмотреть?

Он ненадолго задумался, а потом кивнул:

— Клумбы в городском парке. Только нужно поторопиться. Стемнеет, и мы вряд ли

сумею что-нибудь разглядеть, а фонарь я с собой, как видишь, не захватил. Не думал, что ромалийке, которая полжизни провела в дороге, будут интересны не роскошные дома с позолоченными фонтанами и колоннами из белого мрамора, а блеклые осенние цветы.

— Толку в той роскоши, — пожалала плечами я, принимая теплую Искрову руку и осторожно спускаясь по крошащимся каменным ступенькам. — На дома я еще успею насмотреться, ведь они никуда не денутся с приходом зимы, а вот цветы наверняка исчезнут.

— Как пожелаешь, Мия.

Город, по улицам которого вел меня Искра, казался ленивым каменным драконом, так и не пожелавшим научиться летать и навсегда оставшимся прикованным к земле. Булыжные ладони мостовых, вдоль которых по узким желобкам струилась мутная дождевая вода, массивные дома с узкими окошками и узорчатыми коваными балконами, нависающими над переулками, тусклые фонари на центральной площади — казалось, будто бы город каждого приезжего брал в холодные жесткие руки и задавал один-единственный вопрос: «Ты хочешь жить?»

Если да, то поневоле придется стать частью причудливых теней, живущих в каждом углу, частью серой дорожной пыли, белесого мутного тумана. Частью древнего ленивого чудовища, имя которому Загряда. Таким же ленивым душой и отказавшимся от полета, приземленным, укоренившимся, твердо стоящим на ногах, но уже разучившимся поднимать взгляд к небу.

А если нет? Если отказаться заковать душу в кандалы мраморных колодцев и коварных ворот перед дорогими гостиницами?

Обозлится доселе безмятежная и спокойная Загряда, воспрянет, огоньком неприязни отразится в тусклых глазах своих жителей. Не место здесь тем, кто идет по жизни, едва касаясь пыльной дороги ступнями, кто носит яркие ромалийские одежды, пляшет огненные пляски и поет песни, от которых заостенелая душа рвется из оков обыденности, плачет и смеется, ненадолго позабыв о сонном чудовище. Только любая песня рано или поздно заканчивается, танец завершается с последним аккордом музыки, и тогда город вновь подбирается к упрямой душе, стремясь либо изжить ее, либо сломить волю к свободному, непокорному существованию.

Искра что-то рассказывал, изредка касаясь кончиками пальцев моей ладони, цепляющейся за сгиб его локтя, и привлекая мое внимание к тому, что считал интересным. К фонарям, горящим голубоватым огнем, к искусно выложенному зеленым мрамором фонтану на центральной площади, изображавшему вставшую на хвост позолоченную рыбу, или к дому с узорчатыми черными колоннами, а я все смотрела на людей. Молодых и старых, красивых и не очень; все они выглядели так, будто бы чего-то очень давно боялись. Чего-то, что поселилось в Загряде еще до того, как спящий дракон окончательно заостенел под гнетом булыжных мостовых и каменных домов с красной черепицей, чего-то, от чего не могли избавить город даже изредка появляющиеся змееловы. Нечто, с чем можно лишь попытаться ужиться или же уйти, но не сражаться, не пробовать уничтожить.

— А вот и городской парк, — улыбнулся рыжий, приоткрыв небольшую скрипучую калитку, ведущую за высокую кованую изгородь, опоясывающую редкий подлесок, где все деревья росли на удивление ровно, а кусты будто нарочно тянулись вдоль выложенной плиткой центральной аллеи.

— Интересно, как жители смогли подобрать такое место для парка? Впервые вижу, чтобы деревья росли так... упорядочение. — Я оглядывалась по сторонам, силясь

рассмотреть все до того, как постепенно сгущающиеся осенние сумерки затопят окрестности густой призрачной мглой.

Вместо ответа бродяга лишь усмехнулся, приобнял меня за плечи и увлек за собой на едва заметную тропинку, присыпанную душистой палой листвой. Пахло сырým мхом, землей и дымом костра. Становилось все холоднее, и дыхание при негромком разговоре вырывалось изо рта легким белесым облачком. Тишина, в которой поначалу были слышны лишь звуки наших шагов и шорох листьев, внезапно сгустилась, обступила нас плотной пеленой, в которой я могла услышать лишь шум крови в ушах.

И стук сердца. Слишком частый, чтобы он мог принадлежать мне, слишком громкий, чтобы быть чьим-то еще.

Чужую мысль, непонятное стремление я уловила на мгновение раньше, чем стальные пальцы Искры вцепились в мое плечо. С тихим шорохом разошелся надвое тонкий поясок, вязаные полы распахнулись, и я легко выскользнула из тяжелой зимней одежды, оставив ее в руке рыжего бродяги.

— Шустрая какая! — Мужчина улыбнулся, склонил голову набок и ласкающе огладил ладонью потрепанный рукав свиты. — Все гадалкины ученицы такие быстрые или у тебя просто хорошо развито то, что люди называют чутьем?

Я метнулась в сторону, еще толком не осознав, зачем это делаю, и тотчас на том месте, где я находилась секунду назад, в воздух фонтаном взметнулись мокрые коричневые листья и комья земли.

— Значит, чутье. Как ты это делаешь, маленькая бродяжка? Я собирался с тобой поиграть, но ты так вкусно пахнешь... что я просто не могу удержаться. — Голос Искры стал ниже, грубее, одежда затрещала по швам, расплзаясь на могучем теле.

Существо медленно выпрямилось, взирая на меня с высоты своего саженного роста. Отливающие сталью защитные пластины покрывали почти все человекоподобное тело, оставляя зазоры шириной в ладонь, в которых проглядывали красноватые жилы, верхняя половина лица обратилась в прекрасную застывшую маску с глазами, сияющими синим морозным огнем, нижняя — в челюсть чудовища с острыми железными зубами. Мягкие рыжие волосы стали тонкими, шелестящими на ветру спицами, по которым пробежал голубоватый огонек, вспыхивающий белой искоркой на кончике.

Я не боюсь?

— Нравлюсь? — пророкотало стальное чудище, которому я никак не могла подобрать названия, как ни старалась. — Или от страха горло перехватило и ножки не ходят?

Не боюсь...

Он шагнул вперед, защитные пластины, покрывающие тело, тихонько звякнули, заскрежетали по броне железные спицы, рассыпая во все стороны голубые искры. В вечернем холодном воздухе запахло свежестью, как после грозы.

Я моргнула, осенние сумерки растаяли в буйстве красок, видеть которые могли только шассы.

Сладостное чувство высвобождения, как это было с каждой метаморфозой, когда ненадежная человеческая плоть сменялась сплавами прочного металла, а внутренние органы обращались в переплетение тонких, как волоски, проводков, прочных витых жил и блоков жизнедеятельности, омрачилось разочарованием. Ромалийская девчонка, чью плоть называющий себя Искрой рассчитывал поглотить, чтобы обрести не такую заметную



человечью внешность, оказалась не то оборотнем, не то нечистью. В общем, не слишком подходящим экземпляром, если хочешь обзавестись личиной, позволяющей сливаться с толпой на площадях Загряды.

А личина Искре была необходима. Среди существ, выбирающихся на улицы только с приходом темноты, уже ходили слухи, что управляющий Загряды подал прошение в Орден Змееловов и запросил помощь, чтобы очистить город от «скверны», которая в последнее время обнаглела настолько, что стала питаться не только бродягами, ворами и проститутками, но и порядочными жителями, исправно платящими налоги. И если на сожранную гремлинами нищенку или выпитого досуха грабителя власть имущие смотрели сквозь пальцы, разумно считая, что пока местная нечисть забесплатно делает работу стражи и экономит на тюремном содержании и последующей казни преступников, лучше ее не трогать, то очаровательная купеческая дочка, превращенная в мумию в собственной постели, не могла не вызвать легкой паники. А змееловы, пришедшие в город, без положительного результата охоты не уедут.

Значит, опять более сильные будут приносить в жертву более слабым. Или неудобным. А с учетом того, что за последние полгода Искра, отбивавший в качестве жертв наиболее лакомые кусочки, имевший возможность хорошо сливаться с толпой и охотиться в любое время суток, успел основательно достать местную нечисть, то гадать, кого всем миром постараются вытолкнуть перед носом дудочника в качестве «откупа», даже не приходилось. Один шанс избежать этого безобразия — сменить личину и затаиться. Пока в городе осел на зимовку ромалийский табор, есть возможность кормиться на бродягах, которых никто не считал и считать не будет, при этом сидеть на «ничейной» окраине Загряды и не маячить на чужих кормовых территориях.

А выходит, что за относительно безопасную «кормушку» еще и подраться придется.

Девчонка, так ловко вывернувшаяся из тяжелой зимней одежды, бросилась в сторону, уклоняясь от выстрелившего из запястья Искры тонкого стального троса, и тихонько зашипела, глядя в упор золотистыми змеиными глазами.

Он словно на невидимую стену налетел. На краткий миг возникло то ощущение, которое люди так часто описывали в своих «священных» книгах, — экстаз и острое желание служить своему Создателю, своей золотой богине, чье тело покрыто изящным чешуйчатым узором. Инстинкт, записанный где-то в глубинах базовых кодов, составляющих основу передаваемой через поколения памяти, преодолеть который труднее, чем стремление к выживанию, самосохранению или продолжению вида. Нечто взывающее к самой сути, смыслу и цели существования. Захотелось упасть на колени, прижаться щекой к ногам напряженно застывшей девчонки, чьи тонкие, изящные руки стремительно покрывались бронзовой чешуей...

Но — лишь на мгновение.

Потому что вспомнилась музыка дудочника, которая когда-то давно едва не привела Искру к смерти, и то сладостное ощущение обретения хозяина врезалось в его память, как фальшивка, смертельная ловушка, в которую если попадешь, то вряд ли выберешься самостоятельно — только если кто-то или что-то отвлечет змеелова. Ведь стоит его песне, взывающей к инстинктам подчинения, на миг сбиться, как тело распознает подмену, обман — и перестает покорно ждать казни от руки наемника или револьвера ганслингера.

А ромалийка «играла» очень чисто и правдоподобно.

Именно поэтому Искра метнулся к ней, надеясь раздавить, разорвать, уничтожить

хрупкое девичье тело до того, как гадалкина ученица сообразит, что возникшее перед ней стальное чудовище уже поймано на невидимый крючок и ей осталось только отдать приказ, который оно не сможет не выполнить. Даже если эта золотая богиня скажет ему: «Умри».

Вот только изловить ромалийку оказалось не столь простым делом: она легко, как перышко, ускользала из его рук, как будто заранее знала каждое его движение, читала его мысли так же уверенно, как свои собственные. Все ярче горели ее змеиные глаза, на щеке проступил узкий чешуйчатый узор, и на миг Искра увидел ее такой, какой она была в неудобной человеческой шкуре. Молодая совсем еще шасса, у которой вдоль позвоночника только-только пробивается спинной гребень. Длинные, гибкие шипы, растущие на голове, торчат во все стороны, не успев наполниться ядом и отяжелеть, лицо узкое, почти красивое. Напоминающее ту маску, что была его собственным лицом, если не считать подвижную челюсть, не прикрытую броней. Вот тебе и юркая змейка, вот тебе и оборотень! Давить надо таких, пока не притащила за собой сородичей, не создала себе тут уютное змеиное гнездышко, которое изредка появляющиеся в Загряде дудочки не сообразят искать.

Девчонка поднырнула под занесенную руку Искры — и вдруг прильнула к нему, положив узкую чешуйчатую ладонь на его грудь. Как раз над недавно поврежденным управляющим блоком, который вдруг подался ей навстречу, словно притянутый мощнейшим магнитом. Ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни зарычать. Можно только смотреть, как тускло подмигивающий разноцветными огоньками ярко-желтый кристалл, напоминающий грубо ошлифованную трубочку, к которой присоединены сотни тонких, как паутинка, золотых проводков, медленно выдвигается из грудной клетки.

Шасса легонько огладила кончиками пальцев управляющий блок, покрытый темной кровью, отчего тусклое сияние кристалла стало ярче и забило ровнее, будто отсчитывая удары сердца.

— Это принадлежит мне.

Тьма, заполнившая сознание, пустое ничто, как если бы змеедева безжалостно выдрала драгоценный камень, заменяющий сердце. Короткий приступ страха — и сразу же вслед за ним ощущение холода.

«Модификация успешно завершена».

Искра еле заметно улыбнулся, ощущая на губах солоноватый привкус крови. С неба падала жесткая снежная крупа, она безжалостно царапала обнаженное человеческое тело, непривычное к подобным испытаниям и потому особенно незащищенное и ранимое. Шасса возвышалась над ним, склонив набок кудрявую головку, и все еще ненавязчиво ласкала пальцами пылающий золотом управляющий блок. Ждет ответа, змея ненаглядная. И ведь не шевельнешься лишний раз, чтобы попытаться свернуть хрупкую шейку нечисти, зачем-то цепляющейся за человеческий облик.

— Значит, и я принадлежу тебе.

Она глубоко, тоскливо вздохнула и осторожно надавила на оголовье управляющего блока, нежно и аккуратно возвращая его на место.

— Кто ты, Искра? — Ее голос кажется ласкающей слух музыкой, наполненной шорохом пересыпающихся в ладонях песчинок, шелестом высоких трав на свободных, бесконечных равнинах. Он наполнен горечью обиды настолько, что это вызывает желание притянуть девушку к себе и как-то утешить, лаская чувствительными пальцами чешуйчатые дорожки на ее щеках. Чувство, которое так часто приходилось имитировать, чтобы завлечь очередную жертву в тихое, укромное логовище на окраине города, но испытывать?

— Харлекин... госпожа. — А вот в его голосе все еще звучал металл. Тело кажется удивительно легким, словно неурочная модификация добавила что-то новое в способность Искры к оборотничеству, к превращению мягкого, ненадежного человеческого тела в звенящую сталь. На лице шассы отразилось непонимание, и тогда Искра уточнил: — Люди называют нас чаранами. Так понятней?

— Еще как! — Она недовольно смерила его взглядом черных, как уголь, ромалийских глаз, наклонилась, поднимая с земли разодранный в клочья камзол, покрутила его в руках и отбросила в сторону. Немного повозилась, снимая украшенную оборками верхнюю юбку, и протянула ее Искре: — Надевай. И свиту подбери, сгодится.

— Зачем?

Она поморщилась, отколупывая с руки полоску истончившейся чешуйчатой кожи, которая отслаивалась легко, будто змеиная шкурка во время линьки, оставляя после себя ярко-розовый след.

— В табор пойдем. В женском платье ты будешь привлекать намного меньше внимания, чем разгуливая голышом. Да и замерзнешь не так сильно.

— Собираешься таскать меня за собой? — Искра кое-как поднялся, держа в опущенной руке юбку, все еще хранящую тепло девичьего тела. — А если я проголодаюсь и наброшусь на кого-нибудь?

— Не набросишься, — уверенно ответила она. — А если есть захочешь, у нас всегда найдется краюшка хлеба и сытная похлебка. Не помрешь с голоду.

— А если я удовольствия ради? — глумливо улыбнулся харлекин, кое-как влезая в длинную ромалийскую юбку и путаясь в многочисленных складках. — Что тогда?

— Сдам дудочникам, — спокойно ответила шасса, отколупывая полоску чешуи с лица. — Подкину кусочек своей шкурки в окно градоправителю — и змееловы тут как тут. На шассью чешую они сбегаются быстрее, чем нежить на пролитую кровь.

Искра тихо зарычал, и рука, тяжело опустившаяся на узенькое плечо шассы, стала металлической. Стальные пальцы вдавились в податливую девичью плоть, наверняка оставляя синяки.

— Сама не боишься их песенок? Что и тебя заловят за компанию?

Она отвела взгляд.

— Я не подчиняюсь песням змееловов. Поэтому выжила.

Медленно, очень медленно пальцы харлекина разжались, и щеки девушки коснулась уже теплая человеческая ладонь, а не стылый металл.

На клумбе, в сторону которой неотрывно смотрела шасса, на ледяном ветру покачивались две снежно-белые хризантемы, роняющие узкие лепестки на мерзлую землю.

В маленькой комнатке под самой крышей, куда по приезде сложили все вещи из Ровининоного фургона, было тесно, Душно, а теперь еще и накурено. Удивительно, но за то время, пока я ходила на кухню, Искра успел разыскать себе в тюках с одеждой не только длинный бархатный халат с золотыми кистями, но и маленькую дамскую трубку и расшитый кисет с табаком. В результате, когда я бочком протиснулась в дверь, балансируя подносом с едой, оставшейся после ужина, харлекин невозмутимо сидел на стуле у широкого подоконника и курил с весьма глубокомысленным видом. Увидев меня, он выпустил из ноздрей сизый дым и улыбнулся, аккуратно зажимая черенок трубки острыми стальными зубами. Так и тянуло зашипеть в ответ, но я удержалась, осторожно поставила поднос с двумя тарелками и глиняным чайничком с душистым мятным отваром на небольшой столик у стены и, подойдя к окну, распахнула плотно закрытые ставни, впуская в продымленную комнату свежий воздух.

— Не боишься меня простудить? — Искра мельком глянул в окно и аккуратно переложил трубку с глубокими отметинами на черенке на подоконник. Посмотрел на меня прозрачными лисьими глазами сквозь ярко-рыжую челку и вновь улыбнулся, на этот раз продемонстрировав нормальный человеческий прикус. — Поздняя осень все-таки, а под халатом я совсем голый.

— Что тебе станется? — отмахнулась я, подтаскивая к столику колченогую табуретку и усаживаясь напротив харлекина. — Ты есть будешь?

— Буду. Кого?

Я многозначительно приподняла брови. Человеческая мимика, в отличие от шассей, позволяла очень многое выразить без слов, и Искра даже не стал пререкаться, просто подвинулся ближе к столу и облокотился на крышку, положив мягко закругленный подбородок на переплетенные пальцы.

— Как ты это сделала?

— Сделала что? — Я перевела недоумевающий взгляд на тарелки с мелко нарубленным мясом, тушенным в янтарном остром соусе с овощами. — Это не я готовила, одна из женщин табора. Мне пока еще плохо удается готовить пищу так, чтобы она была съедобной.

— Я не об этом. — Искра откинулся на спинку стула и провел ладонью по обнажившейся между полами халата груди, коснувшись едва заметного белесого шрама чуть ниже солнечного сплетения. — Когда ты успела поместить в меня усовершенствованный блок управления... тот желтый кристалл с паутинами, если мы раньше не встречались? И откуда ты его вообще взяла, если не секрет?

— Отвечу, если расскажешь о себе. — Я приподняла крышку чайника, и запах свежей мяты моментально заполнил комнату, почти вытеснив запах жженных табачных листьев.

— Так хочется послушать исповедь харлекина? — Искра осклабился, взял грубоватую вилку с кривой ручкой, вздохнул и принялся аккуратно ее распрямлять, формируя кованое железо так легко, будто бы это была мягкая глина.

— Нет, хочется понять, что ты такое. Рассказни, которые ходят о шассах, мало похожи на правду. Подозреваю, что истории о чаранах тоже не совсем точны.

— И зачем тебе это, деточка? Недостаточно того, что ты имела редкое удовольствие наблюдать мой настоящий облик? После такого зрелища мало кто выживал.

Я задумалась, неловко ковыряясь вилкой в тарелке. Есть с помощью столовых приборов было нелегко, но поскольку человеческому телу требовалась горячая пища, чтобы оставаться сильным и здоровым, особенно в холода, пришлось учиться. Неудобно, но иначе либо испачкаешься, что в общем-то не страшно, либо обожжешь слишком чувствительные пальцы и выронишь еду, что намного неприятнее.

— Ты среди людей совсем недавно. Я прав? — Низкий, гудящий голос Искры неожиданно изменился, став более мягким, а потом его ладонь осторожно накрыла мой кулак, судорожно сжимающий вилку. — Еще не привыкла пользоваться человеческими выдумками. Расслабь руку...

Он вытянул черенок вилки из моего кулака, переложил в раскрывшуюся ладонь и по одному зажал пальцы на столовом приборе. Удивительное дело, но держать вилку стало гораздо удобнее, пусть и приходилось странно поворачивать кисть.

— Так намного лучше. — Я невольно улыбнулась, заглядывая в янтарно-карие глаза харлекина. — Спасибо.

Он улыбнулся в ответ, странно робко, неуверенно. Словно под маской расчетливого и хитрого лиса, заманивающего доверчивых женщин в ловушку сладких обещаний и ласковых слов, за личиной стального чудовища скрывалось нечто иное. Заботливое. Преданное. Умеющее создать ощущение уюта и безопасности даже на старом кладбище, кишашем марами.

Лисьи глаза потемнели, стали холодными, отстраненными. Искра торопливо убрал руку и схватился за свою вилку так, словно собрался ею от меня обороняться.

— Не за что.

Я подцепила кусочек мяса и отправила его в рот. Вкусно, необычно. Раньше я не могла почувствовать такого количества вкусовых оттенков: шассы с помощью длинного тонкого языка определяли малейшие колебания тепла, разлитого в воздухе, и таким образом шли по следу, но вкус пищи ощущался весьма условно. И только став человеком, я начала понимать, как много упустила, живя в надежно защищенном от магии и когтей подземных хищников чешуйчатом теле, — все-таки возможность видеть энергетический отпечаток предмета не могла возместить притупления оставшихся четырех чувств.

— Искра, если ты не хочешь говорить о себе, быть может, расскажешь о Загряде?

Я отхлебнула мятного отвара из небольшой чашки и посмотрела на методично поглощающего еду харлекина. Тот какое-то время делал вид, что не слышал моего вопроса, но потом все-таки сдался и отложил вилку.

— Что тут рассказывать? Змеиное логово, в котором ты, судя по всему, единственная шасса. Остальные и того хуже. На месте вашей лирхи я и близко к этому проклятому месту не подошел бы, а уж тащить сюда табор... Либо у вас очень сильная ведьма, которая сумеет отстоять всех и не дать местным чудикам превратить этот дом в очередную «кормушку», либо она просто не смогла оценить величину творящегося здесь беспредела. — Харлекин откинулся на спинку стула, взглянул в окно, за которым царила осенняя ночь, наполненная шумом ветра и стуком редких капель дождя по крышам. — Мия, вот скажи мне, что ты слышишь?

Я тоже отложила вилку и прислушалась.

— Ничего особенного. Ветер и дождь. Ну так ведь осень же. Ровина говорит, что вот-вот снег ляжет, потому мы и не рискнули ехать до соседнего города. А что?

— Ветер и дождь, да? — Искра встал и, подойдя к раскрытому окну, поманил меня за

собой. — А если постараться уловить что-то еще?

— Что-то еще? — Я поднялась с места и кое-как пробралась к подоконнику, обходя тюки с вещами и самого Искру. Положила ладони на влажный холодный камень и вслушалась в ночь. — Тихий цокот, как будто подкованная лошадь идет по мостовой, — наконец сообщила я, прикрывая глаза и чуть наклоняясь вперед, чтобы получше разобрать едва различимые звуки.

— Еще, — шепнул харлекин. Его дыхание теплом обдало затылок, сильная рука обвила талию, не давая мне перегнуться через подоконник. — Слушай ночь, змейка.

— Что-то скатывается по соседней крыше, похоже на оторвавшуюся черепицу, падает на мостовую, только как-то слишком мягко, словно и не раскололась. Под окнами шорох песка... но у нас же там мощный двор, там ничего похожего нет. — Я замолчала, открывая глаза и поворачиваясь к Искре.

Он только улыбнулся, даже не пытаюсь скрыть морозное голубое свечение, поднимающееся из глубин зрачков.

— Все правильно, там нет песка. Там охотится василиск. Почти незаметный охотник, но его выдает спинной гребень. Пластинки трутся друг о друга, когда тварь ползет по камню, и это единственный звук, который она издает. Кстати, этот твой далекий-далекий родич может нырять в каменную кладку, как в воду, и появляться из стен или мостовых совершенно неожиданно.

Шорох приблизился, и правая рука Искры, до того спокойно лежавшая на подоконнике, вдруг стала темнеть и удлиняться. Тихонько заскрежетали стальные пальцы, царапнувшие камень, и шорох внизу моментально прекратился.

— А еще василиск не очень хорошо видит, но имеет отменный слух. Звук человеческого голоса для него означает, что добыча близка, а вот царапанье железа по камню — сигнал возможной опасности. Кстати, меча или ножа он не боится, но в Загряде я не единственное существо, вооруженное стальными когтями, и василиск об этом прекрасно знает. — Искра наклонился, потерся щекой о мою макушку. — Дом защищен берегами от нежити, я это чувствую, но далеко не вся местная нечисть будет от него шараться. Впрочем, те, кто не испугается, войти без приглашения все равно не смогут, но не думаю, что это обернется проблемой. Меня ты, к примеру, сама привела.

— Зачем ты мне это рассказываешь? — Я подалась вперед, чтобы посмотреть вниз, во двор, но харлекин держал крепко, не давая мне даже пошевелиться.

— Я уже попробовал подраться с тобой за территорию «кормушки», и результат был удручающий, но это не означает, что кто-нибудь еще не попытает счастья. Для других полсотни человек, которых при случае никто не будет искать и уж тем более — вызывать из-за них в город змееловов, слишком уж роскошный подарок. Если тебе угодно — ничейный урожай, который не оприходовать в условиях наступающей зимы и некоторого ущемления собственных appetитов просто невозможно. — Искра тихонько зарычал, и возобновившийся было шорох внизу начал неторопливо удаляться, пока не пропал совсем. — Добро пожаловать, змейка, в сообщество нелюдей Загряды, грызущихся между собой за территорию и доступный корм.

— Хочешь мне помочь?

— Вряд ли. — Харлекин убрал руки и отодвинулся. — Но за твоими подвигами непременно понаблюдаю. И на всякий случай — закрой, пожалуйста, окно, если не хочешь начинать путь охранительницы спокойствия табора прямо сейчас.

Я послушалась, торопливо захлопнула ставни, едва не смахнув все еще дымящуюся трубку на пол, и с трудом задвинула рассохшийся деревянный засов. Подкрутила фитилек в масляной лампе так, что едва-едва теплившийся поначалу лепесток пламени увеличился вдвое и теперь освещал не только угол стола, но и добрую треть комнаты.

— И все-таки, — я повернулась к Искре, складывая руки на груди, — Расскажи о себе. Пожалуйста.

— Вот неугомонная. — Он вздохнул и сел, глядя на меня снизу вверх. — Чего тебе знать хочется? На один вопрос, так и быть, отвечу.

— Ты всегда знал, что ты не человек?

Харлекин замер, а потом задрал широкий рукав халата, демонстрируя гладкое запястье, на которое был нанесен непонятный рисунок-татуировка. Множество черных коротких линий, тонких, как волосы, со странными закорючками у основания каждой. Вроде бы похоже на цифры, только какие-то корявые и мелкие-мелкие. Мне пришлось поднести руку Искры к свету, чтобы их рассмотреть.

— Что это?

— Мое имя и название моего... я бы сказал рода. Зашифрованное в этих полосках. Оно появилось, когда мне было лет десять, и уже тогда я знал, что не похож на мать и соседских детей...

Искра говорил, а я внимательно слушала, позабыв про еду и остывающий мятный отвар. То, что рассказывал о себе харлекин, местами разительно отличалось от историй Ровины, а местами дополняло их, создавая единый образ существ, которых люди называли чаранами.

— Оборотни, которые рождались у человеческих женщин как обычные дети и осознавали себя лишь в подростковом возрасте. С первым превращением в чудовище из стали и витых металлических жил пробуждалась родовая память, осознание первоочередных для чаранов инстинктов и заканчивалась человеческая жизнь. Вернуть привычный облик могла лишь поглощенная плоть живого существа, и, если чаран хотел обратиться в человека, следовало искать себе жертву среди людей. Поначалу хватало и нескольких глотков крови из удачно нанесенного пореза, но чем дальше, тем больше. Приходилось учиться заманивать людей в укромные места, подгадывая момент, когда превращение удавалось наиболее легко и быстро, а когда пришло знание о человеческих слабостях, стало легче. Мужчина, находящийся в забытьи после чрезмерного возлияния, женщина, отуманенная сладкими речами и только-только испытавшая наслаждение в объятиях любовника, — все они были слишком слабы, чтобы оказать сопротивление или успеть хотя бы закричать, когда щедрый собутыльник или жаркий возлюбленный неожиданно обращался в стальное чудовище.

Когда я встретил тебя на кладбище, у меня уже заканчивался срок до очередной метаморфозы в то, что при всем желании не назовешь человеком. — Искра с сожалением отодвинул от себя опустевшую тарелку и вновь потянулся за трубкой. — Честно говоря, я был весьма разочарован, когда понял, что нежить пригнала на освященное место всего лишь одну-единственную девчонку, да еще такую мелкую. Надеялся, что водить мар за нос возьмется кто-то постарше и покрупнее.

— Ну извини. — Я развела руками. — Мне в свое время тоже выбирать не пришлось.

Харлекин только отмахнулся.

— Ты еще возмещение ущерба предложи, было бы чем.

Он замолчал и отвернулся, пытаясь вновь раскурить потухшую трубку.

— Между прочим, ты обещала рассказать про кристалл с паутинками. Я жду.

От неплотно подогнанных друг к другу ставень тянуло холодом. Надо будет поискать что-нибудь, из чего можно соорудить хорошую занавеску, а то придет зима и согреться по ночам в новом жилище будет совсем уж невозможно, разве что забраться в жаровню с угольками.

Я украдкой зевнула и потерла слипающиеся глаза. В последнее время мне редко удавалось выспаться: кашель донимал Ровину по ночам наиболее сильно, но ухаживать за собой пожилая ромалийка никому не позволяла. Сама поднималась с тюфяка, брошенного на пол фургона, сама процеживала заготовленный с вечера отвар, унимающий боль в груди и облегчающий дыхание, да еще приговаривала, что не готова пока сплясать последний танец со смертью. Только глаза ее с каждым днем казались все более тусклыми, и все чаще лирха использовала зачарованный посох не для обрядов, а как обычную палку, на которую опираются при ходьбе.

Ромалийка учила меня не только читать тарры и распознавать целебные травы, из которых можно сварить лекарство. Сегодня она показала, как перебить чары дудочника, когда тот уже играет свою песню. Неистовый, кажущийся беспорядочным танец под плач колокольчиков на ножных браслетах, под шелестящий звон монист, нашитых на узорчатый платок-пояс. Он разбивает вдребезги вычурную стеклянную вязь магии дудочника, заглушает любой призыв и любой приказ, может разбудить от глубокого безвольного сна и человека, и нечисть. За это дудочники на дух не переносят ромалийских лирх, стараясь выжить их отовсюду, где спокойствие людей охраняет Орден Змееловов. Потому что именно лирхи демонстрируют, что власть тонких дудочек над нечистью не безгранична, да и сами змееловы всего лишь люди, чье колдовство можно перебить, нарушить, сделав из укротителя нечистой силы обычного человека, наделенного страхами и слабостями, и главное — что не только дудочники могут зачаровать хищную тварь. Танцующей лирхе некоторые виды нежити подчиняются охотнее, чем змеелову, а осторожные ромалийские круги надежней осиновых вешек с выжженной на оголовье змеей.

Ровина показывала, как это бывает. Ее танец подхватил меня, как речной поток, втянул в тугой кокон, сплетенный из звона колокольчиков, из кажущихся простыми и естественными движений, увлек, а потом...

Я пришла в себя, когда руки мои уже были по локоть покрыты тусклой золотистой чешуей, а мир играл яркими красками. И видела я не Ровину, а змедеву. Такую же, как я сама, гибкую, с острым изумрудно-зеленым гребнем вдоль изящной спины, с отяжелевшими, наполненными парализующим ядом шипами, заматающими блескучим занавесом точеные плечи. Это был мираж, в который хотелось верить, иллюзия, которая смогла обмануть даже шассьи глаза, сон, привидевшийся наяву и обнявший ласковыми жесткими руками.

То, что не смог когда-то сделать змеелов с разными глазами, лирха сделала играючи, легко и непринужденно скользя по холодному деревянному полу. Почти выманила меня из человеческой шкуры не приказом, которому нельзя не подчиниться, а ощущением родного гнездовища, уюта и безопасности...

— Мия?

— Это всего лишь... ромалийские пляски. — Я подошла ближе, скользнула кончиками пальцев по шраму на груди харлекина, чувствуя, как простое человеческое тепло сменяется лихорадочным жаром, изливающимся из глубины тела. — Сон, в котором я вложила в грудь живого существа принесенный из шассьей пещеры топаз...

— Получается, не только дудочникам нужно держаться подальше от кочевых ведьм, —



тихо, очень тихо пророкотал Искра, осторожно, нарочито аккуратно возвращая трубку на подоконник. — Вы не только переворачиваете все с ног на голову, но и заставляете верить в то, чего нет.

Заскрежетали стальные пластины, покрывшие могучую руку. По рыжим волосам, моментально вставшим дыбом, заметались бело-голубые искры, лицо харлекина застыло, жутковатый оскал раскроил его пополам от уха до уха. Я хотела отшатнуться, но не успела: жесткие пальцы до боли сдавили тонкое запястье, удержали, притянув меня еще ближе, так, что изуродованное превращением лицо почти коснулось моего.

— Я не марионетка. — Упавший до глухого рокота голос холодной змейкой скользнул вдоль позвоночника. — У меня нет хозяина.

Рыжая прядь коснулась моей щеки, что-то больно щелкнуло по коже, будто кто-то невидимый огрел нагайкой. Несильно, предупреждая. Я ойкнула, попыталась отодвинуться от харлекина, прижимая ладонь к горящему от невидимой пощечины лицу, и тотчас удерживающие меня стальные пальцы разжались.

Искра шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы и резко встал, с грохотом опрокинув стул. Повернулся ко мне спиной и одним движением сдернул халат, раздраженно бросая его на пол, как грязную истлевшую тряпку. Распахнул ставни, едва не выворотив засов из петель, и уселся на подоконник, спустив ноги в пустоту.

— Далеко собрался в таком-то виде? — негромко поинтересовалась я, не решаясь коснуться опущенного плеча или хотя бы подойти ближе. — Там все-таки холодно.

Он глухо, отрывисто рассмеялся, обернулся, демонстрируя стремительно изменяющееся лицо. Железное чудовище, кое-как уместившееся в оконном проеме, оскалилось, смех зазвучал ниже, басовитей.

— В таком виде я не слишком сильно буду отличаться от случайных прохожих.

Когда в комнату заглянула прибежавшая на грохот ромалийка, я уже закрывала ставни, надеясь, что полусонная женщина не заметит две яркие голубоватые звездочки на соседней крыше.

Утро, выдавшееся сырым и холодным, совершенно не способствовало пробуждению. Белесый туман мелкими капельками оседал на волосах, промозглый ветер забирался под юбку, проникал за воротник свиты, заставляя плотнее кутаться в одежду и раздувая желание остаться в теплом доме.

Я вяло плелась следом за Ровиной, неприкрыто зевая и стараясь глядеть себе под ноги, чтобы не промерять потертыми сапогами все встреченные на пути лужи, покрытые тоненьким, хрупким ледком. Утренний холод меня не разбудил, а, напротив, погрузил в состояние какого-то оупения, когда сил хватало лишь на то, чтобы выполнять несложные команды. Подать посох. Идти следом. Смотреть под ноги.

Когда лирха вытаскивала меня из кровати, я всеми силами цеплялась как за одеяло, так и за остатки какого-то весьма приятного сна, в котором фигурировал Искра, одетый в шубу из лисьих хвостов и почему-то предлагающий сначала руку, а потом сердце. Что мне надо делать с этими частями тела, объяснено так и не было, но сон почему-то оставил после себя странное, будоражащее ощущение, которое безжалостно смахнула Ровина, вылившая мне на спину полчашки холодной воды со словами, что пора вставать.

Ненавижу раннее утро... Особенно когда полночи лаешься с харлекином в попытке выяснить что-нибудь полезное и новое для себя, а в результате получаешь лишь головную

боль и еще большее количество вопросов. Особенно после того, как наконец-то улеглась в кровать, с которой вначале пришлось убрать ворох одежды и запасных одеял, долго ворочаешься с боку на бок, не в силах выбросить из головы слова Искры о кормовых территориях.

А когда наконец-то удалось заснуть, лирха Ровина пришла будить свою нерадивую ученицу со словами, что пора постигать тонкости городской жизни, а ранняя пташка червячка ловит. Как птицы и червяки связаны с неурочным пробуждением после бессонной ночи, я так и не поняла, но переспрашивать у непривычно бодрой и энергичной ромалийки почему-то не решилась.

Утреннюю тишину разбивали лишь наши шаги да еще стук Ровининогo посоха о камни. Где-то хлопнула дверь, послышалась вялая, беззлобная ругань. Загряда, все еще окутанная туманным покрывалом, медленно, неохотно просыпалась под мелкой ледяной изморосью. Неотложные дела заставляли людей покидать теплые постели, но улицы почему-то оставались пустынными. Редкие прохожие торопились скрыться в подворотнях, пряча лица под широкополыми шляпами или кутаясь в плащи с капюшонами, отворачивались от нас с Ровиной, как от зараженных опасной болезнью, и едва ли не крестились вслед, наверняка думая, что отгоняют каких-то злых духов вместе со всеми несчастьями разом.

Тихий шорох, услышать который можно было лишь в краткий промежуток между ударами посоха о камень, звук песчаного ручейка, скатывающегося по иссохшему руслу. Я резко остановилась, бесцеремонно ухватила Ровину за плечо, прислушиваясь к сгустившейся вокруг нас тишине. Еле заметное движение, уловленное краем глаза, на миг показавшийся из толстой каменной кладки угольно-черный гребень, который сразу же скрылся. Почудилось спросонья? Наслушалась Искру на ночь глядя, а теперь мерещится невесть что?

— Молодец, Ясмия, — тихо произнесла лирха, — раньше меня беду почуяла.

Ровина выпрямилась, и тяжелый узорчатый посох с силой ударил по мостовой. Зазвенели золотые колокольчики на ромалийских браслетах, от нижнего конца посоха побежала рябь, как от камня, брошенного в воду. Я и опомниться не успела, как мостовая вздрогнула, вытолкнула наружу притаившегося в тени василиска, ту самую змею, которую я мельком видела на крыше здания при въезде в Загряду. Тогда мне почудилось, будто бы «статуя» проводила меня взглядом, а сейчас она шипела в десяти шагах от нас, свивала длинное гибкое тело в тугие кольца и пыталась выдернуть кончик хвоста, намертво застрявший в каменной кладке дома. Заклинание Ровины поймало василиска в ловушку. Только вот надолго ли?

Золотые браслеты с силой ударились друг о друга, когда лирха шагнула вперед, начиная новый танец. И ведь не скажешь, глядя на нее, что утром из дома на окраине города вышла смертельно больная женщина, цепляющаяся за жизнь с невероятным упорством: на грязной мостовой, покрытой тоненьким ледком, легко и изящно двигалась молодая девушка с серебром в длинных косах. Та, которую звали ромалийским огнем, гибкая, как ивовая веточка, берегиня с хрустальной короной из водяных капелек в волосах, с волшебной сетью, которая может усмирить любое чудовище. Василиск уже не топорщит блестящий железный гребень — тот давно прижат к гладкой, как стекло, спине, глаза у змея прикрыты, а чешуйчатое тело раскачивается из стороны в сторону в такт перезвону лирхиных колокольчиков. Вправо... влево... И светлеет гладкая чешуя, утрачивает стеклянистый блеск — так мокрые камни высыхают на жарком солнце, становясь из блестящих окатышей обыкновенной шершавой речной галькой, которую остается разве что выбросить без

малейшего сожаления.

Василиск застывал на глазах, превращаясь в обычную статую, странным образом выраставшую из стены неказистого на вид дома. Тугие кольца, сжимающиеся и разжимающиеся в ответ на каждое движение ромалийской берегини, оборачивались холодным камнем, изрезанным причудливым узором-чешуей...

Ровина не раз пробовала научить меня этому танцу, но все без толку. Я могла вызванивать с помощью браслетов нужную мелодию, повторять каждый шаг своей наставницы, но ее танец всегда был волшебством, балансированием на кончике иглы, на лезвии меча, а у меня выходило лишь механическое повторение, не имеющее силы. Я смотрела на лирху шассьими глазами, видела, как каждый ее поворот, каждый взмах рукой вплетает в частую сеть заклинания еще одну сверкающую нить, как звон ее браслетов все туже затягивает узлы чарования. Видела — и осознавала, что не могу это повторить. Не хватает чего-то, что превращает шаги в часть обряда, музыку — в силу, подпитывающую ритуал, а танцующую ромалийку — в берегиню, которая может сплести паутину, удерживающую нечисть не хуже бирюзовых петель дудочников-змееловов.

Не хватает человечности, той изумрудно-зеленой искры, что полыхает в груди Ровины неутомимым огнем. А откуда ее взять, если мой «огонь» золотой, прохладный и ровный, неспособный стать основой для ромалийского чарования?

Лирха оступилась на скользком булыжнике, и тщательно создаваемого чуда не случилось. Все тот же закон колдовства, что ведет песню дудочников, все то же условие — не сметь ошибаться. Один-единственный промах, фальшивая нота, исказившая четко выверенную мелодию-удавку, сбитый на полтакта танцевальный шаг — и тщательно выстраиваемое заклинание рушится, как башенка из игральных карт, которые иногда строил Михей во время стоянок, осыпается мириадами невидимых глазу песчинок и высвобождает заклинаемую тварь, которая, очнувшись, становится вдвое злее и неудержимее.

Василиск зашипел так, что холодок страха прокатился по спине колючей льдинкой даже у меня. Изо всех сил вырывающийся из цепких каменных оков змей был готов убивать. Не охотиться, не искать себе пищу — а драть врага в клочья мелкими игловидными зубами.

Я едва успела подхватить падающую ничком лирху, чье тело показалось мне удивительно тяжелым, холодным и каким-то вялым, бескостным. Частая сеть морщин на лице ромалийки стала заметнее, скулы заострились, браслеты золотым дождем скатывались с иссохших запястий. Ровина пребывала в глубоком беспамятстве: оборванный танец словно выпил из нее последние силы, обратил мою неутомимую, волевою наставницу в беспомощную старуху. Если останусь с ней, то беснующийся василиск наверняка разорвет нас обеих на куски, если брошу Ровину, никогда не прощу себе, не смогу вернуться в табор и смотреть в глаза людям, что заботились обо мне последние месяцы.

Моей руки коснулся все еще хранящий тепло лирхиных пальцев деревянный посох, и я неосознанно подняла его с холодных камней мостовой.

*— Знаешь, почему тебя опознали? — Голос матери мягко шелестит в бархатистой теплой тьме пещеры.*

*Я с трудом перевожу дыхание, с легкой долей омерзения снимаю с бронзового хвоста остатки шкуры подземного шакала.*

*— Понятия не имею. — Я приподнимаюсь, оглядывая себя со всех сторон и проверяя, не остался ли где-то еще кусочек лысой бурой кожи. — А почему? Я ведь вела себя так же, как*

они.

— Потому что ты не приняла полностью того, чье место захотела занять. — Мать снимает с моего плеча незамеченный лоскуток и отбрасывает его в сторону.

— Но это же... противно. — Меня передергивает от отвращения, крохотный еще спинной гребень топорщится, а потом резко укладывается вдоль позвоночника. — Там такое... радость от того, что что-то теплое попало в пасть, им постоянно хочется жрать, до ноющих костей и боли в желудке. Как это можно принять?

— Вот потому тебя и погнали из шакалей стаи, Аийша. — Мама легонько трется щекой о мою щеку, тяжелый хвост с черным узором обвивается вокруг моего надежной спиралью. — Ты всего лишь притворяешься, отторгаешь ощущения чуждого существа, забирая лишь его память, а этого мало...

Пальцы сжались на отполированном до блеска деревянном посохе, я поднялась, загораживая собой неподвижно лежавшую на мостовой Ровину. Потому у меня и не получается колдовать так, как колдует лирха, потому я не могу танцевать, как танцует она. Я всего лишь копирую поведение, подсмотренное в чужих воспоминаниях, я не ощущаю того, что может и должен чувствовать человек, обращаясь к ромалийской магии, замешанной на эмоциях.

Потому меня и не принимают в людской стае, а лирхина сила не находит во мне отклика, не дает воспользоваться чем-то помимо фокусов и размытых предсказаний. Ведь я всего лишь кажусь, а не являюсь.

Затрещали, ломаясь, каменные оковы, сдерживающие василиска, и змей скользнул к нам, широко раскрывая пасть, полную мелких острых зубов, когда я взмахнула посохом и начала свой танец...

...Мне четырнадцать, почти пятнадцать. Я смотрю на свое отражение в крохотном зеркальце, легко уместившемся в ладони, приглаживаю наслонявленным пальцем густые угольно-черные брови, выпячиваю полноватые губы, как для поцелуя. Выглядит глупо, поэтому я раздраженно прячу зеркало в поясной мешочек и выбираюсь из шатра. Сердце бьется слишком часто, не позволяя спокойно усидеть на месте дольше пяти минут, а ожидание кажется невыносимо долгим. Придет — не придет?

Белых лепестков на мимоходом сорванной ромашке остается все меньше, они падают в траву, отмечая каждый мой шаг. Солнце невыносимо печет, обжигает золотыми лучами открытые плечи, а до кромки леса и возделенной прохлады еще идти и идти по узкой извилистой тропке, пересекающей огромный луг от края до края...

...Дальше!

Посох в руках кажется легким, почти невесомым. Он вращается то над головой, то у самой земли, он — веретено, на которое наматывается тончайшая нить воли каменного змея, который кружит и кружит рядом, по незаметно сужающейся спирали, медленно приближаясь, но все еще не нападая. Я почти не чувствую скользких камней под ногами, меня подхватывает огненный ветер, зародившийся в груди, тот самый, который образовался из нервного трепета ромалийской девчонки, поделившейся со мной воспоминаниями о своей недолгой жизни. Ветер подхватывает под руки, ведет по кругу танца, как чуткий невидимый партнер.

Вспоминай, Аийша. Вспоминай девочку по имени Рада, девочку, чью внешность ты приняла, когда выбралась в чужой, жестокий мир людей. Вспоминай полностью, не позволяй этой тонкой золотой паутинке выскользнуть из пальцев, потому что вторая ошибка станет последней и для тебя, и для беспомощной лирхи, ничком лежащей на обледенелой мостовой.

*Его улыбка согревает жарче летнего солнца. От нее бросает попеременно то в жар, то в холод, а сердце заходится так, что кажется: еще немного, и выпрыгнет из груди прямоком в подставленные ладони мимоходом встреченного на базаре парня. Я украдкой уже вытаскивала из ревностно оберегаемой матерью шкатулки потертые деревянные тарры, вспоминала правила раскладов и все пыталась выведать, судьба ли то чувство, которое не дает мне покоя ни днем ни ночью, или же очередная проказа юной и шальной богини Лады, покровительствующей влюбленным.*

*Бесполезно и глупо. И в раскладах ерунда выходила, и простые девичьи гадания не давали однозначного ответа: то я золоченое кольцо из плошки наугад вытяну, то волчьей пастью скалится восковое пятно на колодезной воде, предсказывая несчастья да беду. А раз такое дело, нужно не ждать у костра, украдкой вздыхая и уклоняясь от ласковой материнской руки каждый раз, когда родительнице захочется выспросить чадо о причине тоски, а самой выбирать свою судьбу.*

*Я замечаю его не сразу. Лишь когда сильные, загрубевшие от работы руки легонько накрывают мои глаза, а до боли знакомый голос произносит мое имя, я догадываюсь, что он давно поджидает меня в условленном месте подальше от раскинувшегося табора. От него все еще пахнет железной окалиной и дымом, коротко остриженные золотистые кудри прижимает ко лбу плетеный обруч-косица, праздничная рубаха из беленого льна, явно пошитая пару лет назад, угрожающе натянута на широких плечах, заставляя парня держаться скованно и неуклюже.*

*— Радушка моя...*

*Он крепко обнимает меня, неловко утыкаясь губами в шею, но даже эта неумелая, грубоватая ласка заставляет сердце сладко сжиматься и трепетать...*

Звонким, ранящим кожу водопадом осыпалась прозрачная стеклянная стена, до того надежно разделявшая меня-шассу и меня-человека. Из мелких кровоточащих порезов на руках крохотными золотыми бликами проступила плотно уложенная чешуя, алые капли усеяли серый лед рубиновым крошевом, окропили блескучую шкуру василиска, вставшего на хвост и оказавшегося вдвое выше меня. Узкая граненая голова склонилась, из пасти вырвалось тихое шипение-свист.

Посох с громким стуком ударился о землю, тщательно выплетаемая паутина-заклятие вдруг стянулась, обернула змея непроницаемым коконом и пропала. Я остановилась. Недоверчиво, пугливо посмотрела на вычурную статую, выросшую посреди улицы. Скупые сероватые лучи утреннего солнца ложились на отполированный до блеска гранит, холодный и мертвый, как все камни, разноцветными огоньками вспыхивали на остром гребне из черного хрусталя.

Загряда понемногу пробуждалась ото сна. Где-то слышались грубоватые окрики булочников, гоняющих нерадивых подмастерьев то за водой, то за корзинами с выпечкой, где-то запищал младенец, захлопали, раскрываясь, тяжелые ставни.

— Ровина? — Я упала на колени рядом с наставницей, осторожно положила посох на мостовую и легонько потрясла ромалийку за плечо. — Очнись, пожалуйста.

В голове шумело, руки непривычно дрожали, меня попеременно бросало то в жар, то в холод, пот катился градом, а рубашка неприятно липла к спине. Ощущение слабости, как после смены личины, в груди пусто, словно танец вытянул из меня все чувства и ощущения, оставив лишь те, что необходимы для выживания. Беспомощность, бессилие, невозможность даже подняться с колен, не то что донести Ровину до ромалийской зимовки. Как же так? Неужели лирха каждый раз чувствует то же самое? Откуда она брала силы, если после подобных танцев не только вставала сама, но и помогала подняться мне?

— Но-о-овенькая!

Я вскинула голову на голос и заметила странное существо, похожее на худощеого мелкого человечка с зеленоватой кожей, крупными, как у летучей мыши, ушами и огромными совиными глазами. Карлик висел на стене, уцепившись тонкими длинными пальчиками за трещины в каменной кладке, и внимательно смотрел на меня, растянув большой рот в уродливом подобии улыбки.

— Новенькая! — эхом раздалось с другой стороны переулка.

— Новенькая! Новенькая!

Хор писклявых голосов нарастал, как гул от низвергающейся лавины, впрочем, прекратился он тоже совершенно неожиданно — стоило одинокой мрачной фигуре появиться на краю крыши. Карлики исчезали, как по волшебству, забиваясь в узкие щели под козырьками, ныряя в крохотные оконца-воздуховоды, да так быстро, что я и испугаться толком не успела, как от них не осталось и следа.

Ловко перепрыгивая с карниза на карниз, Искра спустился на мостовую и, не говоря ни слова, широким, уверенным шагом подошел к гранитной статуе каменного змея. Сталью блеснул выглядывающий из рукава черного камзола кулак, и узкая змеиная голова с грохотом разлетелась на мелкие куски, усеяв мостовую обломками, будто бы окрашенными на сколах темно-красной краской.

— Ты что, все это время за нами наблюдал?

Харлекин не ответил, лишь встряхнул правой рукой, возвращая ей человеческий вид. Опустился на одно колено, легко поднимая Ровину с мостовой, и торопливо зашагал прочь от искореженной статуи. Я чертыхнулась и попыталась встать, опираясь на посох и преодолевая накатывающую волнами слабость. Казалось, что меня превратили в глиняный кувшин, пустой и гулкий, в который тоненькой струйкой стекает прохладная колодезная вода. Чувства, краски и звуки возвращались, но очень медленно, тело было вялым, непослушным, как после лихорадки.

— Искра-а-а! — И голос хриплый, тихий, но тем не менее харлекин меня услышал. Остановился посреди улицы и обернулся, смерив меня тяжелым взглядом.

— Прибить тебя, что ли, чтобы не мучилась? Пока на ногах не стоишь и даже шипеть толком не можешь.

Его слова заставили меня выпрямиться и сделать первый шаг. Злость помогла сделать второй и третий, а беспокойство за Ровину — преодолеть унижительную слабость и доковылять наконец-то до терпеливо ожидающего меня Искры. Он сдержанно кивнул и неторопливо пошел дальше, негромко бросив через плечо:

— Чешую с рук обдери, пока не попалась. И про лицо не забудь, сияешь узором на весь переулок.

Право слово, никогда и никого мне не хотелось убить сильнее, чем размеренно идущего на шаг впереди харлекина. Но нельзя — без него я и Ровину не смогу до дома донести, и сама заблужусь в совершенно одинаковых, на мой взгляд, переулках. Пришлось, стиснув зубы, покорно следовать за Искрой, торопливо снимая истончившуюся змеиную шкуру с лица и рук и пряча ее в мешочек, скрывающийся в складках юбки. Не забыть бы потом сжечь, а то беды не оберешься.

— А что за карлики висели на стенах перед тем, как ты появился?

Харлекин молчал так долго, что я уже подумала — не ответит.

— Гремлины, — наконец отозвался он. — Мелкие падальщики. По отдельности почти безвредны, но если соберутся в большую стаю — не поздоровится. А еще они разносят сплетни среди нечисти Загряды, так что к полуночи о тебе будут знать все, кому надо. Мия, скажи, а ты уже завтракала?

Я только ошарашенно помотала головой.

— Вот и я нет. — Искра скопил на меня хитрый лисий взгляд и улыбнулся: — Покормишь в благодарность за посильную помощь в доставке двух ромалиек домой в целости и сохранности?

И почему-то его улыбка согрела меня лучше жаркого летнего солнца.

Меня разбудил невнятный стук во входную дверь.

Я приглушенно застонала и, повернувшись на другой бок, уткнулась носом во что-то теплое и упругое, пахнущее свежим хлебом и железом. Кажется, что Загряда, не сумев приручить сразу, решила взять измором, не давая мне высыпаться по ночам и передвигаться по улицам без приключений в течение дня.

Стук стал громче, отчетливей, и я, привыкшая чутко реагировать на шум, неохотно зашевелилась на жестком тюфяке, пытаюсь разлепить глаза и сообразить, кого же принесла нелегкая посреди ночи.

— И чего им неймется, а? — Неутомимый Искра, на целый день и последующий за ним вечер превратившийся в мою тень, безропотно выполнявшую любые просьбы, пока я ухаживала за впавшей в горячечное беспамятство лирхой, широко зевнул и приподнялся на локте, глядя на меня сверху вниз. На щеке у харлекина отпечатался след от комковатой подушки, и именно на его плече я сладко проспала те несколько часов, что прошли с момента, когда стало ясно: лихорадка отступила и лирха Ровина непременно выживет. До следующего приступа, когда придется вновь отгонять смерть настойками на травах и тягучими песнопениями, в которых Искра распознал старинные молитвы-заговоры. — Слабину, что ли, почуяли или просто поздороваться?

— Кто чего почуял? — Я села и потеряла виски, силясь стряхнуть дремоту, потянувшись, чувствуя боль в заостренней из-за лежания в неудобной позе спине.

— Да я про гостей поздних. — Харлекин легко поднялся, встряхнул гривой спутанных огненных волос и одним решительным движением сдернул с меня одеяло, под которым я пряталась от сквозняка, скользившего по холодному деревянному полу. — Вставай, змейка, к тебе пришли. Хотя если очень хочешь, я их сам встречу. Но за последствия не ручаюсь.

Он скрылся за пестрой тряпичной занавесью, отделявшей небольшой закуток перед лирхиной комнаткой и общий зал, уставленный сундуками, корзинами и походной утварью, раньше, чем я успела возразить, а потом я расслышала его приглушенный голос, нарочито картавый и визгливый, вопрошающий, кого там черти принесли на ночь глядя. Что ему ответили, я не разобрала, но на всякий случай торопливо закуталась в теплый шерстяной платок, сунула ноги в разбитые войлочные тапки и, сжегивая зевок в кулак, побрела к нехорошо улыбающемуся харлекину, прислонившемуся к косяку. По ту сторону двери раздавался женский голос, выдающий одно длинное ругательство за другим, и с каждым взрывом проклятий Искра ухмылялся все шире.

— И чего ты им сказал? — поинтересовалась я, слушая малознакомые, но интуитивно понятные слова.

— Я просто представился и пояснил, что тут занято. А они почему-то обиделись. — Харлекин невинно похлопал глазками и развел руками, демонстрируя, что он-то совершенно ни при чем.

— Так что, можно уже не открывать? — вздохнула я с облегчением, и тотчас возмущение за дверью улеглось, а спокойный мужской баритон поинтересовался, можно ли пообщаться с хозяевами этого благословенного дома.

— Можешь открыть. — Искра отступил на полшага, пропуская меня к засову. — Без приглашения они все равно порог переступить не смогут.



Кажется, я уже догадалась, что за гости пожаловали, раз они не могут войти без разрешения в заговоренный от нежити дом. За порогом обнаружили двое: высокая худая блондинка, одетая в черное бархатное платье с квадратным вырезом на груди и пышной длинной юбкой, и темноволосый мужчина чуть выше меня ростом в странном камзоле с двумя рядами начищенных до блеска золотых пуговиц и жестким воротником-стойкой, подпирающим округлый подбородок. Увидев меня, девица недовольно сморщила небольшой носик и поджала губы, а мужчина мягко улыбнулся и слегка склонил голову.

— Мое почтение, юная леди. Позвольте нам... войти в дом.

На миг мне почудилось, что по затылку скользнула струя ледяного воздуха, холодные невидимые пальцы сдавили виски, а в голове зазвучал чей-то приказ, настойчивый и жесткий, — впустить, но эти неприятные ощущения пропали так же быстро, как и возникли. Я широко зевнула, даже не удосужившись прикрыть рот ладонью, и поинтересовалась:

— А с какой стати? У нас тут не проходной двор, вас в гости не звали, да еще в такое время. Приходите утром, а еще лучше — сразу после полудня, тогда и поговорим.

С мужчины разом слетела доброжелательность, лицо стало жестким, а белки глаз заалели, напивавшись кровью.

Девушка, столь эмоционально ругавшаяся на харлекина всего несколько минут назад, вдруг утратила всю живость лица, вытянула руки по швам и замерла, будто шарнирная кукла, которую вернули на подставку. Искра у меня за спиной еле слышно рассмеялся, а потом приобнял меня за талию, наклонился и положил подбородок мне на макушку.

— Чтобы не затягивать этот балаган до рассвета, вынужден хотя бы представить вас друг другу, дорогие мои. Мия, перед тобой представители местной вампирьей общины. Да-да, те самые страшные немертвые создания, про которых так любят рассказывать байки у костра все кому не лень. Сам не раз слышал. Общаться есть смысл только с мужчиной, девушка все равно его «кукла», собственной воли давно не имеет и поэтому думает, говорит и делает только то, что приказывает ей хозяин. — Харлекин склонился еще ниже, легонько поцеловал меня в висок и по-кошачьи потерся щекой о мою щеку. — Что же до вас, господа умертвия, то право на территорию ромалийского табора заявила именно эта девочка, а я просто в гости зашел.

— Всюду, где ты появляешься в гостях, пропадает бесценный корм, потребление которого и так ограничено, — негромко прошипел вампир, подаваясь вперед, но не в силах переступить невидимую линию, проведенную заговоренными травами и солью.

— У плохого пастуха всегда волк виноват, — равнодушно отозвался Искра, выпрямляясь и запуская пальцы в мои спутанные кудряшки, легонько царапая ногтями кожу около уха. Я вздрогнула от неожиданно приятного ощущения и поспешила отодвинуться от харлекина. — Сторожите лучше свои угодья, и проблем станет намного меньше.

Но вампир уже не слушал — он посмотрел на меня и ослепительно улыбнулся, продемонстрировав острые клыки. Девица, только что стоявшая столбом, внезапно ожила и присела в глубоком реверансе, низко склонив голову. Черное кружево, обрамляющее вырез, сдвинулось, показав две едва-едва зажившие алые точки на бледной, почти белой коже. Метка хозяина, след от укуса нежити, превращающего человека в умертвие, в существо, не имеющее ни души, ни воли.

Ровина действительно рассказывала байки о вампирьих «невестах» поздним вечером у походного костра, когда осенние сумерки еще не приносили с собой леденящий сырой холод, а воздух вкусно пах дымом и печеной картошкой. Женщины или девушки, ставшие

жертвами вампира по собственному желанию, приобретали особую призрачную красоту, большую физическую силу и бессмертие, если, конечно, такое ночное существование можно было назвать бессмертием, а взамен отдавали душу, волю и разум, превращаясь в красивые манки для людей. В «куклы», которые с каждым заходом солнца поднимаются из гроба лишь по приказу своего хозяина, что живут лишь его мыслями и волей, действуют лишь по велению господина, оставившего на точеной лебединой шее кроваво-красную метку. Эти красавицы выходят по ночам из своих дневных убежищ в поисках подходящей жертвы, чья жаркая кровь сумеет напитать мертворожденного вампира и дать ему силы, чтобы обмануть смерть до следующего захода солнца. У них холодная, как мрамор, мертвенно-бледная кожа, яркие губы и огромные темные глаза, в которых камнем тонет человеческая воля. Они не отражаются в зеркале, не имеют тени и не могут самостоятельно пересечь текущую воду. Могут играючи сломать пополам меч из закаленной стали, выбить дубовые ставни или вырвать голый рукой все еще бьющееся сердце, но при этом не в состоянии переступить порог дома без приглашения. На солнечном свете они вспыхивают, как сухая береста, и обращаются в мелкий серый пепел, а заговоренная особым образом вода выжигает их плоть, словно едкой щелочью.

Но все эти правила и ограничения касаются лишь вампирских «невест». Рожденные нежитью совсем другие и, как сказывают ромалийцы, мало походят на прекрасных существ из традиционных легенд. Люди привыкли думать, что настоящие вампиры красивы, как порочные боги наслаждений, бессмертны и холодны, что их поцелуи могут заставить позабыть обо всем на свете и что даже не слишком прекрасная дева может завоевать сердце «повелителя нежити» одной лишь своей неприступностью, стойкостью к сладким увещаниям и бойкостью языка.

Сказки, придуманные самими вампирами для людей...

*...Южная ночь обволакивает со всех сторон душным одеялом, терпкий запах полевых цветов слегка дурманит голову, а небо с частой россыпью крупных звезд прячет за единственным облачком тонкий, как волосок, молодой месяц. Оглушающе громко поют сверчки, где-то вдалеке играет ромалийская скрипка. Высокая, стройная девка с венком из полевых цветов на пышных каштановых кудрях с придыханием рассказывает легенду о «ночных любовниках». Карие глаза блестят, в них отражается пламя небольшого костерка, вокруг которого сбились молоденькие заневестившиеся девчонки, желающие послушать не песен, а сказок, пугающих и заставляющих трепетать одновременно.*

*— А потом он целует непокорную деву, и этот поцелуй одновременно холоден, как родниковая вода, нагретое над свечой золотое кольцо. — Кареглазая томно вздыхает, прижимая к высокой груди смуглые точеные руки, увешанные медными браслетами от запястья и до локтя. В свете костра ее лицо кажется лицом языческой богини, вырезанной из красного дерева. Идолом, которому поклонялись десятки, сотни человек, вымалывая счастливую судьбу и сытую жизнь. — Его сердце согревается любовью земной, человеческой, оживает и начинает трепетно биться лишь для возлюбленной, живущей при свете дня. Он жаждет ее крови, такой сладкой и дарующей право на жизнь, но еженощно борется с этим искушением. Ведь если вампир приложится к этому кровавому источнику, то не сможет более остановиться и не остановится, пока девица в его руках не умрет или же не станет «невестой» — бледной тенью, смеющейся по приказу и покорной во всем своему господину.*

Мечтательно вздыхает сидящая рядом со мной девушка, толстые черные косы которой ниспадают почти до колен, с сожалением оглаживает юбку, обтянувшую округлые колени. Всем хороша девчонка, да только пышна чересчур на ромалийский вкус. Крестьянин бы за такую что хочешь отдал, души бы не чаял да на руках носил, пока силы есть, да только к чему свободной ромалийской девке, привыкшей к вольной жизни, шальным песням да пляскам, неотесанный деревенщина, перед которым ни покрасоваться, ни рассмеяться слишком громко, ни юбки яркие надеть. А еще ведь и спину гнуть в поле придется, и детей ежегодно рожать, и перед свекровью глаза опускать, слова поперек не высказать...

И совсем другое дело — красавец-вампир, которому несговорчивая девица, сумевшая таки устоять перед его сладкими речами и не пустившая на порог в первую же ночь, становится милее серебряной луны и бриллиантовых звезд.

А кареглазая распаляется все больше и уже не может усидеть на месте — мечется от одной девицы к другой, не то страдая, не то стараясь воззвать к мечтам о том, кто станет рабом и господином. Единственным и вечным.

— И предвестником его появления станет хрипкое карканье ворона, живые цветы увянут в мгновение, словно их коснулось дыхание самой смерти, а ледяной ветер будет стучаться в ставни и выть человеческим голосом... У-у-у-у-у!

И тут в двух шагах от освещенного костром круга действительно что-то завывало. Да так прочувствованно и протяжно, что все девки, как одна, визжат и сбиваются в кучу, даже не пытаясь убежать.

Вой обрывается хриплым кашлем, который перерастает в глухой надорванный смех. Из темноты выступает хромая на левую ногу старуха, такая древняя, что даже пожилой ромалийский вожак уважительно называет ее бабушкой. Говорят, бабка Пелагея когда-то была лирхой, сильной и умелой, да только не срослось у нее с колдовством-чарованием, забросила она и знания и силой пренебрегла, а все из-за того, что оказалось у нее сердце обожжено самым лютым, самым беспощадным огнем — любовью. Только питать этим огнем свой дар Пелагея не пожелала, отринула все дорожное, колдовское, лирхино — и перестала видеть невидимое. В одну ночь перестала. Вчера был дар, была лирха, а сегодня уже нету, осталась красивая, пусть и не слишком молодая женщина, сияющая изнутри нежданно обретенным счастьем. Только беда случилась, пропал Пелагеин возлюбленный так же неожиданно, как появился, а бывшая лирха с того дня словно умом тронулась. То молчит целыми днями, а то как начнет рассказывать байки, от которых волосы дыбом становятся, по спине холодный пот в три ручья, а потом неделю еще спишь урывками, потому как снятся то железные зубы, то белые, как простыня, лица, а то и вовсе нечто непонятное, чужое, страшное, вроде грибницы, что проросла вглубь и вишь повсюду, куда ни глянь. Тут не то что дети, взрослые с криками просыпались и до утра свечи жгли...

— Ох и дуры вы, девки, ох и дуры. — Бабка, побряхтывая, концом узловатой клюки расчищает себе место у костерка и с трудом опускается на землю. — Вампирье семя принять захотели, думаете, целовать-миловать будет, раз кровь горяча, голова дурна, а место женское само не знает, чего просить? Будет целовать, непременно будет. Но только один раз, после чего и солнечный свет опротивеет, и души не станут, а коли разума и так нету, то там и подавно не будет. Захочет хозяин — человека голыми руками раздерете в клочья и смеяться будете, умываться кровью и кости разбрасывать во все стороны, как бисер. Захочет — голым задом перед собачьей стаей вилять придется.

*Впрочем, там-то уже все равно будет, что перед красавцем юбкой трясти, что перед нежитью с лошадиными зубами в два ряда.*

*Пелагея смотрит на нас, притихших и присмиревших, перекладывает клюку на колени и тянет негнущиеся узловатые пальцы к алеющим угольям, среди которых черными окатышами виднеется картошка. Говорит тише и мягче, словно детей вразумляет, а не взрослых девиц за непотребные мечтания отчитывает:*

*— Видела я этих вампиров. Без личины видела, когда один из них сестру мою из кровати за окно тащил.*

*Старуха складывает «козу» из пальцев, плюет меж «рогов» на землю и подносит ее к правому глазу.*

*— Вот так и глянула. Карлики они, уродливые да красноглазые. А вы — «красавцы, красавцы»...*

*Я не верю своим глазам, когда бывшая лирха, даже не поморщившись, голой рукой разгребает пышущие жаром угли, выхватывая из огня крупную, хорошо пропеченную картофелину...*

— Так вы согласны поделиться?

Искра ущипнул меня за бок, я ойкнула, глубоко вздохнула, как пловец, вынырнувший из темных водных глубин на поверхность, потерла висок, силясь отогнать яркие, насыщенные звуками и запахами воспоминания ромалийки Рады. Подняла осоловелый, невидящий взгляд на застывшего в ожидании вампира, а потом повторила жест, подсмотренный в чужих воспоминаниях. Плюнула на порог через сложенные из пальцев «козьи рога» и поднесла руку к лицу. Слово через мутную полупрозрачную пленку, натянутую меж указательным пальцем и мизинцем, глянула. Невысокий статный мужчина, вежливо ожидающий моего ответа, оказался низкорослым, едва ли мне по пояс, уродливым карликом, внешне напоминающим вымахавшую до неприлично огромных размеров летучую мышь. Небольшие глаза утопали в глубоких глазницах так, что видны были лишь алые точки зрачков, широкий рот с выступающей нижней челюстью показался кривой раной поперек округлого лица, подвижные уши-раструбы с заостренными кончиками едва заметно шевелились, как будто вампир старался уловить малейшие звуки окружающего мира. Тонкие пальцы с аккуратными белыми коготками были унизаны золотыми кольцами, на худой, почти цыплячьей шее массивный кулон с рубином, а строгий камзол со стоячим воротником оказался бесформенной парчовой хламидой, густо расшитой шелком.

Казалось, будто бы вампир старался нарочитой роскошью одеяния сгладить собственное уродство. К чему, спрашивается, если все равно чаще личиной пользуется, мороком, чарованием, а подлинную внешность скрывает? Перед «невестой» прихорашивается? Так ей уже давным-давно все равно, какое лицо у ее хозяина, она и красавчику, и уродцу будет повиноваться с одинаковой быстротой и покорностью.

— Налюбовалась? — Карлик оскалил мелкие острые зубы, По-птичьи склоняя плешивую голову набок. — Некрасиво заглядывать под чужую личину, не юбка ведь.

— А под юбку заглядывать разве красиво? — поинтересовалась я, опуская «козу» и снова видя перед собой ничем не примечательного мужчину в неброской одежде городского жителя.

— Если женщина не против, то отчего бы не заглянуть? — Вампир пожал плечами и как бы ненароком притянул к себе безвольную «невесту», приобнимая девушку за тонкую

талию. — Ты бы видела, как некоторые нарочно распахивают ставни пошире, рубашки надевают с вырезом поглубже, чтобы не только плечико в нужный момент оголилось.

— А зачем?

Вампир недоверчиво приподнял бровь, покосился на полуодетого Искру, по-прежнему обнимающего меня со спины и тем самым весьма удачно спасающего от стылого холода, вежливо кашлянул и деликатно осведомился:

— Дама не играет в удовольствие с людьми? Интересует только еда? В таком случае нашей общине есть что вам предложить. Более комфортные условия проживания, охрана от неразумных, денежное довольствие или украшения. И конечно, сытость на весь срок пребывания в нашем городе. Что вам предпочтительней?

Я глубоко вздохнула. Медленно выдохнула и развернулась к оскалившему острые железные зубы харлекину:

— Искра, поскольку я не хочу простоять на холоде до утра, будь добр, объясни, что им нужно?

— Они предлагают тебе за ромалийский табор красивые бусы и трехразовое питание в придачу, — охотно отозвался тот, легонечко поглаживая меня по руке. — Так достаточно понятно?

— Вполне. Но у меня это все и так есть, — улыбнулась я и, высвободившись из объятий харлекина, потянула за дверь, намереваясь ее закрыть. — Ваше предложение отклонено. Мы и сами как-нибудь зиму переживем.

— Спелись, — тихо, очень тихо и как-то грустно произнес вампир. — Чаран, тебя не раз предупреждали, но сейчас твоя наглость перешла все мыслимые пределы. Полсотни человек слишком много для вас двоих. Вам придется поделиться с нашей общиной, иначе мы возьмем желаемое силой.

Где-то вдалеке глухо зазвучал колокол. Густой, пробирающий до костей звук, размеренные, редкие удары.

Раз, два...

Недолгая тишина, из которой проступил нарастающий, тревожный шум. Шелест сотен крыльев, будто бы колокольный звон согнал с крыш огромную, невидимую в кромешной тьме осенней ночи птичью стаю.

Зашипела, обнажив острые длинные клыки, вампирья «невеста», бросилась вперед, всем телом ударившись о невидимую преграду. От удара по дверному косяку зазмеились тонкие трещины, но белая линия, нарисованная мелом вдоль порога, осталась невредимой.

— Я же говорил — придется делиться. Не с нами, так с теми, кто не понимает иного языка, кроме силы. Соглашайтесь, пока не поздно. — Вампир скользнул на шаг назад от порога, а потом вдруг растворился во мгле, в шелесте невидимых крыльев. Я даже моргнуть не успела, как он пропал, словно его кто-то с огромной силой дернул вверх за невидимые веревки.

— Поднимай своих! — Искра толкнул меня в дом, подальше от широко распахнутой двери. — Буди всех, кто еще не проснулся! Этот гад сейчас найдет лазейку, а если его впустят, то одним трупом дело не обойдется!

Харлекин обратился почти мгновенно: из дома шагнул человек, а по ту сторону порога оказалось саженное стальное чудовище... рыцарь в доспехах, чью спину заметала грива звенящих при каждом движении железных спиц. Запахло свежестью, как после грозы, и лишь тогда я очнулась, побежала на жилой этаж, успев схватить лирхин посох, стоявший при

входе в Ровину каморку. Из соседней комнаты уже выскочил взлохмаченный конокрад в просторной рубахе навыпуск, босой, зато с тяжелым длинным ножом в руках.

— Михей, — я на бегу махнула ему рукой, указывая на лестницу, ведущую на второй этаж, у которой уже толпились сонные, ничего не понимающие женщины с не вовремя разбуженными и от того особенно громко плачущими младенцами, — собирай всех вниз, подальше от окон! Если вампира впустим...

Он не стал дослушивать, в три прыжка одолел недлинную лестницу и скрылся на жилом этаже. Захлопали двери, зазвучали сонные голоса... а потом посох лирхи в моих руках ожил, дернулся из стороны в сторону — и потащил за собой в самый дальний закуток дома, туда, где расположились наши кухарки со своими детьми. Я сначала пробовала упираться, а потом глянула шассыми глазами и побежала во весь дух.

Были бы крылья — я бы и лететь попыталась, лишь бы успеть побыстрее туда, где клоками черного марева во все стороны расплзлось вампирье чарование, где бездна вещала сладким, повелевающим голосом, пронизывающим от макушки до пяток, заставляющим трепетать в предвкушении чего-то порочного, темного, желанного в самом тайном уголке души.

Дверь распахнулась, и я оказалась перед огромной паутиной, кроваво-красными нитями затянувшей небольшую комнатку, где спали женщины. Пять коконов, к которым тянулись тонкие, но прочные нити, пять человек, попавшихся в ловушку вампира, балансирующего за окном на узком подоконнике. Ставни распахнуты настежь, и неживое создание, сгусток непроницаемой тьмы, уродливое угольно-черное пятно среди многоцветия живого мира, дернуло за одну из паутинок своей воли тонкой рукой с длинными пальцами, заставляя совсем молоденькую еще девушку подойти к окну. Внушая ей приказ, который ромалийка слышала как страстную мольбу, обещавшую все, что только душа и тело попросят, и даже сверх того. В обмен на одну-единственную услугу, пустяковую на первый взгляд.

Нужно было всего лишь пригласить вампира в дом, сделав его желанным гостем, от которого не смогут защитить лирхины обереги — только если пригласившая отменит разрешение на вход. Но если она погибнет... Отменять будет некому, и лазейка так и не закроется, позволяя нежити кормиться в этом доме до тех пор, пока ее не убьют или же пока здесь не останется живых людей.

— С-с-стой! — Я шагнула вперед, в комнату, и алая паутина, упорно липнущая к моей коже и волосам, бессильно опала, сгнила прежде, чем успела прочно закрепиться, подчинив шепчущему голосу.

Лирхин посох в моей руке сиял травянистой зеленью, обращающей красные нити вампирьей воли в выгоревшие, не имеющие силы струны, которые рассыпались прахом, стоило мне до них дотронуться.

— Быть не может! — Угольное пятно с алой искрой на месте сердца хрипло, скрежещуще рассмеялось, одним движением подтягивая к себе девушку и прижимаясь щекой к ее шее. — Змеедева в Загряде! Да еще и управляющая силой ромалийских ведьм! Теперь понятно, почему ты не согласилась делиться, почему заупрямилась, прикрываясь наивностью и глупостью. Стой на месте, не двигайся, иначе я на твоих глазах сделаю из этой девочки еще одну «невесту». Ее тогда только осиновым колом в сердце вылечить можно будет. Солнечный свет, впрочем, тоже неплохо сгодится: с похоронами возиться не придется, ветер все развеет...

Я уже не слушала его. Я плела заклятие.

Из хрупкого росточка так и не расцветшей любви ромалийки Рады, из лютой ненависти к светлокосой дудочнице, что лежала навзничь на дне лекарской телеги, из трепета перед разноглазым змееловом с помощью посоха-веретена я свивала тугую колдовскую нить. Алую паутину затягивало в эту вязь, сминало и изменяло, окрашивало в серебро и зелень...

Я уже не часть Полотна, имя которому — Мир, я та, кто медной иглой и серебряной нитью штопает прорехи, кто свивается в тугое кольцо, сверкая чешуей, золотой, усыпанной алмазным крошевом, украшенной тончайшим кованым узором. Наши боги подарили шассам возможность обернуться любым существом, сохраняя себя лишь для того, чтобы род змеелюдов оберегал равновесие, укреплял основу, поддерживающую этот мир. Боги Тхалисса соткали Полотно, переплетение нитей, которое видит каждая шасса с рождения, украсили его бесчисленными узорами, каждый из которых стал живым существом, и передали зрячим детям своим великое бремя — поддерживать Полотно в сохранности.

Оказалось, что ромалийские лирхи занимались тем же...

Я задела сияющим посохом невидимую ранее нить, тонкую, но прочную, как канат, свитый из стальной проволоки, гибкую и упругую, и ощутила, как где-то далеко встрепенулась вампирья «кукла», выпуская из тонких, хрупких на вид пальчиков оторванный кусок Искровой брони.

«Невеста» облизнулась, и я ощутила на кончике языка вкус крови. Не моей, не человеческой и не шассей, гораздо более густой, пахнувшей железной окалиной, жаркой и тягучей. В глазах у меня потемнело, в горле образовался плотный ледяной ком, который было невозможно ни проглотить, ни выплюнуть. Запах крови харлекина, пролитой где-то на улицах Загряды, забивал ноздри, не давал дышать, мне чудилось, будто это мои руки покрыты темной, быстро подсыхающей лаковой корочкой, что это я наслаждаюсь болью противника, которого раньше никак не удавалось достать. Потому что раньше это ненавистное вампиру стальное чудовище, беспрепятственно охотившееся что днем, что ночью, не оглядывалось на мелочи вроде возможных пострадавших и принимало бой где угодно, а то и вовсе сбегало от схватки на освященную землю, что жгла ноги раскаленными углями. А сейчас харлекин кружил неподалеку, не позволяя ни «кукле», ни согнанной кем-то с насеста горгульей стае приблизиться к опутанному заклятиями дому, и, естественно, проигрывал...

Искра, который принес мне в начале зимы белое облачко-хризантему...

Который нес на руках Ровину, пока я ковыляла на два шага позади, едва держась на ногах от слабости и усталости...

И который сейчас истекал темной кровью, прислонившись изуродованным плечом к каменной стене только потому, что счел нужным дать мне возможность защитить своих.

Когда-нибудь у каждого появляется то, что не хочется терять ни при каких обстоятельствах. Теперь есть и у меня.

Я рванула чешуйчатой рукой невидимую пуповину, соединявшую вампира с его «невестой», ощущая, как рушится связь, как «кукла» замирает и падает на мостовую с тихим плачем, окончательно утратив подобие разума. Зашипела, отбрасывая в сторону ставший ненужным посох, и метнулась к вампиру, застывшему в оконном проеме, с одной-единственной мыслью — погасить, уничтожить слабо мерцающую искорку не-жизни, трепещущую в глубине его тела. Пока не прошло остолбенение от внезапно оборванной связи с «куклой», давно ставшей неотъемлемой частью вампира, пока он не скользнул за окно, сделавшись для меня недостижимым, пока не воспользовался очнувшейся от чарования

девчонкой как живым щитом...

Что-то просвистело над моей головой и со звоном разбилось о ставенную раму, заливая вампира прозрачной, едва заметно светящейся жидкостью. В воздухе запахло тленом и горящими тряпками, нежить взвыла, раздирая лицо когтями, и пропала, будто разом растворившись в воздухе. Кто-то перехватил меня под грудь, оторвал от пола, не давая дотянуться до стремительно удаляющейся красноватой искорки, встряхнул так, что перед глазами все слилось в мешанину цветных пятен.

— Мийка, куда собралась?! Брось, дура, прогнали кровососа, прогнали уже! Водица заговоренная, она всегда безотказно на умертвил действует! Все целы, все на месте! Да куда ж ты рвешься-то, ненормальная?!

Я узнала голос Михея, услышала топот приближающихся шагов за дверью, и в этот момент конокрад набросил мне на голову тяжелое душное одеяло, скрывшее меня от макушки и почти до пяток.

— Не вырывайся, а то не посмотрю, что лирха будущая, самолично отшлепаю. Прячь чешую, пока не поздно, за весь табор я не в ответе.

— Там Искра! — Я кое-как высвободила лицо, глянула на Михея снизу вверх. — Он ранен, потому что старался увести беду подальше. Если не хочешь помогать, хотя бы не мешай.

— Знаешь, где он?

В груди тихонько заворочалось раздраженное шипение. Конечно, знаю! Харлекина я сейчас чуяла, как иглу в затылке, которая болезненно вонзалась все глубже с каждым Искровым вдохом, сделанным через силу. Чуяла — и точно знала, куда бежать, словно меня насадили на эту иглу, как стрелку компаса, указывающую на раненое стальное чудовище.

— Тогда веди. Только оденься сначала, а я лошадь с волокушей возьму. Если дружок твой хоть немного в вашу породу удался, вдвоем не дотащим, надорвемся только.

Прозрачные, как янтарь, хитрые лисьи глаза на юном, по-женски миловидном лице. Низкий, рокочущий голос, совершенно не вяжущийся с образом молодого повесы, таскающегося за женскими юбками и ворующего цветы из городской оранжереи... Искра, куда же тебя понесло, горе ты мое луковое? На кой ляд ты ввязался в драку с вампирьей «куклой», да еще когда над головой, подобно стервятникам, кружат каменные горгульи? Что сотворилось в твоей голове с того дня, как в мою ладонь едва не выскользнул обвитый ржавой кровяной сетью желтый топаз, тот самый, что я силилась прорастить в глубине шассьего каменного сада?

Когда-то давно, в далеком детстве, ромалийка Рада слышала сказку о железном рыцаре, сильном и беспощадном, идущем в бой по велению своего князя, и о молодой ведунье, своими руками вложившей в могучую железную грудь еще живое человеческое сердце умирающего возлюбленного. О том, как рыцарь, в единый миг научившийся состраданию, любви и преданности, остановил войну в надежде, что ведунья, смотревшая в его бесстрастное прежде лицо с ненавистью, смилостивится, простит и позволит дотронуться до себя с лаской и любовью. Только вот жаркое человеческое сердце не смогло согреть холодных железных рук, не добавило живости той прекрасной маске, что служила рыцарю лицом, не растопило ледяную корку, сковавшую душу «зрячей» женщины. В отчаянии, испытывая постоянную боль в дареном сердце, рыцарь поклялся, что остановит кровавого князя и вернется, неся с собой весть о мире...

После этой клятвы сказка в устах разных людей звучала по-своему. Кто-то заканчивал



историю словами о том, что рыцарь все-таки достиг своей цели, вернулся к ведунье, подарившей ему сердце, и сумел добиться взаимности, кто-то добавлял, что это счастливое событие произошло, когда каштановые волосы «зрячей» стали серебряными от седины, но были и такие, кто говорил, что рыцарь сумел исполнить обещание лишь над могильной плитой возлюбленной.

Неужели укоренившийся в груди Искры «змеиный камень» стал тем самым сердцем, что заставило харлекина забыть о себе и защищать тех, кто раньше был всего лишь пищей, средством для восстановления человеческого облика? А ведь сейчас Искра превращается в человека почти так же легко, как я возвращаю себе частицы шассьего облика, даже еще легче, и ему не нужна для этого жертва.

А вдруг... для полного превращения жертва не нужна и мне?

Невидимая игла вонзилась глубже, да так сильно, что я невольно охнула, схватилась рукой за шею, блеснув отслаивающейся золоченой чешуей в неярком оранжевом свете фонаря, висящего под притолкой.

— Ты чего? — Михей поспешно ухватил меня за запястье, накрыв чешую широким рукавом рубашки, и потянул за собой, на ходу отмахиваясь от желающих поблагодарить лирхину ученицу за спасение.

— Плохо ему. — Я потрянула головой, разгоняя белесую муть перед глазами. — И становится только хуже.

— Успеем. — Конокрад на ходу сдернул с крючка теплый кафтан, сунул ноги в добротные сапоги и распахнул дверь настежь. — Ромалийцы долги всегда сполна отдают. Даже нелюдям.

Люди первыми придумали поговорку: «Не делай добра, и не будет тебе зла». Мудрое и, что прискорбно, часто подтверждаемое на практике высказывание. Если бы не ярко вспыхнувшее желание уберечь так доверчиво прижимавшуюся к нему во сне Змейку, Искра бы не только не полез на рожон к вампирьей «кукле», он бы еще и посоветовал девчонке согласиться на «выгодное» предложение.

Харлекин шевельнулся, и это почти незаметное движение всколыхнуло в глубине его тела вязкую муть, именуемую болью. Казалось, болело абсолютно все, даже то, что болеть в принципе не может, — конструкция не предусматривала. Попытка открыть глаза привела к сильному головокружению, а оно, в свою очередь, — к мерзкой, поднимающейся к горлу тошноте. Значит, по непонятной пока причине он почему-то отлеживается после ранения не в более совершенной, способной к быстрому восстановлению металлической форме, а в слабой и весьма чувствительной к повреждениям человеческой оболочке. Мало того что человеческое тело восстанавливается хуже и медленней, так еще имеет такие недостатки, как, например, чувство жажды.

Искра глубоко вздохнул, закашлялся и машинально слизнул с губ теплую соленую жидкость с хорошо знакомым металлическим привкусом. Тотчас кто-то приподнял его голову, и в горло потекла кисловатая прохладная влага, моментально утолившая жажду и унявшая тошноту в желудке.

— Поди-ка живой еще?! — с веселым удивлением произнес звучный мужской голос. — А мы уж тебя хоронить думали. Как здоровычко?

Голос был смутно знаком харлекину. Кажется, именно его он слышал за дверью ромалийской ведьмы, пока Змейка выхаживала свою обессиленную наставницу. Был там рослый такой мужик, борода уже на две трети седая, а сил и ловкости побольше, чем у молодого. Он и белье чистое подносил, и ведьму обтирать помогал после того, как лихорадка отступила, да и Змейка постоянно звала его на помощь, когда сама путалась среди множества горшочков со снадобьями и похожих друг на друга веничков из лечебных трав. Неопытная еще, неумелая молоденькая шасса возилась с ромалийкой, как с родной матерью, еще и его самого гоняла нещадно, будто не харлекина, а схваченного за ухо мальчишку, слоняющегося без дела.

И самое страшное, что Искре это понравилось.

Понравилось быть частью этой деловитой суеты, частью жизни, где для каждого найдется свое место, где каждому в свое время окажут посильную помощь. Понравилось, как лицо его Змейки озарялось робкой благодарной улыбкой, когда обнаруживалось, что поручение выполнено вдвое быстрее ожидаемого, и выполнено хорошо, правильно.

«На совесть», — сказал тогда тот самый бородатый мужик, имя которого Искра запомнил далеко не сразу. Смешно, право слово. Откуда у металлического харлекина, оборотня, живущего за счет людской плоти и крови, такое странное качество, как совесть? Ее и не у каждого человека-то встретишь...

— Не дождетесь. — Искра осторожно приподнялся на локте, а потом медленно сел, проигнорировав помощь ромалийца. Боль раскаленными зубами вгрызлась в правое плечо, стрельнула в руку, плотно приоттанную к телу, и неохотно затихла. — Змейка где?

— Это Мия, что ли? Так вон она, спит.

Чуть в стороне, на куче соломы, действительно лежало нечто, завернутое в одеяло так, что признать в нем шассу удалось лишь по тонкой руке с бледно-розовыми пятнами от сошедшей чешуи на смуглой коже и еще по серебряному браслету, увешанному бубенцами. Лицо девушка прятала в сгибе локтя, в растрепанных черных кудрях запутались соломинки, а из-под нижнего края одеяла выглядывали маленькие ступни с длинными пальцами. Харлекин невольно улыбнулся, потянулся к шассе здоровой рукой, чтобы убрать из ее волос золотистые стебельки, но ромалиец торопливо перехватил его запястье, не давая притронуться к девушке.

— Оставь ее, она только полчаса, как заснула. Мало ей возни с Ровининой лихорадкой было, так еще и тебя выхаживать пришлось. Не буди девочку, дай отдохнуть, хватит с нее на сегодня. — Михей — Искра наконец-то вспомнил его имя — тяжело опустился на ворох соломы, покрытый овчинным тулупом, задумчиво огладил коротко остриженную седую бороду. — Что произошло? Тебя так измолотили, словно не с вампирьей «невестой» дрался, а с каменным драконом, у которого пасть пошире дверного проема будет.

Ромалиец сунул руку в солому, пошарил там и выудил на свет потолочного масляного фонаря покореженный кусок металла с острыми зазубренными краями, изуродовавшими некогда гладкую стальную пластину. Кусок брони харлекина, безжалостно отодранный от тела и почти разорванный пополам с силой, которая не снилась вампирьей «кукле».

— Кто тебя так? — Глаза ромалийца были на удивление серьезны. — Чаранов вроде тебя нелегко повредить, слишком мало у вас незащищенных мест, которые только железным колом и проткнешь. Бывало, на вашей броне появлялись царапины и дыры, но ни разу я не видел, чтобы у кого-то хватило сил оторвать защитную пластину и порвать ее, как бумагу. Когда мы тебя нашли, ты выглядел так, будто бы побывал в чьей-то огромной пасти — вмятины, неровные дыры, правая рука едва ли не оторвана от плеча. Умертвию такое не под силу. — Михей сунул искореженный кусок брони обратно в солому и подался вперед, заглядывая в слабо мерцающие в полумраке глаза Искры. — Что тебя поломало настолько, что Ясмия всерьез испугалась за твою жизнь?

— Поломало, говоришь?..

Искра осторожно провел кончиками пальцев по бинтам, туго стянувшим ребра, по полоскам ткани, остро пахнущим травами, которыми надежно зафиксировали правое плечо. Странно, что он вообще жив остался, после такого-то...

— Бес его знает, Михей. — Харлекин вздохнул, входя в роль простого парня, откинул одеяло и принялся изучать перебинтованные бедра. Странно, что ничего не сломано. Кое-где сквозь бинты проступили пятна крови, глухая боль не унималась ни на секунду, но серьезных повреждений попросту не обнаружилось, а должны были бы быть. А это означает, что либо у него сбоит система оценки физиологического состояния, либо он уже успел исцелиться. Первое маловероятно, второе почти невозможно, учитывая короткие сроки и полученные раны. — Я даже не понял, что это было. Но поскольку я здесь живу уже не один год и ни с чем подобным раньше не сталкивался... Уезжать вам надо, пока дорогу не замело. Может, еще успеете.

— Не успеем уже. — Ромалиец охлопал себя по поясу и вытянул тонкую длинную трубку и кисет с табаком. — Ты третий день на этом сеновале отлеживаешься, за это время за окном снегу по щиколотку намело, а к вечеру еще больше будет. Куда ехать по такой погоде? Только людей губить, с нами ведь и женщины, и дети, и старики. Лирха еще не окрепла, не сможет нас по берегиньей дороге к надежному зимовью вывести, а без нее

табор, как есть, в пурге сгинет. Только и остается, что надеяться на удачу здесь.

На удачу? В этом проклятом городе?

Искра криво улыбнулся и осторожно подвинулся ближе к спящей шассе. Улегся на спину так, чтобы не бередить наиболее серьезно пострадавшее плечо, кончиками пальцев притронулся к бледно-розовым, будто обожженным пальцам Змейки.

Самое лучшее, что он был в состоянии для нее сделать, — это завернуть в тулуп и унести из города побыстрее. Днем или ночью, не скрывая истинного облика, не спускаясь на мостовую, которая в любой момент может обернуться страшными каменными челюстями, способными даже харлекина перемолоть в груды железного хлама. Унести подальше, ведь ему не страшен ни холод, ни пурга, а голод придется перетерпеть. До ближайшей деревни — два дня пути, хотя если постараться, можно добраться и за сутки. Все лучше, чем оставаться здесь, рискуя в любой момент быть поглощенным Загрядой.

Точнее, живущей под ней сущностью.

Проснулась та самая Госпожа, которой вампирья община страшит всех непокорных, всех, кто не хочет делиться человеческим «кормом» и нарушает границы «охотничьих угодий», проснулась — и возжелала плоти. Неважно, чьей — человеческой ли, вампирьей или харлекиньей. Сгодится любая жизнь, какой бы слабой она ни была. Искре еще повезло: капкан из каменных челюстей захлопнулся недостаточно сильно, и ему удалось выбраться, но вот несколько особо нетерпеливым и жадным горгульям, спустившимся поближе к земле в расчете на легкую поживу, повезло куда как меньше. Их смолотило в два счета: просто из провала, куда едва не затянуло Искру, выскользнул десяток зеленоватых щупалец, которые утащили за собой воющих от страха существ. Несколько секунд возни — и каменные челюсти сомкнулись, оборвав крики, а мостовая выровнялась, став еще более гладкой, чем днем.

Только бы вампир, утративший возлюбленную «куклу», внезапно превратившуюся в безумное, пускающее слюни и стремительно разлагающееся умертвие, не натравил свою общину на ромалийское зимовье. Ведь Змейку тогда не удержишь в наглухо запертом и защищенном от нежити подвале, обязательно захочет показать не только зубы и чешую, но еще и силу ромалийской ведьмы, которую вампиры почему-то на дух не переносят и ненавидят так же люто, как солнечный свет. И тогда в качестве откупа дудочникам, уже наверняка вызванным в Загряду градоправителем, отдадут не нагловатого харлекина, долгое время стоявшего поперек глотки у разумной нежити, а молоденькую шассу, которую от железных шестигранных кольев и костра не спасет ни ведьмовство, ни бронзовая чешуя.

Девушка вздрогнула и приоткрыла глаза. Золотые, с узкой щелью змеиного зрачка. Сладко зевнула и придвинулась теснее к теплому Искрову боку, положив маленькую, хрупкую ладошку ему на грудь, скрытую под тугими повязками. Глухая боль, неустанно дергающая заживающие раны, начала медленно гаснуть, пока не отступила совсем.

Харлекин глубоко вздохнул и осторожно прижал к себе шассу здоровой рукой. Сначала прийти в норму, а потом выкрасть Змейку из табора и вынести из Загряды хоть в мешке, хоть на руках. Только не забыть ей рот завязать, чтобы не возмущалась, не просила и уж тем более — не приказывала отпустить ее. Потому что послушаться прямого приказа он не осмелится, а оставить свою золотую богиню погибать в грязи и смраде проклятого города уже невозможно.

Легче стать откупной жертвой дудочникам...

Чужое горячее тепло скользит по замерзшему плечу, отгоняет безликих призраков, что к любому человеку могут прийти в глубоком, беспокойном сне. Пахнет свежей соломой, горящим маслом и отваром, унимающим лихорадку. В соседнем помещении изредка стучат о деревянный пол подкованные копыта — конюшню от сеновала отделяет тонкая перегородка из неаккуратно сколоченных ошкуренных досок. Когда мы вдвоем с Михеем едва-едва втащили сюда Искру, стремительно перетекавшего из облика в облик, я боялась, что почуявшие кровь и живой металл лошади все-таки выбьют дверцы стойла и нам придется еще и их по всей Загряде отлавливать.

Обошлось.

Грубоватый, острый на язык и скорый на дело конокрад каким-то чудом усмирил перепуганных лошадей, разговаривая с ними ласковым, почти нежным, тихим голосом и насвистывая мелодию, от которой даже мне стало спокойней. Настолько, что я перестала с остервенением драть на Искре те немногие одежды, в которые мы завернули харлекина еще по дороге к дому, и вспомнила про небольшой нож, висевший на поясе.

А под одеждой там было... Мама дорогая!

Пока харлекин сохранял облик почти неподъемного стального чудовища, его разодранные латы, из-под которых выглядывали тонкие красноватые волокна металлических жил, еще не пугали меня, но стоило ему обратиться в человека...

Там, на узкой грязной мостовой, даже я не то взвыла, не то зашипела от ужаса, срывая с себя теплый платок из шерстяного полотна и сию же минуту останавливаясь с его помощью фонтан крови, вырвавшийся из наиболее глубокой раны на теле Искры. Вот так неожиданно потускневший металл обращается в живую плоть, и сразу же на этой плоти расцветают кровавые цветы и струятся обжигающе-горячие ручьи, заливающие руки до локтей.

Лошадь испуганно храпит, учуяв кровь, ромалиец ведет ее под уздцы, о чем-то еле слышно разговаривает не то сам с собой, не то с порывающимся идти быстрее животным, а за медленно скользящей по наледи волокушей тянется кажущийся черным след...

Страшно. Впервые не за себя — за жизнь, трепещущую в чешуйчатых ладонях, которая отчаянно борется за то, чтобы не покинуть остывающее тело вслед за кровью. Я понимаю, что разговариваю с Искрой, почти как Михей с перепуганной лошадью, только мой голос дрожит от холода и подступающих к горлу слез, а у ромалийца он по-прежнему невозмутимый, звучный и ровный. Понимаю, насколько это глупо, но почему-то боюсь замолчать и услышать в ответ мертвую тишину.

Остановка.

Пинком распахнутая дверь, негромкие матерки конокрада, когда тот, крякнув от натуги, пытается затащить харлекина в дверной проем, поближе к теплу. Но стоит Михею переправить раненого через порог, как Искрово тело выгибается дугой и на две трети оказывается сделанным из металла. Забрызганное крохотными бисеринками крови лицо, шея и левое плечо остались человеческими, а все остальное обратилось в переплетение стальных витых жил и тусклых лат. Сразу перестала кровить страшная рана там, где правая рука оказалась почти оторвана от плеча чьей-то невиданной силой, с тихим звоном крученые железные нити начали заполнять дыру с неровными краями, приращивая конечность...

Дзинь... Дзинь...

Будто кто-то за невидимую струну дергает. То сильнее, то слабее.

Сколько я не спала, карауля хрупкую Искрову жизнь, тускло мерцающую в ярко-желтом

топазе, опутанном золотыми нитями? Сутки? Двое? Трудно сказать — сквозь крохотные оконца, закрытые ставенками по случаю зимы, солнечный свет не проникал. А как еще судить об ушедшем времени? По усталости? Так она, казалось, и не покидала меня вовсе.

Михей приносил пищу, бинты и отвары целебных трав, спрошенных у Ровины. Благодаря ему на сеновале появилась чистая одежда, деревянные ведра с горячей водой и ветхие, но еще годные теплые одеяла. Без ромалийца я так и сидела бы подле Искры, залитая высохшей кровью, обернувшей руки и грудь ржавыми цепями, держала бы чешуйчатые ладони поверх «змеинового камня» с одной-единственной мыслью: «Живи!» И не было бы мне дела ни до кого, кто мог бы зайти в наше убежище, несмотря на усиливающуюся вьюгу, раненым волком воющую под крышей.

Я заснула лишь после того, как Искра в очередной раз сменил облик и его раны оказались почти зажившими, покрытыми тонкими корочками-струпьями. Всего-то делов — сменить повязки, укутать раненого потеплее и упасть на покрытую старым тулупом соломенную кучу, моментально забываясь чутким сном, который стал намного крепче, стоило мне разобрать сквозь дрему голос Михея-конокрада.

Тепло ползет вверх, по шее, оставляя на коже жаркий, хорошо ощутимый след, скользит по линии подбородка, Щекочет губы. Запах крови и нагретого металла слабеет, сменяется на запах пота, человеческого тела, пробивающийся сквозь резкий травяной аромат.

— Змейка...

Хриплый, рокочущий голос, который я узнала даже сквозь сон. Очнулся? Уже? Или это я надолго заснула?

Я вздрогнула, открывая глаза и сразу же натыкаясь на неожиданно серьезный лисий взгляд на узком лице, всю смешливость и наглость с которого словно полотенцем стерли. Четко очерченные губы поджаты, тонкие коричневые брови нахмурены так, что на переносице образовалась заметная вертикальная складка, а под глазами залегли густые тени, делающие харлекина похожим на мертвое. Искра полулежал на соломенной куче, накрытой одеялом, правая рука по-прежнему примотана к груди, левая, менее пострадавшая, осторожно перебирала мои волосы.

— Ты все время была рядом. — Изящные пальцы с обломанными ногтями легонько царапнули мой затылок. — А могла бы бросить.

— Умирать в подворотне?

Харлекин рассмеялся. Глухо, отрывисто, содрогаюсь всем телом.

— Что смешного?

Искра небрежно стряхнул меня со своего плеча на солому. Острые высохшие травинки моментально закололи затылок и плечи, забились в волосы, щекоча кожу тупыми ломкими иголочками. Я ойкнула, а в следующую секунду харлекин уже нависал надо мной, опираясь на здоровую руку, по локоть утонувшую в шуршащем золотом ворохе. Спутанные рыжие волосы, не прибранные в хвост или косу, тонкими прядками спускались по обе стороны худощавого тела — будто живой, теплый, ласковый огонь, кинжальные языки пламени, трепещущие на ветру. Захотелось ухватить этот огонь в обе ладони, зарыться в него лицом и уловить аромат лета, походного костра посреди некошеного луга, печенной в углях картошки и послегрозовой свежести.

— У харлекинов слишком большой запас прочности. — Искра наклонился ниже, так, что широкая рыжая прядь, соскользнувшая по плечу, легонько огладила мою кожу самым кончиком. — Подобные раны меня не убьют.

— Это тебя вампирья «невеста» так лихо отделала? — поинтересовалась я, пытаюсь выбраться из-под харлекина, чтобы вытряхнуть соломинки, забившиеся под блузу и раздражающие непривычно нежные и чувствительные места.

— Нет, что ты, — он широко улыбнулся, наклонился и легонечко коснулся губами моего подбородка, — у этой дамы пункты гениальности закончились отнюдь не благодаря моим усилиям и еще до этого неприятного происшествия.

— Что закончилось? — Я все-таки выбралась из-под Искры, села и стянула через голову яркую женскую рубашку, торопливо вытряхивая набившиеся под одежду соломинки. Хорошо было бы еще и юбки перетряхнуть, но как подумаю о том, что эти присборенные на поясе круги ткани с дыркой посередине придется заново надевать и подпоясывать... Само перетряхнет, достаточно пару раз сбегать в зимовье за чистыми бинтами для Искры и хоть какой-нибудь пищей для нас обоих.

— Разум у нее закончился. Совсем. Видимо, «кукла» каким-то образом утратила связь с хозяином, и результат оказался весьма плачевен. — Харлекин выпрямился, склонил голову набок и вдруг выхватил блузку из моих рук, пряча ее за спину. — И кстати, от зрелища, которое ты демонстрируешь, я тоже готов расстаться с разумом... Ненадолго и совершенно добровольно.

— Шутишь? — Я потянулась за одеждой. — Отдай.

— Разве похоже, что я шучу?

Насмешливый, чуточку грубоватый Искров голос стал ниже, басовито загудел, как перетянутая струна. С громким треском разошлись пропитанные лечебным отваром бинты, удерживавшие едва не оторванную правую руку плотно прижатой к телу, узором-чешуей заблестел в тусклом свете масляного фонаря полированный металл. Харлекин с наслаждением потянулся, тихо зазвенели, ударяясь друг о друга, железные когти на кончиках пальцев. От ужаснувшей меня раны, на которую и смотреть-то было больно, не осталось и следа.

Искра наклонился так близко, что я ощутила на щеке горячее, сбитое дыхание, спутанные волосы зашевелили лицо и шею, прохладная, тяжелая железная ладонь легла мне на горло, едва ощутимо сжалась.

— Я мог бы раздавить тебе горло одним движением, а ты все равно не боишься, выхаживаешь меня, не жалея сил. Мог бы перебить весь твой табор за одну ночь...

— А вместо этого рискуешь своей жизнью, спасая нас?

— Не вас. Плевать мне на ромалийцев, пусть хоть все скопом тут сгинут. — Металлическая ладонь скользнула ниже, огладила грудь, живот и остановилась на туго затянутом поясе юбки. — Спасая тебя. Пойдешь со мной? Я уведу тебя далеко отсюда, туда, где на тебя никто не посмотрит с подозрением, в место, куда змееловам не дотянуться и не пройти. Здесь опасно, понимаешь? То, что едва не оторвало мне правую руку и чуть не превратило в груды мятого железа... оно проснулось и никого не оставит в покое. Особенно тех, кто не желает жить по правилам, навязанным Госпожой.

— Искра... ты вообще о чем?

— Не знаю, Змейка. И знать не хочу. — Он глубоко вздохнул, потерся щекой о мою шею. — Но даже не стоит пытаться с ним справиться. Оно постепенно просыпается и, боюсь, сожрет весь твой табор, как только осознает, что вы — слишком вольные люди, чтобы стать неотъемлемой частью Загряды. Всех я не выведу, но тебя одну — могу попытаться.

Фонарь под потолком мигнул и погас, оставив нас в сером полумраке.

— Искра?

Он недовольно шикнул на меня, медленно, бесшумно поднялся на четвереньки и низко склонил голову так, что примятый соломенный ворох почти коснулся его щеки.

Стальная рука осторожно, почти нежно разгребла солому и легла на каменный пол.

— Иди сюда. Только тихо.

Я послушно сползла с кучи и перебралась поближе к Искре, положив ладони на холодный камень. И сразу же ощутила, как он мелко подрагивает, будто в такт биению огромного сердца, находящегося где-то глубоко под землей.

Пальцы затягивает темной, чуть светящейся в темноте чешуей, острые золотистые коготки погружаются в кладку, как в свежее масло. Раздвигают ее, как будто зеленую, остро пахнущую сыростью ряску на поверхности глубокого пруда с непроглядно-черной водой. Что там, в глубине? На самом дне?

Земля медленно тает пред моими глазами, обращаясь в стекло, в воду. Слой истощенной, неспособной плодоносить почвы, прошитой сетью канализационных труб, сменяется пустотой. Лабиринтом из тесных каменных туннелей, где-то облагороженных человеком, а где-то пробитых водой. Старое, пересохшее русло подземной реки плавно перетекает в рукотворное подземелье, построенное задолго до моего рождения.

Пласты породы идут внахлест, будто шассья чешуя, изгибаются, создавая причудливый рисунок на потолках и стенах пещер, соединенных меж собой узкими лазами-червоточинами. Воздух спертый, сухой, пропитанный пылью и древностью. И где-то там, в глубине, сонно и лениво ворочается нечто, чему у меня не находится названия. Я вижу его, но не как безлунную тьму, свойственную нежити, а как едва заметно светящуюся зеленью гигантскую грибницу, разросшуюся так широко, насколько хватает взгляда. Конца и края нет этому живому полю, этой огромной, хаотично сплетенной паутине, состоящей из мириад нитей — и тонких, как волосок, и столь толстых, что поначалу я приняла их за упавшие столбы, перегородившие выходы из туннелей в небольшие пещерки...

Живое!

Осознание этой простой истины лютым холодом окатило сердце, раскаленным железным прутком огрело по спине. Так резко и больно, что я шарахнулась от моментально потемневшего и переставшего быть прозрачным каменного пола, обняла себя за колени и тихонько зашипела, раскачиваясь вперед-назад, как полоумная. Как лирха Ровина, всю жизнь водившая ромалийский табор по славенским дорогам, могла не заметить такое? Зачем ее сила, указывающая верный и наиболее безопасный путь, привела нас сюда, где под ногами медленно ворочается существо подобных размеров и мощи?

Тепло обнимающих меня рук, живых, не железных, к которым я потянулась, как к спасительной веревке. Тихий, рокошущий голос харлекина, уговаривающий меня бежать из Загряды как можно быстрее, пока нечто, спящее под городом, окончательно не проснулось и не осознало, что ему нужна пища. Много пищи.

Я почти согласилась, почти позволила охватившему меня страху решать за меня, ведь даже змееловы-дудочники, начисто вырезавшие мое родовое гнездо, пугали меня куда как меньше, чем мельком увиденное создание, прочно сросшееся своими корешками-щупальцами с городом на поверхности. Людей хотя бы можно обмануть или, в крайнем случае, убить, а вот от этого нечто можно лишь попытаться убежать как можно дальше, не тратя драгоценного времени на то, чтобы обернуться назад.



— Стоит вас ненадолго оставить, а вы уже непотребствами занимаетесь. — Голос конокрада, невесть откуда возникшего в дверях сеновала, был непривычно строг и недоволен. — Мийка, раз уж твой подопечный оклемался настолько, что лезет тебе под юбку, то в уходе он больше не нуждается. А если так, то бегом к Ровине: ей есть что сказать, второй день тебя ждет.

— Бегом не получится, — пробормотала я, наблюдая за тем, как отслаивается с рук плотная блестящая чешуя. Минут пять подождать — и слезет перчаткой, как высохшая шкурка во время ежегодной линьки. К тому времени, надеюсь, и коленки дрожать перестанут, и страх от увиденного уляжется настолько, что я перестану с ужасом смотреть под ноги, ожидая, что в любой момент из щелей меж булыжников мостовой выползут гибкие зеленые корешки. — А что стряслось-то?

— Девчонка, что вампир за окно тянул, превращается в умертвие. Успел он ее укусить, неглубоко, но все-таки успел. — Михей поднял на меня тяжелый взгляд. — А лирхины снадобья от вампирьего укуса не спасают, только оттягивают неизбежное. Если и ты ничем не поможешь...

Дальше я уже не слушала, торопливо натягивая через голову потрепанную блузку. Если и я не помогу, что тогда? Боюсь, у меня не хватит духу провести обряд упокоения над жертвой вампира — с положенным усекновением головы, пробиванием сердца остро заточенным осиновым колом и последующим сжиганием трупа на погребальном костре. Но если этого не сделать, на третью ночь девочка умрет, а на четвертую восстанет упырем без малейшей тени разума, обладающим лишь звериными инстинктами и мучимым жаждой крови. И если какой-нибудь вампир не сделает ее своей «невестой», очень быстро девочка начнет убивать всех без разбору, становясь все сильнее и изворотливей с каждой прожитой ночью и выпитой досуха жертвой.

Я оглянулась на Искру, который неторопливо одевался в принесенную Михеем одежду. Вот уж кто с легкостью может выполнить работу палача хоть для умертвия, хоть для человека, если попросить должным образом. Возможно, ему это даже принесет некое удовольствие, только как я потом стану смотреть в глаза ромалийцам? Ведь именно лирха, если таковая есть в таборе, является «проводником душ»: она и роды принимает, встречая новую жизнь, и ромалийца провожает в последний путь, находясь рядом с умирающим от старости, болезни или раны до самого конца. А еще на лирху возложено бремя прекращения страданий обреченного на смерть — ведь кто, как не целитель, знает, сколько отмерить снадобья, чтобы человек погрузился в крепкий сон без сновидений, плавно перетекающий в безболезненную, тихую смерть?

Скрипучая дверь приоткрылась, и я неохотно вышла из теплого помещения на улицу, которая встретила меня самой настоящей зимой. Такой, которая навсегда осталась в воспоминаниях ромалийки Рады, когда величественное белоснежное покрывало, как по волшебству, укрывало всю грязь и нечистоты больших городов, прятало до самой весны серый потрескавшийся камень мостовых, бурю черепицу крыш и ржавчину на кованых решетках. Зима украшала город бахромой из сверкающих на солнце сосуллек, разрисовывала мутные оконные стекла чудесными узорами, которые не под силу повторить самой искусной кружевнице. И не беда, что ноги беспрестанно мерзли в тонких осенних башмаках, пальцы краснели и становились негибкими и непослушными, — все эти неудобства быстро исправлял добрый огонь в очаге, согревающий протянутые к нему ладони. Запах свежего хлеба, аромат густой похлебки, душистых смолистых дров и оттаивающих в тепле еловых лап

— вот чем была памятна для Рады зима. А вовсе не лютым холодом, вымораживающим до костей, не кашлем, раздирающим грудь, и не медленной смертью от голода под ворохом одеял.

Зима, она ведь как возлюбленная — для каждого разная, своя, неповторимая. Исключение разве что в голодный год, когда ледяная красавица всем до единого показывает снежно-белый звериный оскал и вдыхает в тело предательскую ломоту и гнилой лихорадочный огонь.

Интересно, какой будет моя первая зима? Ласковой, блистающей снежными бриллиантами, теплой — или же холодной, суровой и равнодушной, как небо, затянутое облаками, что простирается у меня над головой? Неважно. Если лютый холод окончательно усыпит то, что беспокоило ворочается в подземельях под городом, я буду только рада. Дотянуть бы до весны, а там, как только дорога станет проходимой для лошадей, запряженных в фургоны, мы уберемся подальше от этого проклятого места. Не удержит нас Загряда. Как не смогли дудочники-змееловы загнать меня в тугую сеть, сплетенную из сладких песен, так и пограничному городу придется смириться с тем, что его покидают, не соблазнившись теплым домом и сытой жизнью.

Поднявшийся ветер смахнул с одной из крыш пушистую снеговую шапку, и она осыпалась мне на голову ледяной крупой, моментально попавшей за шиворот. Я взвизгнула и бегом припустила к низкому, будто бы прижавшемуся к мостовой ромалийскому зимовью, где ждали моей помощи.

В комнате Ровины царил изумительный порядок. Разворошенные узлы, заполненные юбками, расшитыми теплыми платками и узорчатыми блузами, пропали — на их месте теперь красовались объемные сундуки, придвинутые к стенам в свободных углах, коробки и ларцы с лекарствами выстроились ровными рядами на широком подоконнике. Интересно, когда тут успели прибраться? Ведь всего несколько дней назад здесь был такой бардак, что я шагу лишнего ступить не могла, чтобы не споткнуться об очередную шкатулку с оберегами или толстую книгу в тяжеленном, окованном стальными уголками переплете.

— Ну что, Ясмия, выходила свое чудовище? — негромко произнесла лирха, поднимая взгляд от разложенных на низком круглом столике тарр.

Я мельком глянула на расклад: все черным-черно от опущенных книзу мечей, а значит, не лихая беда, не тяжелая участь — сама смерть ходит где-то поблизости, ожидая, когда пересыплются последние песчинки чьей-то жизни.

— Выходила, — ответила я, усаживаясь на грубоватый вытертый коврик, брошенный на пол. — Укорять будешь?

— Нет. — С тихим костяным стуком легла на синий шелк очередная тарра. Шесть мечей, направленных острием вверх, шесть побед. Ловкие, гибкие пальцы Ровины тасуют оставшиеся пластинки с вытертым от времени вычурным узором-рубашкой. — За это не буду. Ты скажи лучше, почему не спасла Марьяну? Ту девушку, которая едва не впустила вампира в наш дом желанным гостем?

— Но ведь она была жива, когда я...

— Когда ты плела заклятие, это известно. — Ромалийка отложила в сторону тарры и взглянула на меня сурово, жестко. Так, как если бы я непростительно провинилась, не давая вампиру проникнуть в тщательно охраняемое зимовье, где расположился табор. — Ты знала, что ей успели пустить кровь? Нет? Теперь знаешь. От укуса вампира нет лекарства, что бы ни говорили легенды! Однажды укушен — все равно что мертв. И не поможет ни убийство

вампира, ни святая вода, ни колдовство! Замедлить действие вампирьего яда можно, а вот исцелить от него полностью нельзя!

Впервые на моей памяти спокойная и рассудительная лирха Ровина злилась. Впрочем, «злилась» не самое подходящее слово. Ромалийка была в ярости и, судя по всему, едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик.

— Я что, должна была позволить вампиру проникнуть в дом и подвергнуть опасности всех?

— Нет! Ты должна была хотя бы попытаться защитить Марьяну, а ты сразу перешла к танцу! И не говори мне о «меньшем зле», не бывает такого! Бывает осознанное принесение в жертву одного ради спасения многих, и бывает попытка защитить весь табор так, как будто бы он — единое целое. Ты решила, что можешь пожертвовать уже пойманной в ловушку девчонкой, решила обойтись малой кровью, чтобы убереечь всех, но для лирхи такой выбор неприемлем! Так могут поступать полководцы, нарочно проигрывающие битву, чтобы выиграть войну, неграмотные крестьяне, скармливающие чужаков и неугодных соседей нежити, чтобы та еще на пару месяцев оставила их в покое, но не ромалийцы. — Ровина резко поднялась и больно ткнула пальцем мне в лоб. — Если хочешь быть лирхой, то единственная жертва, которую ты имеешь право принести, — твоя собственная жизнь. Только ею ты можешь распоряжаться вольно, а все остальное принадлежит судьбе. Лишь она имеет право решать, кому жить, а кому умереть. Но раз уж ты попыталась сделать выбор за нее...

Ромалийка отошла к одному из сундуков, порылась в нем и бросила мне на колени найденный предмет. Гладко ошкуренный и остро заточенный осиновый кол.

— Раз уж ты решила, что можно пожертвовать Марьяной, тебе придется ее убить, когда она превратится в мертвие. Времени у вас обеих — до заката. Сегодня третья ночь с момента укуса, и с последним лучом солнца ее сердце остановится, дыхание прервется и Марьяна станет мертва до момента, пока не взойдет луна. После чего шестнадцатилетняя девочка, которую ты не пожелала спасти, восстанет кровожадным мертвием и пойдет убивать всех без разбору. — Ровина тяжело оперлась на крышку сундука, золотые колокольца на ее браслетах протестующие звякнули. — Можешь сообщить девушке, в кого она превращается, и она сама отыщет свою смерть как можно быстрее. Пока она думает, что больна из-за того, что поранилась о ржавую задвижку, когда вампир тащил ее за окно. Мои снадобья помогают ей удерживать человеческий разум и подавляют пробуждающиеся инстинкты мертвие, но надолго их не хватит. Теперь Марьяна — твоя забота, и лишь совесть должна тебе подсказать, какими сделать последние часы ее жизни.

— Ровина... — Я ошарашенно смотрела на заточенную деревяшку на своих коленях, не решаясь взять ее в руки. — Ровина, я же не знала...

— Незнание никогда не может служить оправданием, Ясмия. — Лирха выпрямилась, но даже не обернулась в мою сторону. — Иди и не возвращайся, пока не доведешь дело до конца.

Щеки горели так, будто бы ромалийка от души надавала мне пощечин. Легкий, почти невесомый деревянный кол словно отяжелел и налился свинцом, став неподъемным.

Как я смогу убить живого еще человека, который ничем предо мной не провинился?! Я кое-как встала и медленно направилась к выходу, втайне надеясь, что Ровина остановит меня, скажет, что это все лишь проверка, очередной урок, который она преподавала мне как своей ученице. Что Марьяна выздоровеет и мне не придется учиться попадать в сердце с

первого удара, иначе девушка будет умирать в мучениях, ощущая острую, невыносимую боль...

— Ну пожалуйста... Я уже усвоила этот урок... Я не хочу отнимать эту жизнь...

— Ясмия!

Неужели?..

— Слушаю, лирха Ровина.

— Если твой чаран сделает хотя бы одну попытку утолить голод человеческой плоти в нашем таборе, я его уничтожу. Тебе это ясно? Предупреди его, если ты еще этого не сделала.

Я тихонько прикрыла дверь, ведущую в спальню Ровины, и обессиленно прислонилась спиной к прохладному косяку. Осиновый кол в судорожно сжатой, взмокшей ладони казался обжигающе-горячим.

Не хочу это делать... Не хочу!

— Эй, Змейка! — Я повернулась на голос и увидела Искру в одежде с чужого плеча, великоватой по размеру и потому делающей юношу похожим на балаганного шута. Харлекин поддержал сползающий рукав и белозубо улыбнулся: — Тебе что, из-за меня влетело?

— Почти... — Оружие против нежити уже не так сильно жгло пальцы: видимо, успела привыкнуть. — Ты мне поможешь?

— Не вопрос. — Искра шагнул ближе, приобнял меня за плечо и ловко выхватил из моих рук осиновый кол. Играючи провернул меж пальцев, улыбнулся и наклонился ко мне. — Но если помощь связана с этой милой штучкой, я кое-что попрошу взамен.

— И что же?

В лисьих глазах харлекина полыхнул голубоватый огонек.

— Договоримся, милая. Не бойся, я не попрошу больше, чем ты сможешь мне дать. Только расскажи подробнее, что для тебя сделать?

Я глубоко вздохнула, как перед погружением в воду, взяла Искру за руку и повела его на жилой этаж.

Мне еще предстоит поговорить с лирхой о том существе, что дремлет под городом, изредка ворочаясь во сне. Не сейчас, когда сделать все равно ничего нельзя, а уйти невозможно из-за снега, что замел дороги пышным, рыхлым покрывалом. Если нам повезет с погодой и образуется плотный наст, можно попытаться уехать на санях, только вот где искать новое прибежище? В деревнях редко и неохотно привечают ромалийцев, особенно зимой, когда хлеба и тепла зачастую не хватает, а на еще одну виру на право жительства в соседнем городе у табора просто не найдется денег.

— Боюсь, тебе не понравится моя просьба, — вздохнула я.

Харлекин лишь пожал плечами и крепче стиснул мою ладонь.

— Значит, я просто буду раскованнее в пожеланиях к ответной услуге.

— Как скажешь. Все равно без тебя мне не обойтись...

Я толкнула нужную дверь и вошла в комнату, пропитанную сладковатым запахом тлеющего ладана. Немолодая уже женщина, державшая обеими руками хрупкую, бледную, почти прозрачную ладошку дочери, повернула ко мне усталое лицо с сухими глазами, горько поджала губы и поднялась с табурета, напоследок огладив спящую девушку по волосам. Молча вышла из комнаты, стараясь не встречаться со мной взглядом.

Искра шагнул ближе к кровати, шумно потянул носом воздух.

— Это и есть твоя просьба?

Я молча кивнула, рассматривая юное лицо Марьяны, покрытое восковой бледностью.

Веки девушки истончились настолько, что из-под тонкой кожи проступила частая сеть кровеносных сосудов, губы побелели, а скулы заострились. Казалось, на кровати лежит труп, прекрасный и чистый, как искусно созданная руками мастера статуя, и если бы не легкое трепетание ресниц и едва заметно приподнимающаяся при каждом вздохе грудь, я бы сочла, что мы опоздали.

— Хочешь, чтобы я сделал это сразу, здесь и сейчас?

— Нет. — Я подошла к харлекину, осторожно тронула его за ладонь. — Ты ведь умеешь притворяться и делать женщин счастливыми, умеешь создавать иллюзию безотчетно влюбленного, красиво усыпляешь бдительность... Сделаешь это для нее?

Он улыбнулся. Так нежно и ласково, что мне почудилось, будто бы по лицу скользнул теплый солнечный луч.

— Сделаю. Но только для тебя. А взамен я хочу лишь поцелуй.

— И все?

— Да. Но тебе придется на него ответить.

Я удивленно приподняла бровь, наблюдая за тем, как приторно-ласковая улыбка Искры становится шире, ярче и откровеннее.

— Каким образом?

Харлекин осторожно дотронулся кончиками пальцев до моей щеки, и на миг я ощутила, как теплая, упругая плоть обращается в неподатливый, холодный металл.

— Я тебя научу...

Девушка на кровати шевельнулась, тихонько застонала сквозь сон и повернулась на бок, подкладывая под голову ладони. Рукав сорочки соскользнул, открывая пропитанную розовой жидкостью повязку на левом запястье, скрывающую укусы вампира. На бледной, почти прозрачной коже проступили темные пятна, плоть иссыхала на глазах, превращая некогда сильные, гибкие руки в подобие птичьих лап.

— У нас почти не осталось времени.

Я стояла на пригорке в городском парке и украдкой наблюдала за парочкой, пригревшейся на небольшой узорчатой скамейке на берегу замерзающего озера. К вечеру сплошную облачную пелену сырой, хлесткий северный ветер разорвал в клочья и солнце ненадолго показалось из-за туч, окрасив темнеющее небо в сочные багряные оттенки. Снегопад унялся, скрыв под пушистым белым покрывалом землю, усыпанную гниющей листвой, сломанными во время осенних бурь ветками и, чего греха таить, мусором, оставшимся после народных гуляний. Совсем недавно в этом самом парке праздновали Первый День зимы, и до сих пор на обочинах вдоль дорожек и на полянках валялись смятые и разорванные бумажные флажки с гербом Загряды, глиняные черепки, в которые превратилась грубая, наспех сделанная для праздника посуда, обрывки цветастой шутовской одежды, пошитой из лохмотьев, и многое другое, что не успели прибрать городские дворники.

Искра практически украл девочку прямо из комнаты. Разыграл нешуточный интерес к ее прекрасному бледному лицу, к огромным глазам и тонким пальцам, посетовал, что болезнь лечат не во время прогулки на свежем воздухе, а в душной, жарко натопленной комнате, а потом помог выбраться из дома незамеченной. Ему понадобилась всего четверть часа, чтобы уговорить Марьяну сбежать через окно в город, где вечером знатный господин устраивает небольшой праздник в честь дня рождения младшей из своих дочерей. Он принес

ей розу в начале зимы, крупную, благоуханную и темно-красную, как лучший бархат, как кровь, и именно цветок окончательно перевесил сомнения девушки — она согласилась на прогулку, но с условием, что Искра вернет ее домой с наступлением темноты. Харлекин легко пообещал ей и это, и многое, многое другое за тот короткий зимний вечер, что они провели вместе.

Я следовала за ними, как тень, пряча осиновый кол под теплой свитой, стараясь держаться в тени, за спинами незнакомцев, и опасаясь, чтобы меня не заметили раньше времени. Но единственного пристального взгляда прозрачных Искровых глаз через всю площадь мне хватило, чтобы понять — харлекин прекрасно знает, где я нахожусь, знает, что я наблюдаю за ними, и сделает все необходимое, чтобы Марьяна попросту не обратила внимания на подобные мелочи в последние часы своей жизни.

Двигаться ей становилось все тяжелее, все чаще Искре приходилось поддерживать ее под локоть, замедлять шаг и говорить, говорить, говорить без остановки. Когда Марьяна споткнулась на ровном месте в четвертый раз, юноша подхватил ее на руки, закружил в воздухе и пообещал закат в самом красивом, самом достойном чистоты и прелести месте. В городском парке у небольшого озера с пологими берегами, что не замерзает полностью даже в самые суровые зимы, вода которого становится не свинцово-серой, а бирюзовой, почти зеленой. Драгоценный камень в сверкающей оправе из снега и льда, а не озеро...

Ствол дерева, к которому я прислонилась, был холодным, жестким. Ветер пробирался под юбку, студил колени, скрытые под вязаными шерстяными чулками, трепал выбившиеся из-под платка волосы.

Закат медленно умирал, алые мазки за деревьями исчезали, сменяясь фиолетовыми сумерками, и вместе с закатом уходила в неведомые края Марьяна, тесно прижавшаяся к плечу харлекина. Я взглянула на мир шассьими глазами, и он окрасился в темно-синие, ледяные оттенки покоя, в котором Искра с его красно-золотой аурой казался полыхающим во тьме костром, у которого пригрелся тусклый зеленоватый светлячок. Уже готовый вот-вот исчезнуть и выпустить в мир людей угольную тьму, имя которой «нежить».

Я вышла из-за дерева и неторопливо пошла к озеру, к парочке, сидящей на скамейке, держа в опущенной руке осиновый кол.

Шаг, другой...

Светлячок вспыхивает на мгновение, а затем устремляется ввысь, будто стрела, выпущенная из тугого лука, и из слабой искорки возникает нечто, очертаниями напоминающее изумрудную птицу с длинным хвостом, оставляющим за собой ослепительно-яркий огненный шлейф. Птицу, очень похожую на ту, что я видела взлетающей с костлявой ладони Смерти, изображенной на тринадцатой «старшей» тарре.

Человеческую душу.

Безумно красиво...

Я никогда ранее не видела, как умирают люди, не отягощенные грузом злобы и ненависти. Разбойники, встреченные мною в лесу в начале осени, умерли просто и буднично, их жизнь выгорела в беспросветную черноту, не оставив после себя и следа, а здесь... Здесь нечто совсем иное. Быть может, у этой девочки должна была быть великая судьба, она должна была совершить нечто такое, что перевернуло бы мир людей, уставший, измученный и больной, исцелило бы его, сделало лучше, а я этому помешала. Перебила ее судьбу своим невмешательством, принесла в жертву то, что приносить было никак нельзя. Права была лирха Ровина: единственная жизнь, которой я вольна распоряжаться и которую

могу отдать Вечности, не раздумывая, — моя собственная.

Изумрудная птица прыгнула в небо и пропала, оставив после себя лишь россыпь медленно тающих зеленых пылинок и тяжелый камень на сердце.

— Змейка? — Я вздрогнула, с трудом перевела взгляд на Искру, невесть как оказавшегося на расстоянии вытянутой руки. Харлекин глубоко вздохнул, передернул плечами, словно помогая себе сбросить шкуру беззаветно влюбленного ловеласа. — Все закончилось. Свою часть соглашения я выполнил. Надеюсь, ты тоже не станешь затягивать.

В горле невесть откуда появился сухой холодный ком, не дающий дышать. Я торопливо обошла Искру, перегнулась через спинку скамейки и посмотрела на Марьяну простым человеческим взглядом. Лицо спокойное, удивительно красивое, безмятежное. Уголки бледных губ застыли в легкой улыбке, волосы разметались по плечам, накрытым теплым мужским плащом, тонкие пальцы сжимают чуть поникшую багряную розу, уже утратившую сладкий аромат теплого солнечного лета. Если бы я не видела изумрудную птицу, то подумала бы, что девушка спит и стоит лишь тронуть ее за руку или потрепать по щеке, как она откроет большие лучистые глаза, сонно улыбнется и позволит отвести ее домой.

— Ты бы поосторожней была. — Харлекин оперся о спинку скамейки рядом со мной, кажущаяся тяжелой и плотной темно-рыжая коса змеей соскользнула по его плечу и закачалась в воздухе, демонстрируя подвешенный к кончику тонкий серебристый треугольник. — Умертвия имеют привычку восставать совершенно непредсказуемо. Люди почему-то решили, что укушенные вампиром превращаются в «кукол» только с восходом луны на третий день после нападения, и потому зачастую ведут себя слишком беспечно.

— А на деле иначе? — Я склонила голову набок, всматриваясь в лицо девушки, которое в сумерках казалось белой глиняной маской, к тому же не слишком удачно разрисованной: на щеках появились темные пятна, уголки губ опустились, стали слишком заметными — как будто рот потихонечку растягивался, становясь больше и шире.

— Милая моя, в мире людей вообще мало что случается так, как об этом рассказывают — просто потому, что не всегда свидетели того или иного события оказываются достаточно живучи, чтобы успеть поведать сочувствующим о произошедшем. — Искра улыбнулся и осторожно вытянул кол из моих ослабевших пальцев. — Ты пойми одну вещь: люди могут напичкать твою голову десятками басенок и сказок, искренне считая, что преподносят сущую правду, а тебе потом воевать с этими «легендами». Конечно, если ты собираешься и дальше притворяться лирхиной ученицей и жить по их законам.

— А если собираюсь? Что тогда?

— Тогда ты просто дура. Собираешься жить среди людей, опасаясь показать свою суть, постоянно оглядываясь через плечо, — а вдруг кто донесет на тебя змееловам, пока ты высматриваешь беду своими очаровательными золотыми глазками? Будешь жить с ними, рожать полукровок, которые в любой момент могут — ой, какое несчастье! — отрастить себе вместо милых ножек чешуйчатый хвост? Ах, нет, ведь лирхам полагается безбрачие, иначе сила покинет. — Харлекин зло улыбнулся, играя с отшлифованной деревяшкой, прокручивая ее меж пальцев и подбрасывая в воздух. — А на самом деле все проще и банальней: лирха всего лишь женщина, и стоит ей потянуться за своей бабьей сутью и найти хорошего мужика, как плевать ей будет на всеобщее ромалийское благо и на самопожертвование во имя табора. Она станет думать о себе, как все нормальные женщины, а если ребенок появится, то ей и вовсе не до гаданий и плясок будет. За него, за отпрыска, она и здоровье, и силу, и жизнь отдаст, а вот на табор, если надо будет, рукой махнет да и

уйдет своей дорогой, не оглядываясь. Вот и сочиняют ромалийцы всякие обеты, чтобы «зрячую» женщину подольше рядом удержать. Оттого лирхам и почет оказывают, и от тягот пути стараются уберечь — она-то без них хоть на край света невредимой пройдет, а вот табор, как только лишается «зрячей», чаще всего оседает где попало.

Марьяна, до того лежавшая неподвижно, вдруг затряслась всем телом, выгнулась дугой, сбрасывая на снег теплый плащ, в который была укутана, и открывая гладкую, до синяков зацелованную Искрой шею.

— Тебе ведь наверняка приказали ее добить, чтобы научить чувству вины за отнятую жизнь, хотя сами не безгрешны. Ромалийцы, пока не осядут, воюют с разбойничьими бандами за право свободно передвигаться по славенским дорогам. Думаешь, ножи на поясе они просто так носят, что мужчины, что женщины? Но вот почему-то человеку забрать жизнь у человека не зазорно, а иногда даже почетно, а вот шассе внушают совсем иное. — Харлекин ухватил меня за ворот платья, грубо рванул к себе, заставляя смотреть ему в глаза. — Знаешь, за что я их ненавижу? За то, что они делают из тебя сторожевую собаку, обученную по команде рвать глотки и защищать хозяина. Хочешь знать, за что мне хочется убить тебя? О, всего лишь за то, что ты позволяешь им делать это с собой. С нами.

Я молчала, не зная, что сказать в ответ. Нахлестать бы его по щекам, это существо с лицом юного любовника, пресыщенного женским вниманием, и глазами старого, не раз ушедшего от травли лиса, сказать, что все на самом деле не так, но... Плохо, что возразить мне особенно нечего. Я сама не могла объяснить, отчего так отчаянно цепляюсь за приютивший меня ромалийский табор, почему стараюсь их защитить, невзирая на то, что люди почти полностью вырезали мое родовое гнездо. Страх одиночества? Боязнь попасть в руки змееловов?

Или?..

— Кажется, мне нравится... так жить.

Он ухмыльнулся, показав острые железные зубы. Размахнулся, не глядя, всадил кол в тело, лежащее на скамейке, и торопливо отдернул руку, не давая белым крючковатым когтям мертвья располосовать добротную ткань камзола. Я вздрогнула, осознав, что руки, слепо и бессильно царапающие доски скамейки, уже перестали быть человеческими, обратившись в лапы, которыми только и остается, что драть упругую плоть в клочья.

— Шустрое какое. Наверняка уже несколько минут, как поднялось, но нарочно выжидало: вдруг захотим с ней проститься и наклонимся поближе. — Харлекин перехватил меня за пояс, когда я попыталась обойти скамейку, чтобы увидеть, во что превратилась Марьяна, прижал к груди. — Не стоит. Если тебе впрямь было жаль эту девочку, не смотри. Чувство вины приживется накрепко, а с таким в Загряде не выжить. Сожрут те, кто менее щепетилен в отношении ближних своих, и не подавятся. — Он наклонился, потерся гладко выбритой щекой о мою щеку. — А я хочу, чтобы ты жила. Человеком или шассой — но жила...

Его сердце билось глухо, сильно и слишком часто, будто бы стремилось выпрыгнуть в мою ладонь. Как топаз, обвитый золотыми нитями, который прижился в харлекине, стал его частью и тем самым связал нас так же прочно, как каменное древо привязывает шассу к родному гнездовищу, раз и навсегда обозначая это место как «дом, откуда я не уйду».

А если «змеиный камень» приживается в живом... ну хорошо, в относительно живом существе, что тогда? Все просто.

«Я тебя не оставлю»...



Воскресная ярмарка — это всегда праздничное событие как для торговцев, так и для простого работающего народа. Первые к ночи умудряются продать даже залежавшиеся или не слишком качественные товары — в темноте, разгоняемой лишь редкими фонарями, подвешенными на каменные столбы, да подвесными светильниками по одному на каждую лавку, вряд ли заметишь скол на глиняной чашке или зацепку на широкой юбке. Вторым удастся погулять и выпить вволю, поглазеть на танцовщиц с открытыми плечами и смуглыми ножками даже в морозную ночь и попытаться выгадать себе счастье, не заплатив гадалке и мелкой монетки. Торговля на рыночной площади разворачивается ближе к обеду, а не с утренними колоколами, зато и продолжается до глубокой ночи, и лишь полночный гул с главной часовой башни, возвышающейся над городом, возвещает об окончании ярмарочного дня.

Морозный воздух дрожит от раскатистых голосов, наперебой расхваливающих разложенный на прилавках товар, язычки пламени, упрятанные от порывов ветра в тонкие стеклянные колпачки масляных фонарей, отражаются в людских глазах, злых и добрых, восторженных и угрюмых, танцуют на позолоченных ожерельях ромалиек, сделанных из фальшивых монет. Где-то в центре площади бодро и весело играет скрипка. Ей вторит звонкий ромалийский бубен, украшенный цветными лентами, а сильный, высокий женский голос выводит песню о долгой любви и дальней дороге. Горят жаровни, наполненные алыми угольями, над площадью плывет аромат жареного мяса, горячего вина со специями и сладких пирогов. До моего слуха попеременно долетает то крепкая брань, то переливчатый, чуть захлебывающийся смех, а десятки голосов сливаются в один неравномерный гул, отдаленно напоминающий рокот горного потока, катящегося по руслу, полному крупных, выглаженных водой камней.

Живое людское озеро плещется в чаше площади, окруженной домами-утесами.

Мелко-мелко, едва ощутимо дрожит под сотнями ног холодная, сырая мостовая, как будто бы Загряда недовольно ворочается в своем беспокойном сне.

Страшно...

Я оглянулась по сторонам, кое-как уютившись на табуретке в углу цветастой палатки, что разбил Михей на краю площади, наблюдая за подходящими к низкому деревянному столику людьми. С раннего утра пришлось ромалийцу долго говорить со стражниками и управляющим рынком, чтобы те позволили поставить небольшой шатер для гадания хотя бы рядом с переулком, ведущим на площадь. Лишней любая монетка не будет, да и безопасней гадать, чем воровать в толчее: если за руку попадешься, стража не пощадит. Заведет за угол, да там и приведет приговор в исполнение — обрубит правую руку по локоть, и живи дальше, как хочешь.

Как сказала Ровина, когда я явилась к ней после похорон укушенной вампиром девушки? Всему свое время. Тогда, все еще пропахшая тяжким дымным запахом кострища, я сообщила ей о существовании живущем под Загрядой.

До весны ромалийцы все равно не покинут город: зима обещает быть холодной и снежной, а людям почему-то страшнее погибнуть в дороге от мороза и голода, чем от чудовища, живущего глубоко под землей. Потому что холод и снег — вот они, реальные, ощутимые на коже и пробирающие до костей, а пугающая тварь — где-то далеко, да к тому

же еще и спит. Чудовище можно победить заговорами, холодным железом или осиновыми колыями, можно отвести ему глаза оберегами и заповедными травами, на худой конец — просто сбежать от него, а вот от зимы не убежишь. По крайней мере, на вязнущих в рыхлом, пушистом снегу санях, которые тянут стройные, боящиеся мороза лошади, укрытые попонами...

— Эй, красавица, погадай мне!

Забренчала, подскакивая на деревянной столешнице, метко брошенная серебряная монета, отрывая меня от раздумий. Я подняла взгляд на человека в широченном зимнем плаще, подбитом волчьим мехом, и с удивлением узнала в нем Искру. Харлекин неуловимо преобразился за ту неделю, что провел где-то в городе, не удосуживаясь показаться у ромалийского зимовья. Лицо румяное, сытое, круги под глазами бесследно исчезли, волосы собраны в аккуратную тугую косу, мягкую войлочную шляпу украшает золотисто-рыжий лисий хвост. Впечатление портил лишь мешковатый, явно с чужого плеча камзол, застегнутый на крупные медные пуговицы, который превращал гибкого, худощавого юношу в неповоротливого увальня, чрезвычайно боящегося морозов и простуды.

— На что погадать хочешь? — поинтересовалась я, неохотно выбираясь из уголка шатра вместе с нагретой табуреткой и присаживаясь за столик. Стянула вязаные цветастые рукавички, выудила из-за пазухи расшитый мешочек с таррами и неласково уставилась на клиента снизу вверх.

— А на дорогу дальнюю, — улыбнулся Искра, наклоняясь ко мне и ненавязчиво перекатывая меж пальцев еще одну монетку. Тоже серебряную, только достоинством побольше, чем предыдущая. — Удачная будет или так себе?

— Все-таки уезжаешь? — на удивление неласково пробурчала я, перемешивая глухо постукивающие расписные пластинки. — Давно решил?

— А вот на сеновале том, где мы с тобой разлеживались, и определился. Окончательно и бесповоротно, так сказать.

Ну, на дорогу так на дорогу.

Первая тарра легла на синий шелк рубашкой вверх, блеснув в свете фонаря тусклой, почти стертой позолотой на лепестках дивного лилового цветка. Еще четыре нарисовали крест на небольшом столике для гаданий. Я на миг оторвала взгляд от расклада и глянула на харлекина, склонившегося над «перекрестком», — лицо серьезное, жесткое, коричневые брови нахмурены, губы поджаты. Слово и впрямь Искра верил в ромалийское гадание или же, что еще вернее, искал какую-то подсказку лично для себя, ответ на свои мысли, роящиеся где-то глубоко внутри и почти не отражающиеся на поверхности.

О чем может думать саженное стальное чудовище с глазами, полными морозно-белого колючего огня, которое лишь притворяется ветренным ухажером?

— Вытяни себе пластинку, — попросила я, протягивая ему стопку тарр в ладонях, сложенных лодочкой. — И положи чуть в стороне от остальных, только оставь рубашкой кверху.

— И что она будет означать? — поинтересовался Искра, небрежно роняя на столик вытащенную карту, даже не попытавшись подсмотреть рисунок, как часто делали люди, приходившие погадать из праздного интереса.

— То, к чему тебя приведет выбранная сегодня дорога.

«Перекресток» выходил неровный, трудный. Первая деревянная пластинка оказалась «старшей» таррой с изображением колесницы, запряженной двумя химерами, черной и

белой, — значит, Искра не сможет свернуть с начатого пути, даже если очень захочет. У него уже не осталось выбора, и придется дойти до конца — или погибнуть на обочине.

Вторая тарра, третья, четвертая.

Война всех против всех, противник, скрывающийся на расстоянии вытянутой руки, но так и не распознанный. Скорый конец пути на развилке, которую легко не заметить, потому пройти мимо, обрекая себя на долгое и бесплодное хождение по кругу. Эмоции, выходящие из-под контроля и мешающие разумному, рассудительному взгляду на происходящее.

— Все так плохо, Змейка? — Харлекин склонился над столом, пушистый лисий хвост соскользнул с поля шляпы и легонечко пощекотал мою щеку. — Мне стоит остаться... с тобой?

— Не сможешь. — Я перевернула последнюю тарру, лежащую в центре «перекрестка», и заглянула в кажущиеся золотыми в неярком свете потолочного фонаря глаза Искры. — Путь уже начат, и сойти с него не получится. Либо добраться до конца через «не могу», либо остаться на дороге.

Я посмотрела на «колесо судьбы», лежащее в центре расклада. Чем все закончится — неизвестно, но сторону придется выбирать. Сохранить прежний нейтралитет, оставаясь в тени, у харлекина уже не получится...

— Тогда идем со мной. — Низкий, рокошующий голос Искры стал тише, мягче, интимней. Чуть обветренные губы коснулись моего виска поцелуем, оставляя полоску тепла на замерзшей коже. — Я сумею тебя защитить лучше, чем кто-либо другой. Ты ведь понимаешь, что долго скрываться среди людей не сможешь. Рано или поздно сюда придут змееловы, и тебя вытолкнут перед ними в качестве откупной жертвы. Ты уже нажила себе лютого врага среди вампирьей общины, и он избавится от тебя при первой же возможности. Или начнет уничтожать людей из твоего табора по-одному. Ты ведь не заставишь девок безвылазно сидеть в доме круглые сутки, не сможешь уследить, чтобы какая-нибудь дуреха не открыла настежь окна для сладкоголосого красавца, обещающего вечную жизнь и страстную любовь под покровом ночи. Ты спасешь их, но только если покинешь ромалийский табор.

— Если я уйду, им придется осесть либо прямо здесь, либо где-нибудь неподалеку, а ты сам понимаешь, насколько это место гиблое. На себе испытал. — Я отвернулась, огладила кончиками пальцев последнюю тарру, лежащую на столе рубашкой вверх. — Плохо будет и так, и так, но я уже устала выискивать меньшее зло там, где его нет. Пусть все идет своим чередом. До весны я останусь здесь.

— То есть ты остаешься? — Искра усмехнулся, выпрямился и подбросил в воздух монетку, что вертел в пальцах все то время, пока я раскладывала «перекресток». Серебрушка упала ровнехонько на последнюю неоткрытую тарру, несколько раз провернулась, стоя на ребре, и легла изображением княжеского герба кверху. Харлекин разочарованно вздохнул и поправил дорожную сумку, сползшую с плеча. — Жаль, я ставил на решку. Дальше не гадай, я все равно собираюсь поступить по-своему, и рисунки на дощечках или на серебре не заставят меня передумать. Но раз уж ты твердо решила остаться, могу я попросить напоследок об одной вещи? Оставь на четверть часа свой шатер, я хочу с тобой попрощаться должным образом, не оглядываясь на слишком любопытную до чужих поцелуев толпу.

— Ну, давай пройдемся.

Я начала собирать разложенные тарры в небольшой кожаный мешочек. Не утерпела и все-таки подглядела рисунок на последней деревянной пластинке, той самой, на которую

так ловко Искра уронил монету. «Отшельник». Вещь в себе. Человек, ответы на вопросы которого находятся в нем самом. Неизвестный художник изобразил отшельника на перекрестке дорог в длинном плаще с капюшоном, почти полностью скрывающим опущенное лицо, в одну руку вложил вычурный дорожный посох, а в другую — тонкую простенькую дудочку, вокруг которой обвилась бронзовая змея.

Я медленно-медленно подняла взгляд на Искру и услышала, как над заполненной людским морем площадью взмывает-поднимается тонкий росток чуждой, режущей слух мелодии. Еще слабенькая, плохо различимая, она наполнила собой каменный колодец меж домов, коснулась моего лица тонкой шелковой паутиной, на миг задержалась, словно раздумывая, а потом пропала.

Нашла себе другую жертву.

Глаза харлекина вспыхнули морозным огнем, он зажмурился, хватая меня за запястье ледяной, тяжелой, обратившейся в металл ладонью, дернул, безжалостно увлекая к улице, ведущей прочь от площади. Мелодия змеелова торжествующе взвилась, стала громче и отчетливей, невидимая паутина затянулась вокруг Искрова горла еще туже, но харлекин упрямо тащил меня за собой сквозь толпу, каким-то чудом удерживая человеческий облик. Ладонь, мертвой хваткой сомкнувшаяся на моем запястье, то становилась теплой, живой, то впивалась в кожу острыми железными когтями.

Что-то холодное, настывшее на морозе ткнулось мне в бок, продырявило насквозь тяжелую свиту, царапнуло по голой коже — и благополучно прошло мимо, толком и не задев. Я обернулась, сверкнула шассым взглядом — синева, тронутая по краю гнилостно-красным сиянием. Человек, обозленный и ненавидящий.

— Их тут двое! Загоняй, а то уйдут!

Грубый окрик мужчины, вооруженного железным колом, оборвался клокочущим, булькающим звуком: Искра, даже не оглянувшись, небрежно махнул удлинившейся едва ли не на локоть стальной рукой, выдвинувшиеся на полвершка острые, будто ножи, когти расплосовали шею наемника, забрызгав моментально остывающей на холоде кровью близстоящих зевак. Мгновенно наступившую тишину в клочья разодрал выпавший из рук человека шестигранный железный кол, и не успел утихнуть звон металла о камень, как его подхватил высокий женский крик, за ним — еще один, и еще.

Харлекин остановился, низко пригнулся, будто зверь, изготовившийся к прыжку, оскалил острые железные зубы и негромко, коротко рыкнул:

— Пр-р-рочь!

Второй раз просить не пришлось: народ с криками попятился, схлынул в разные стороны, сбивая друг друга с ног в общем стремлении дать дорогу чудовищу, которое другого шанса никому уж точно не даст — без оглядки и жалости сметет любого, оказавшегося на пути.

Искра одним рывком забросил меня на плечо, пошатнулся, будто бы весила я гораздо больше, чем казалось, захрипел, раздирая когтистой ладонью ворот ставшего чересчур тесным камзола. Отливающая золотом волшебная нить змееловой мелодии тугой удавкой оплетала его горло, и чем ближе звучала колдовская дудочка, тем крепче и толще становилась петля.

— Уходи... уже не вырвусь...

Харлекин пошатнулся, а затем опустился на одно колено. Мечущаяся, будто безмозглое стадо, толпа успокоилась, люди с надеждой стали посматривать в сторону площади, откуда

вот-вот должен был появиться «пастух». Спаситель от чудовищ, вооруженный лишь волшебной дудочкой да верой в собственные силы. Человек из Ордена Змееловов, присланный, чтобы избавить простых жителей славного города Загряды от страшного и бесчувственного монстра, от чарана, неистового оборотня, пожирающего заживо и мужчин и женщин.

То, что есть в этом городе чудовище пострашнее и попрощорливее Искры, никого, разумеется, не волновало. Стадо боится лишь тех волков, которых видит пред собой. Огромная, донельзя расплодившаяся стая, живущая в лесу по соседству, их не волнует — о тех, кто серыми тенями рыщет вдоль загона, пускай пастух и его собаки беспокоятся.

Не дождетесь. Если Загряда хочет откупиться от змееловов, то пусть делает это не за наш счет. Я ухватила за золоченую нить обеими руками, уже покрытыми чешуей, с силой дернула, стараясь оборвать колдовскую пуповину, намертво связавшую Искру с подавляющей волей дудочника. Еще раз дернуть, и еще, срывая золотистую чешую о жесткую, неподатливую и кажущуюся колючей петлю. Нить лохматится, но не рвется, чужая воля слабеет, но я чувствую, как дудочник торопится, как гонит прочь каждого, кто имел глупость ему помешать, ощущая, что жертва вот-вот сорвется с крючка.

— Вставай! — Я беззастенчиво лягнула харлекина твердым носком башмака куда-то в живот, отозвавшийся металлическим стуком. Он вздрогнул, поднимая тяжелую голову, и трепещущая паутинка в моих руках стала более тонкой и рыхлой. Еще рывок — и она разойдется окончательно. — Поднимайся! — Я пнула его еще раз, на этот раз так сильно, что едва не отбила себе ступню даже сквозь ботинок и шерстяной носок. Ощущение, будто бы скалу пытаюсь сдвинуть.

Нить в моих руках нагрелась, обжигая даже сквозь чешую.

— Искра, встань!!!

Он вздрогнул, сильная ладонь прижала меня к жесткому плечу, острые когти прошили и без того продырявленную свиту и коснулись моей кожи.

Колдовская удавка натянулась до предела и оборвалась с пронзительным, стеклянным звоном...

Упустил!

Змеелов отнял вычурную золоченую дудку от губ и негромко, зло выругался. Коротко, по-мужски стриженная женщина в теплой куртке усмехнулась и почти радостно хлопнула ладонью по широкому кожаному поясу, на котором висела закрытая кобура с оттиском Ордена на боку.

— Что, сорвалась рыбка с крючка? Стареешь, ой, стареешь. Сколько у тебя уже проколов не было, особенно в этом городе? Уж на что простое задание...

— Замолчи, — коротко приказал дудочник, и женщина осеклась так резко, будто бы и на ее горло набросили невидимую удавку. — Нашей рыбке кто-то помог.

— Но здесь есть только одно существо, способное оборвать твою мелодию, — осторожно сказала ганслингер, нервно барабаня пальцами по кобуре, скрывающей именной револьвер. — Зачем ей это делать, если приглашение порыбачить было доставлено от ее имени?

— Ты меня спрашиваешь? — Музыкант бережно убрал инструмент в чехол на поясе и направился к выходу с площади. — Госпожа города Загряды — своенравная и непредсказуемая тварь. Возможно, ей стало скучно и она захотела сменить правила игры.

Возможно, я зацепил не того, кого нужно, хотя я сомневаюсь: одного чарана на это захолустье более чем достаточно, и второго быть не должно.

— А не могло случиться так, что эта таинственная Госпожа внезапно передумала?

Дудочник на секунду задумался, а потом неопределенно пожал плечами:

— Могла и передумать. Она — чудовище, нелюдь. А значит, поддается сиюминутным желаниям. Но мы уже подписались на уничтожение пока что неизвестной твари, сожравшей дочку местного богача, а значит, должны предъявить доказательства качественно сделанной работы.

— Ты уверен, что в этом замешан чаран? — Ганслингер оттолкнула подвыпившего мужика, нетвердо державшегося на ногах и потому не убравшегося с пути достаточно проворно, хладнокровно пропустила мимо ушей грязную площадную ругань и невозмутимо прошествовала к людям, толпившимся вокруг тела на мостовой. Этих расталкивать не пришлось — увидев герб Ордена Змееловов, белой нитью вышитый на черной перчатке ганслингера, горожане торопливо расступились, пропуская к трупам наемника охотников за нечистью.

— Посмотри на его горло. — Музыкант остановился в шаге от мертвеца, лежавшего навзничь в луже собственной крови. — Ты знаешь кого-нибудь еще, чьи когти по остроте не уступают хорошему ножу? Нет, это наша рыбка отмахнулась. И ушла невредимой, зараза такая...

— Думаешь, далеко успела?..

— Вряд ли. — Змеелов перешагнул через лужу крови, уже начавшую сворачиваться, и торопливо двинулся прочь, на ходу доставая дудочку. — Созывай наемников, хватит ворон считать на площади, не за это им орденом золотом уплачено было. Даю пять минут, а потом я пойду по спирали начиная с этой улицы, а вы — сразу за мной с отставанием в десять шагов. Никуда чаран не денется, не мы, так Госпожа ему сбежать не даст. Все, время пошло.

Женщина коротко, по-военному, кивнула и скрылась в толпе. Дудочник лишь криво усмехнулся и отвернулся, оглаживая кончиками пальцев теплые, будто изнутри подогретые металлические бока узорчатого инструмента, украшенного янтарной каплей. Вот она где, душа музыканта, прячется, где хранится его сердце и искренняя привязанность. В ганслингеры идут от отчаяния и безысходности в надежде, что именно револьвер принесет им отмщение, а в дальнейшем — почет и уважение.

Не тут-то было.

Серебряные кольца, что носит каждый ганслингер на большом и указательном пальцах правой руки, на самом деле оковы, на всю жизнь привязывающие человека к оружию, изрыгающему вместо свинцовых или стальных пуль магический огонь или пронизывающий, разрывающий нелюдя изнутри холод. А откуда, спрашивается, берется эта магия, это волшебство, наделяющее кусочки обычного металла столь убийственной силой? Ответ прост: стреляя из именного револьвера, ганслингер потихоньку растрчивает собственную жизнь. Ведь если бы револьвер был артефактом, накапливающим магию из воздуха, то стоил бы столько же, сколько полная броня из шкуры золотой шассы. Орден разорился бы на одних револьверах, а ведь нужны еще патроны, обмундирование для стрелков, да и самих стрелков неплохо бы обучить так, чтобы как можно меньше выстрелов уходило «в молоко».

Впрочем, мало кто из ганслингеров знает о такой «незначительной» особенности своих игрушек и еще меньше доживает до момента осознания, что вся жизнь сгорела в пороховом

дыму, утонула в грохоте выстрелов. Что револьвер, ставший продолжением правой руки благодаря серебряным кольцам, больно впивающимся в плоть при каждом нажатии на курок, лишь паразит, из-за которого стрелки проживают год за семь лет. Впрочем, вряд ли эти люди успевают кому-то о чем-то рассказать — на охоте случается всякое, и часто бывает так, что нелюдь уносит с собой в могилу недостаточно меткого или быстрого стрелка, мир его праху.

И никто и никогда не заподозрит музыканта, сфальшивившего всего на паре нот — и тем самым давшего твари несколько кратких мгновений свободы, наполненных яростью и жадной кровью. Особенно если фальшь в тщательно отрепетированной и изученной до мелочей мелодии вызвана письмом с печатью Ордена на черном воске.

— Мы готовы. — Голос напарницы раздался слишком близко и весьма неожиданно.

Змеелов недовольно окинул взглядом банду — другого слова он этому отребью подобрать при всем желании не мог — наемников в количестве семи душ, вооруженных шестигранными железными кольями в два с половиной аршина длиной и с намертво припаянной «рогатиной» примерно посередине.

«Нововведение» появилось после того, как один чаран, уже пойманный в петлю мелодии и насаженный на парочку подобных кольев, умудрился продвинуться вперед, не обращая внимания на выдвигающиеся из спины железные шипы, и дотянуться до троих человек, одним из которых, к сожалению, оказался весьма перспективный, но очень молодой дудочник, сдуру подошедший слишком близко к издыхающему монстру. В Ордене, фигурально выражаясь, полетели головы: юнец оказался родовитым, папаша — с деньгами, а требование семейства было однозначным. Найти виноватого. Нашли, прилюдно наказали, на деле отправив от греха подальше в Лиходолье обучать новобранцев, а на «чараньи кольца» приварили рогатины, как на простые кабаньи копыя, и решили, что конфликт исчерпан.

— Тогда пошли. Играю на «призыв», так что будьте готовы к тому, что тварь выскочит из-за любого угла и первым делом бросится на нас. Нила, стреляй сразу же, как заметишь его, это даст мне время наиграть «подчинение».

Ганслингер достала золотистый револьвер из кобуры, подняла узкое, изящное дуло к черному вечернему небу и картинно взвела курок в виде змеи.

— Командуешь так, как будто я новичок.

— В нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Ты-то, быть может, и не новичок, но вот за молодежь своих ты поручиться можешь? Что они при виде несущегося на них чарана не разбегутся, как тараканы, а встретят его кольями?

Нила обиженно поджала полные губы. Музыкант усмехнулся про себя — предсказуема, как всегда. Потому он и настаивал постоянно на том, чтобы в напарниках у него ходили только женщины: их легче просчитать, легче предугадать, легче заставить подставить шею вместо себя. К каждой женщине находится свой ключик, каждую можно научить себя любить, а значит, оберегать, позабыв о самозащите. И связка прочнее выходит: сильный дудочник и средненький ганслингер работают в целом куда как эффективней, чем любой другой «расклад». Плохо только, что ганслингеры в такой связке живут пару лет от силы, зато счет убиенным нелюдям и полностью выплаченным гонорарам только растет.

Змеелов приложил дудочку к губам, наигрывая давно знакомую, до мелочей изученную музыку, вкладывая в мелодию свою волю, ощущая, как тело привычно деревенеет, становится непослушным и негибким, зато разум будто бы раскрывается, летит над мрачными, загаженными человеческим присутствием улочками, тычется в самые темные,

самые потаенные уголки.

Ищет выбранную жертву.

Один квартал, другой.

Дудочник шел быстро, не чувствуя ни холода, обжигающего голые пальцы и забирающегося под теплый шерстяной камзол, ни усталости. Госпожа, обитающая в Загряде, задержит предложенную в качестве откупа на ближайшую зиму тварь где угодно, хоть на мостовой, хоть на крышах, хоть у самых ворот, но за подобную помощь придется заплатить, и скорее всего, чьей-нибудь кровью. Чаран им самим в качестве трофея пригодится, а вот кого-нибудь из наемников можно отжалеть будет. Одним трупом на охоте больше, одним меньше. Кому эти бродяги нужны, кто их считать будет? Да собственные товарищи только обрадуются: гонорар мертвым ни к чему, а значит, оставшиеся в живых смогут разделить полученные деньги между собой, присовокупив к своей законной награде еще и то, что причиталось погибшим.

Он ощутил чарана, вторично попавшегося в колдовскую петлю, всего на мгновение раньше, чем рычащее чудовище с металлическим лязгом и скрежетом скатилось с заметенной снегом крыши и грузно приземлилось на мостовую, глубоко погрузив железные когти в щели между камнями. Захрипело, раздирая остатки воротника на шее и пытаясь сдернуть невидимую удавку, опустило голову, поросшую гибкими металлическими спицами, и вдруг метнулось в сторону, уворачиваясь от грянувшего над ухом выстрела, лязгающим клубком перекатилось по снегу.

Что-то небольшое, темное просвистело мимо уха дудочника, обдав висок порывом ледяного воздуха, и негромкая ругань Нилы оборвалась влажным, отчетливым хрустом.

Звук падающего тела. Крики наемников, эхом отдающиеся от каменных стен домов.

Змеелов скосил взгляд в сторону ганслингера, неподвижно лежащей навзничь на запорошенной снегом мостовой. Лица у женщины, похоже, больше не было; в полумраке дудочник успел заметить лишь солидный, размером с кулак, бульжник, с нечеловеческой силой впечатанный в то, что когда-то было носом. Остальное заливала кровь, вытекающая из-под камня и расползающаяся вокруг головы несчастной широкой, быстро растапливающей снег лужей. Если и выживет, останется навсегда уродливой калекой. Лучше добить, как все закончится. Из милосердия.

Чаран медленно поднялся. Неторопливо, будто в издевку, отряхнул металлической ладонью налипшие на остатки камзола снежные пятна и поднял на дудочника ставшее человеческим лицо. Со скрежетом вытянул широкий, короткий меч из ножен на поясе, с хрустом расправил плечи — и вернулся в человеческую форму, сразу став на две головы ниже и вполтину не таким устрашающим, как мгновение назад.

Наемники приободрились: вооруженный мечом человек был для них гораздо более привычен в драке, чем покрытое металлическими латами чудовище, а вот сам дудочник с трудом мог сосредоточиться на мелодии «подчинения», которая едва-едва дотягивалась до чарана. Ощущение было, будто он пытается выловить в ручье шустрого и юркого угря, а треклятая рыба, вдоволь нашлапав его по запястьям длинным хвостом, в самый последний момент выскальзывает из натруженных рук, и все приходится начинать сначала.

Впервые за долгое время музыкант стал наблюдателем, а не главным действующим актером на сцене битвы. Не ему принадлежал первый голос, а чарану, стремительно перетекающему из человеческого облика в облик существа из металла и витых красноватых жил. Именно он вел эту партию, его тяжелый клинок порхал между наемниками,



позабывшими про шестигранные колья и схватившимися сдуру за короткие палаши, более пригодные для уличной драки. Самого змеелова все еще защищала наигрываемая им мелодия, и она же замедляла быстрого, как порыв ветра, чарана, сковывала ему ноги тяжелыми кандалами, притягивала становящиеся металлическими и слишком длинными руки к земле — но всего этого было слишком мало, чтобы его остановить, поставить на колени и убить.

Не потому ли неназванная Госпожа именно его предложила в качестве откупной жертвы, чтобы других нелюдей оставили в покое? Наверняка же чаран-выродок, невероятным образом научившийся менять облик по собственному желанию, мешал заградской нечисти ничуть не меньше, чем людям, да вот только загребать жар чужими руками всегда приятней.

Оборотень ловко увернулся, пропуская чужой клинок в волоске от своего живота, схватился свободной рукой за оголовье рукояти, и в следующую секунду попавшийся по собственной глупости наемник уже с глухим хрипом соскальзывал на мостовую, заливая ее кровью из проткнутой насквозь грудины. От второго, понадеявшегося зайти со спины, оборотень лишь небрежно отмахнулся удлинившейся металлической лапой — острые когти легко прорезали плотную кожаную куртку, полилась кровь, и в стылom зимнем воздухе запахло бойней. Человек упал навзничь, роняя оружие, с диким воплем пытаясь зажать рану на животе, не дать скользким внутренностям вывалиться через уродливую прореху. Бесполезно. Этому теперь в лучшем случае минут десять осталось.

Чья-то рука ухватила дудочника за голенище сапога. Змеелов вздрогнул, опустил взгляд на человека, чье лицо было залито кровью из неглубокого, но обильно кровоточащего пореза на лбу. Длинные волосы спутались в неровные космы, куртка изодрана на спине когтями чарана.

— Что же ты... не поможешь?

Музыкант не успел ответить, потому что откуда-то сверху раздался высокий женский визг, потом грохот падающей черепицы, а затем... он не поверил своим глазам.

Чаран бросил наемника, которому едва не обрубил обе руки, и кинулся на крик, на ходу обращаясь в стальное чудовище, в длинном зверином прыжке покрывая огромное для человека расстояние и у самой земли успевая поймать сорвавшуюся не то с крыши, не то с подоконника девчонку в многослойных ромалийских тряпках. И вот тут наконец-то петля колдовской мелодии смогла зацепить оборотня. Человеческий облик более не служил ему защитой, и музыка наконец-то охватила его тугой сетью, приковала разом отяжелевшие руки к земле, да так стремительно, что чаран едва успел выпустить девчонку.

— Беги...

Голос низкий, рокочущий, чуть скрежещущий, будто бы заговорил металл. Девчонка подняла взгляд на змеелова, но почему-то последовать совету оборотня не спешила, напротив, подняла руки, будто бы пытаясь ухватить в воздухе что-то невидимое. Звякнули колокольчики на дешевых ромалийских браслетах, бродяжка сцепила тонкие пальцы в замок, будто бы и впрямь что-то поймала, потянула... и дудочник ощутил, как что-то вновь пытается оборвать его мелодию, скинуть петлю с железного оборотня, покорно вставшего на колени.

Неужто оборотень себе «зрячую» подцепил?! Ай, молодец, ничего не скажешь. Просто умница! Это же надо было додуматься — сойтись с ромалийской ведьмой, чтобы та колдовством помешала дудочникам поймать своего любовничка. Давно уже в Ордене шли

разговоры о том, что ромалийских ведьм пора либо на плаху отправлять, либо в дудочки переманивать, а то развелось их на славенских дорогах видимо-невидимо. В какой город ни приди, куда ни плюнь — всюду в ромалийский табор попадешь, а уж они без «зрячей» не кочуют, страшно им, видите ли. А то, что лирхи эти своими танцами да ритуалами начисто перебивают музыку змееловов, так им до того дела нет. А Ордену служить «зрячие» не хотят, бегут при первой же возможности, да еще так ловко и хитро, что и следов не остается — как сквозь землю девки проваливаются. Только и слышно, что вроде звенят где-то колокольчики, слабо-слабо раздается залиvistый хохот, а «зрячей» уже нет. И связывали их, и раздевали догола, отбирая амулеты, украшения и одежду, и железом холодным к стене приковывали — все одно уходят как-то. Будто призраки, а не крещеные люди из плоти и крови.

Только вот раньше «зрячие» девки не брали в свою постель чаранов, не приручали их, как сторожевых собак, не выступали открыто на охоте против змееловов. А раз выступили, значит, переметнулись на сторону врагов человеческих и гнать надо ромалийцев в шею из всех приличных мест, а лирх их «зрячих» — на костры, на плахи отправить! Пора гадалкам да плясуньям узнать свое место, слишком уж много воли себе взяли. Ничего, и на них хомут найдется, только бы выбраться из этой глуши, вернуться в Орден.

Морозный воздух сотряс глухой, дребезжащий вой: кто-то из наемников, оправившись от испуга при виде смерти товарищей, а то и просто улучивший удобный момент, пинком отправил ромалийскую девку в ближайший сугроб, чтобы не мешалась, и всадил железный шестигранный кол аккурат под одну из грудных пластин оборотня. Полилась темная, дымящаяся на холоде жидкость, чаран задрожал всем телом, но с места не двинулся, зато девка — та закричала как резаная, едва увидела, как под правую руку ее любовнику всаживают второй кол. Все, деточка, кончилась твоя воля. Чего ты стоишь без этой груды железа в сажень ростом, без его силы, скорости и острых, как ножи, когтей? Да ничего.

Мелодия дудочки зазвучала громко, победно, колдовская спираль оборачивалась вокруг чарана все сильнее, все крепче, туманя разум, отбирая волю и усыпляя инстинкт самосохранения. Этот оборотень уже не поднимется с колен, его разделают на куски прямо здесь и унесут голову в качестве почетного трофея в Орден Змееловов.

Девчонка всхлипнула, и один из оставшихся в живых наемников сгреб ее за волосы и вздернул на ноги, запуская ладонь ей за пазуху. Довольно хохотнул и хлопнул бледную, плотно сжавшую губы ромалийку по задку, скрытому под ворохом широченных оборчатых юбок.

— А ничего деваха-то! Зрелая, сочная. Эй, ваше змееловство, не против, если мы ее в качестве боевого трофея прихватим? А то дюже страху натерпелись, хорошо бы и утешиться в теплых объятиях.

Что-то больно темные у девчонки руки, которыми она цепляется за наемничий локоть, удерживающий ее за шею. Будто тесно облегающие перчатки носит...

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

— Дрянь, да ты кусаться! Вот я тебе! — Наемник выпустил девчонку, и она неловко отшатнулась, путаясь в широких юбках. Дудочник видел лишь ее дрожащие, ссутуленные плечи, растрепанную гриву волос да раздуваемые ветром цветастые тряпки, когда человек, замахнувшийся было, чтобы отвесить ей пощечину, вдруг захрипел и кулем повалился на мостовую.

В воздухе поплыл стойкий, по-праздничному сладкий аромат корицы, от которого у

дудочника на миг захолонуло сердце.

Девчонка медленно обернулась, и глаза у нее горели золотым змеиным огнем.

Бывают моменты, когда все инстинкты вопят хором, призывая бежать, спасти свою жизнь, единственную и драгоценную. Обычно в таком случае бегут почти все: и люди, верящие в посмертие, и те, кто абсолютно точно знает, что за чертой их ждет только непроглядная тьма, именуемая «ничем». Есть, конечно, герои — или сумасшедшие, — которые остаются на месте, а то и рвутся в атаку, стремясь продать свою жизнь подороже, но таких единицы. И к последним Искра никогда не причислял себя. Раньше он всегда знал, когда следует убегать, скрываясь от того, кто сильнее, а когда можно остаться, потому что враг оказывался слабее, чем демонстрировал. Но сейчас, когда он увидел свою Змейку, которая вместо того, чтобы тихо сбежать, воспользовавшись неразберихой, попыталась слезть с крыши по обледенелой водосточной трубе, он понял, что на этот раз ему не уйти. Потому что он, харлекин, именуемый себя Искрой, расплатится своей жизнью за ее безопасность. Либо здесь и сейчас, позволяя дудочнику опутать себя петлями фальшивого зова, либо тогда и потом, когда за убитого змеелова придут мстить его товарищи. Они всегда приходят, всегда узнают убийцу и всегда уносят с собой трофей, свидетельствующий о том, что месть свершилась.

Он едва успел поймать ее, когда она соскользнула с подоконника второго этажа, за который отчаянно цеплялась. Успел выпустить прежде, чем его руки налились неподъемной тяжестью, сознание заволкло белесым густым туманом, сквозь который он слышал лишь чужой, очень похожий на Змейкин, голос, мягко приказывающий ему подчиниться, встать на колени и не сопротивляться... Он и не сопротивлялся. Ни когда люди подошли близко, на расстояние удара, ни когда его тело один за другим прошили два тяжелых железных копья. Вялое безразличие пропало лишь в момент, когда в темноте перед его глазами вспыхнули два золотых огонька. К ним он и потянулся всей своей сутью, чувствуя, как обновленный управляющий блок, помещенный Змейкой в его грудь, налаживает связи между отдельными элементами его тела, как охвативший его паралич уходит, сознание проясняется...

Он увидел свою Змейку, свою золотую богиню, которая плясала по крохотной, зажатой между домами площади, ускользя от людских шестигранных копий лишь каким-то чудом, каждый раз оказываясь на мизинчик, на волосок дальше, чем могли дотянуться смертоносные острия. И музыкант, каменным изваянием застывший у надежной на первый взгляд каменной стены, играл уже совсем другую мелодию. Похожую, но не ту. Загоняющую в тиски подчинения не харлекинов, а шасс.

И тогда он решился. Поднялся с колен, ухватился левой рукой за здоровенный шестигранный кол, засевший под правым плечом, и дернул, невзирая на полыхнувшие перед глазами искры, свидетельствующие о новых повреждениях. Кол шел туго, пришлось расшатать его под отвратительный металлический скрежет, и наконец, когда оружие, с которым пришли люди, оказалось у него в руке, он метнул его в дудочника.

Раздался лязг: копьё вошло в щель между камнями кладки, пришили змеелова к стене дома, как бабочку. Оборвалась гибельная мелодия, вычурная дудка выпала из ослабевших пальцев и бесшумно скрылась в наметенном сугробе. Наемники, почти зажавшие шассу в узкий тупик между домами, услышали предсмертный хрип музыканта, переглянулись и, как один, метнулись к ближайшей сквозной улочке, надеясь сбежать, но не тут-то было.

Проснувшаяся Загряда была отнюдь не против свежего завтрака, и потому, когда под

ногами людей стремительно разверзлась каменная пасть, Искра даже не особенно удивился, только отступил подальше, обеими руками хватаясь за кол, торчащий из грудицы, и пытаюсь вытащить этот прощальный орденский подарочек.

— Помочь али не мешать? — поинтересовался откуда-то сверху веселый девичий голосок. Шасса при одном взгляде на девушку, длинные волосы которой были заплетены в десятки тонких косичек, зашипела и выставила перед собой руки, до локтей покрытые чешуей, а та лишь звонко рассмеялась, прикрывая хорошенький рот ладошкой. — Ну, не надо так грубо. Вы меня так развлекли, что захотелось отблагодарить актеров за прекрасное представление.

Вынырнувшее из-под земли зеленоватое щупальце тугой плетью оплело настывшее на морозе железное копьё, отрывисто, сильно дернуло, да так, что Искра не устоял на ногах и повалился на колени, и извлекло кол из раны.

— Я полагаю, так лучше? — Девица в модном городском платье поерзала, поудобнее устраиваясь на узком подоконнике, и широко улыбнулась: — Не бойтесь, вы слишком интересны, чтобы отправить вас на переваривание прямо сейчас, для этого достаточно корма, который вы столь любезно мне предоставили.

— Так ты и есть... — Искра попытался вздохнуть поглубже, но сразу же глухо заперхал, сплевывая на снег густые темные комки, — Госпожа Загряды?

— Нет, что вы! — Девушка принялась болтать ногами, и на миг харлекину почудилось, что под длинной юбкой у нее скрывается что-то еще, что-то чужеродное. — Я всего лишь ее Голос, а иногда, как сегодня, еще и глаза. Ей стало слишком скучно, но вы неплохо справились с этим ее... состоянием. — Она склонила голову набок, тонкие косички, украшенные бусинками и монетками, соскользнули по плечу и закачались на холодном ветру. Погашенный фонарь, со скрипом раскачивавшийся на несмазанных петлях у затворенного окна, вдруг разгорелся тусклым зеленым сиянием, будто бы кто-то незаметно поместил в узорчатую стеклянную башенку мягкую, слабо светившуюся в темноте гнилушку. Густые тени, не дававшие толком разглядеть девицу, беззаботно сидевшую на подоконнике, отступили, и Искра наконец-то увидел ее глаза. Пустые, затянутые белесой пленкой. Слепые, как у подземных рыб, живущих и умирающих в непроглядной тьме подземелий. Страшные, чужие глаза, не видящие света, но каким-то образом заглядывающие в глубину сознания. Так, как будто на дне светло-серых, узких, как червоточина, зрачков жило нечто древнее, чужое, непонятное и потому пугающее до дрожи.

В Лиходолье есть неписанный закон, по которому живут люди этой необъятной, неизведанной и на треть степи с редкими островками лесов и невысоких скалистых гор. Закон, которому подчиняются все, от мала до велика. Закон, невыполнение которого чаще всего карается участью худшей, чем смерть.

Не смотри на зло, и оно тебя не увидит.

В слепых глазах девчонки, на вид едва ли старше ромалийской шассы, жила пугающая до безумия, холодная и безжалостная Бездна, жадно взирающая на каждого, кто осмеливался в нее заглянуть. Голодная, оценивающая. Запоминающая.

Так вот ты какая... Госпожа.

— Я надеюсь, весной вы порадуете нас еще больше. — Фонарь качнулся, слепая улыбнулась и отвела пустой взгляд в сторону, туда, где висел пригвожденный к стене музыкант.

— Порадуем? — тихо проговорила Змейка, делая шаг по направлению к Голосу

Загряды. — Ты еще кого-нибудь хочешь на нас натравить?

— Нет-нет. — Девушка наставительно подняла палец кверху. — Убив змеелова, вы сами сделали себя объектом мести Ордена. Они всегда узнают о гибели своих слуг, просто добравшись сюда они смогут только с наступлением весны, так что у вас есть время, чтобы подготовиться к встрече. Простите, но Госпожа не выпустит вас из города, заранее предупреждаю. Вы, конечно, можете попытаться убежать, но не советую. — Она очаровательно улыбнулась: — У вас все равно не выйдет. Давайте договоримся: если вы переживете следующую встречу с змееловами, Госпожа даст вам возможность уйти. Просто не будет вмешиваться в происходящее, и этого, уверяю вас, вполне достаточно, чтобы скрыться. Конечно, если приложить к этому определенные усилия. Договорились?

Искра тихо скрипнул зубами. Змейка молча подошла к нему, положила узкую чешуйчатую ладонь на зияющую в груди рану и уткнулась лбом в его плечо, дрожа всем телом не то от холода, не то от пережитого страха.

— Молчание — знак согласия!

Фонарь, до того с мерзким скрипом раскачивавшийся на ветру, внезапно разлетелся вдребезги, да так, что наиболее крупные осколки застучали по Искрову плечу, все еще защищенному железной броней, и девушку со слепым взглядом проглотила тьма. Мгновенно, как если бы густая тень, возникающая на месте зеленоватых световых пятен, обратилась в бездонную пропасть, в которую провалился Голос Загряды. Узкий месяц, на миг выглянувший в прореху меж облаками, высветил пустой подоконник, на котором лежал нетронутый слой пушистого снега.

Ушла, будто бы не было ее...

Харлекин посмотрел на тела, лежавшие на крохотной площади, но они уже исчезали в разверзнутой каменной пасти, утаскиваемые зеленоватыми, похожими на побеги растения щупальцами. Не тронули только змеелова, прибитого шестигранным колом к стене дома, — не то побрезговали, не то оставили в качестве объяснения для тех, кто станет утром выяснять судьбу посетившего город дудочника. Впрочем, к рассвету тело наверняка будет объедено до неузнаваемости местными падальщиками, но его инструмент-то никуда не денется. Как и правая рука ганслингера с намертво зажатым в пальцах именным револьвером, которую смыкающиеся каменные челюсти весьма неаккуратно отделили от утянутого в бездну тела.

Отличные находки для тех, кто приедет расследовать смерть своих коллег.

— Искра! — Змейка подняла на него напуганный взгляд, наполненный слезами. — Искра, пойдем домой.

Он ничего не ответил, только прижал ее хрупкое тело к себе, искренне сожалея о том, что полученные раны не позволят ему обратиться в человека здесь и сейчас. Потому что до боли хотелось не только обогреть ее, не только защитить от холода, ветра и людей. Хотелось понять, что превратило священный страх смерти, присущий каждому существу, живому или мертвому, человеку или оборотню, в фарс, в еще одну причину, чтобы посмеяться над собой — и над врагами. Понять, почему инстинкты шепчут ему о том, что он может быть с ней в любой форме, в любом виде. Что он создан, чтобы удовлетворять любые возможные потребности шассы, которую счел своей. Той, которая сделала его своим, изменив и дополнив его управляющий блок.

Потребность в защите, в помощи, в поддержке.

Потребность в партнере.

Искра наклонился, и щекочущие теплую человеческую кожу металлические гибкие

прутья обратились в легкие, реющие на ветру волосы. Змееловы обязательно придут, они никогда не оставляют своих дудочников неотомщенными, но это будет только весной. А до того нужно еще пережить заглядскую зиму, которая славится не только холодами и сыростью, но и болезнями. Пережить пасмурные, неяркие дни, когда местная нежить может почти безболезненно появляться на улицах даже после восхода солнца, и непроглядные из-за темноты и тумана ночи, охотиться в которые нечисти втрое легче, чем обычно.

Харлекин зарылся лицом в растрепанные кудряшки, чуть присыпанные снегом, и глубоко вздохнул. Черт с ними, змееловами. Пусть приходят.

# Часть вторая

## ОХОТА

*В канцелярию Ордена Змееловов*

*Из отчета Викторiana из рода Зимичей*

Поиски «змеиного золота», несмотря на все усилия, так и не увенчались успехом.

В горах с каждым днем все холоднее. Передвигаться по тропам становится слишком тяжело, а после вчерашних заморозков, когда камни покрылись тонким слоем льда, мы чуть не потеряли проводника. Из шассьего гнездовища к этому времени уже наверняка вывезли все каменные деревья, и надеюсь, что Орден благосклонно отнесется к моей просьбе о предоставлении в качестве личного трофея гранатовой скульптуры змеелюдов.

К середине сентября наша поисковая группа проверила все окрестные поселения: змеиных шкур никто не находил, и никто из жителей не пропал надолго, не возвращался в изодранной или испачканной одежде, что непременно случилось бы, если кого-то подменила недозрелая шасса, вырвавшаяся из облавы. Возможно, она просто нашла глубокую расщелину в скалах, коих в этих местах предостаточно, и впала в зимнюю спячку. В таком случае стоит организовать в эти края еще одну группу с первым голосом во главе, чтобы обнаружить змеелюдку по весне, когда эти твари наиболее медлительны и беспечны.

Но есть одно обстоятельство, которое беспокоит меня.

Нынешние поиски были организованы, опираясь на слова подобранной на дороге ромалийской девочки, которая якобы видела змеелюдку с золотым, подчеркиваю — золотым, — узором вдоль хребта. Предполагалось, что именно эта шасса убила разбойников, напавших на небольшой ромалийский лагерь, вероятнее всего, защищаясь от неожиданной агрессии со стороны людей. Девочке я лично играл «призыв шассы», но ожидаемого отклика не было. Теперь же, проведя около трех недель в исследовании местности, я постепенно прихожу к выводу, что меня ввели в заблуждение.

Этот ребенок, оставленный с ромалийским табором, мог оказаться вырвавшейся из облавы недозрелой шассой, причем шассой золотой. Только так я могу объяснить тот факт, что девочка не отозвалась на зов моего инструмента и не предстала в своем природном облике: золотые шассы, как известно, крайне слабо восприимчивы к магии дудочников, даже будучи в юном возрасте.

Таким образом, я предлагаю повсеместно усилить бдительность в отношении ромалийских таборов, появляющихся в крупных и мелких городах, начиная с этой осени, по возможности — участить проверки штатными дудочниками на местах.

И еще — поскольку ответственность за данный промах целиком и полностью лежит на мне, как на первом голосе, прошу Орден дать мне возможность лично проверить каждый табор, подавший прошение на зимовку в небольших и особенно — в неблагополучных городах...

После затяжной, непостоянной в чередовании лютых холодов и внезапных оттепелей зимы наступила гнилая весна. Снег почти полностью сошел с каменных ладоней площадей, но тепло и хорошая, сухая погода и не думали возвращаться. По ночам, как и прежде, стояли ледяные заморозки, а сырость в весенней Загряде оказалась столь велика, что белесый туман, окутавший сонный, притихший город, не рассеивался даже к полудню.

Середина апреля.

Если подняться на городскую стену, то по обе стороны от дороги, превратившейся в раскисшую от влаги глинистую ленту, можно увидеть бурые поля, испещренные рытвинами, и невысокие холмы. Ни травинки, ни листочка, лишь кое-где уныло-желтые остатки прошлогодней растительности. Искра рассказывал, что весна в Загряде на редкость безрадостное зрелище, что лишь к маю луга оденутся зеленью, а вода в реке, протекающей через восточную окраину города, из свинцово-серой станет голубой. И так до конца июня, пока не придет жара и духота, пока камень на открытых солнцу площадях не раскалится настолько, что босиком уже не пройдешь — обожжешь ступни до волдырей. На мой вопрос, почему же люди не уедут из Загряды, раз жить тут так неудобно, харлекин лишь невесело усмехнулся и посоветовал вспомнить о том, что пресловутая Госпожа очень неохотно отпускает кого-либо из своей свиты. Ромалийскому табору из города тоже пока не уйти — дороги развезло настолько, что если пешком или верхом на лошади еще кое-как выберешься, то тяжело нагруженные фургоны со скарбом как есть утонут в жидкой глине по самые оси.

Проклятая весна...

Зима была тяжелой, снежной, с кусачим морозом и лишь изредка стихающими ветрами. С наступлением холодов, уже после того, как городские власти тихонько замяли дело с «пропавшим» в Загряде дудочником, нечисть затихла, будто впала в спячку. Это не мешало харлекину стращать меня едва ли не каждый вечер, дескать, придут еще местные хищники драться за уютную «кормушку», но, к счастью, его предсказания не сбылись. То ли нечисти хватало бродяг, замерзающих под лестницами и во вскрытых подвалах, то ли обереги, которыми Ровина одарила каждого человека из своего табора, в самом деле помогали, но за зиму никто не пропал в зловещем лабиринте узеньких, гулких переулков города, никого не утащили из постели в ледяную ночь, не соблазнили сладкими речами под окном.

Зато когда холода начали потихоньку ослабевать, люди в ромалийском зимовье, как и многие в Загряде, столкнулись с более страшным, чем нечисть, невидимым врагом, от которого не спасали амулеты и благоразумие.

В начале марта, когда отступила стужа, в город тихо и неслышно пришла лихорадка. Она прокралась почти в каждый дом, где жили ослабленные зимним холодом, сквозняками и постоянным недоеданием люди, и принесла с собой сильный жар, ломоту в костях и кровавый кашель.

К ромалийцам потянулись страждущие из бедных кварталов, где люди не могли себе позволить услуги врача и дорогие именные лекарства, потянулись к нашим знахарям, которые ведали о лечебной силе трав и могли поделиться секретами исцеления за куда меньшие деньги, чем городские лекари. Приходили и в наше зимовье, и в дома оседлых ромалийцев, которые, как оказалось, прекрасно прижились в Загряде, заплатив за это право чуточку безумной, бесшабашной и мятежной бродяжьей душой. Я с ними только раз



столкнулась и не сразу признала в людях с потухшими, будто бы выгоревшими изнутри глазами когда-то шумный и веселый кочевой народ, чьи песни и пляски зажигали сердца, приносили в спокойный, застывший быт хмельную, искреннюю радость. Впрочем, навыков врачевания они не утратили, и горожане тянулись к этим людям, от бродяжьего прошлого которых остались лишь серые пуховые шали и массивные кольца с крупными камнями, несли к ним мелкие серебряные монеты и получали взамен травяные смеси в грубых льняных мешочках вместе с надеждой на скорейшее исцеление родных и близких.

Лирха Ровина не отказывала в помощи никому, даже безнадежным, запущенным больным, и казалось, что звон золотых бубенцов на ее браслетах и монеток, вплетенных в длинные косы, отгоняет от постели страждущего не только злую лихорадку, но и холодную, равнодушную смерть. Она без устали готовила все новые и новые снадобья, раздавая их за медяшки, раскладывала тарры, читая по ним чужие судьбы, и даже изредка прибегала к колдовству, когда травы не помогали, а по раскладу выходило, что человеку еще не пора на тот свет.

И стремительно угасала сама, растрчивая далеко не бесконечные силы направо и налево...

Я осмотрелась по сторонам и, подобрав длинную оборчатую юбку, цвет которой вполне мог соперничать с бирюзовыми бусами у меня на шее, уселась на поваленный в начале зимы древесный ствол. Печально звякнули бубенцы на золотых браслетах, когда я старалась подобрать юбку так, чтобы не вымазать в весенней грязи слегка вылинявший подол. Взглянула на северные заградские ворота, на дорогу, петлей обнимавшую холм, на котором я сидела.

Ровина умерла в конце марта, став одной из последних жертв покидающей город весенней лихорадки. Смерть все-таки собрала свою жатву и, уже уходя, прихватила с собой пожилую лирху, которая за последний месяц исцелила больше больных, чем за весь прошедший год.

Несправедливо? Не уверена.

Кажется, Ровина знала о том, что ей не суждено пережить нынешнюю зиму, уже давно. Еще до того, как приняла меня в табор, дав мне новое имя, новую семью и новую цель в жизни, она знала, что тяжелая легочная болезнь и возраст не позволят ей тянуть с выбором ученицы, а «зрячесть» и ромалийское колдовство лишь ненадолго отодвинут неизбежное.

Перед самой смертью Ровина позвала меня к себе. До сих пор помню, как в комнате, пропитанной тяжелым запахом травяных снадобий и восковых свечей, невесть откуда повеяло душистым теплым весенним ветром, несущим с собой горький аромат черемухи. Как лирха, до того два дня не имевшая сил подняться с постели, встретила меня посреди комнаты, облаченная в яркий узорчатый наряд, а не в тонкую льняную сорочку, как протянула мне худые, иссушенные болезнью теплые руки, увлекая в круг танца. Последнего, как я поняла чуть позже, но в тот момент ромалийская пляска увлекла меня, как бурная горная река.

Ровина танцевала на небольшом пятачке свободного пространства посреди комнаты, и в какой-то момент я осознала, что под ногами уже не выскобленные добела доски, а нежные, шелковые травы, что над головой не низкий потолок, а бесконечно глубокое, высокое темно-синее небо с россыпью хрустальных звезд. Шелестит бескрайнее травяное озеро, облитое неверным лунным светом, и кажется, будто бы пушистые кисточки цветущих травинок — это пенные барашки на гребнях волн. Лирха делает шаг в сторону, оборачивается вокруг оси

— и вот уже не пожилая женщина, юная прекрасная девушка с яркими бирюзовыми глазами улыбается мне, протягивает нежные, чуткие руки и защелкивает на моих запястьях золотые браслеты с тихо позванивающими бубенцами...

Видение оборвалось, и я осознала, что сижу на полу и обеими руками держусь за сухую, медленно остывающую ладонь Ровины. Бирюзовые глаза закрыты, лицо спокойное, в уголках губ навсегда замерла едва заметная улыбка. Я не слышала, как в комнату вошел Михей-конокрад, но именно он торопливо оттеснил меня от тела ромалийки, с какой-то странной, затаенной нежностью провел кончиками пальцев по ее впалым щекам, а потом поднял Ровину на руки и вынес из комнаты.

Я осталась одна, еще толком не понимая, что произошло.

Теперь я — лирха ромалийского табора, мне вести их по серебряной дороге берегинь, пролегающей сквозь подземное царство, по дороге, на которую не может ступить ни нежить, ни случайный человек, — только те, кого пригласит лирха следовать за собой. Только вот получится ли у меня? Ведь я всего лишь притворяюсь человеком, на самом деле мое тело покрыто прочной чешуей, у меня нет ног — вместо них сильный длинный хвост с ядовитым шипом на самом кончике.

Искра, едва увидев меня после похорон пожилой лирхи, впервые на моей памяти впал в настоящую ярость. Он ревел, что табор и люди, живущие в нем, навязали мне чужую судьбу, что превратили меня всего лишь в живой компас и живой щит, в то время как шасса должна оставаться шассой. Что можно притворяться человеком, но нельзя им по-настоящему стать. Грозился перебить всех ромалийцев, только чтобы они оставили меня в покое и наконец-то позволили жить своей жизнью, и остановился только после того, как мы едва не подрались, безобразно, некрасиво и почти утратив человеческий облик. В результате харлекин зло плюнул мне под ноги и ушел.

Надолго, как впоследствии оказалось.

Почти месяц он шатался невесть где, а когда вернулся, я узнала его лишь по татуировке-штрихам да по лисьему взгляду прозрачно-карих глаз. Искра сменил облик, превратившись из жеманного, тонкого, как веточка, и молодежавого юноши с лицом дамского угодника в мужчину, при одном взгляде на которого любой нормальный человек постарался бы как можно быстрее перейти на другую сторону улицы. Строгое, не улыбочивое лицо, которое могло бы быть красивым, если бы было хоть чуточку более живым, квадратный подбородок и телосложение, на две трети приближенное к реальным пропорциям железного чудовища. Не то что прежняя юношеская subtilность. Харлекин по-прежнему был рыжим, но вот шикарный хвост волос остался в прошлом, сменившись странным дикарским сочетанием коротких, до плеч, слегка волнистых прядей и длинных тонких косичек, увешанных серебряными бусинками.

Он охотился на человека и преуспел. Напомнил мне, что харлекин не только оборотень, покрытый железной броней, не только тепло, к которому можно прижаться холодной ночью, чтобы согреться. Это еще и хищник, которого сколько ни корми с рук, все равно рано или поздно уйдет в лес на охоту, ведь охота — это не только теплое свежее мясо, это сладость погони, пьянящее чувство победы. Это — свобода от оков серого безразличия, навязанных Загрядой. Страшная, неприемлемая для человека свобода.

Но ведь он, как и я, не человек...

Я тогда спросила у него, на кого он пытается произвести впечатление? На меня, на дудочника, который непременно явится еще в Загряду, как только дороги немного

подсохнут, или на окружающих, до того не воспринимавших долговязого тощего юношу с фальшионом как серьезного противника? Зачем нужно было убивать, чтобы сменить облик? Но Искра только отмахнулся и неожиданно попросил разрешения остаться в ромалийском зимовье.

Холодный, сырой ветер скользнул под воротник теплого женского кафтана, застегнутого до самого горла на крупные медные пуговицы, огладил ледяными невидимыми пальцами открытый затылок. Я поежилась и плотнее запахнула уголки цветастого головного платка. Забавно я, наверное, сейчас выгляжу — скорее всего, похожа на нахохлившуюся ворону, которую кто-то шутки ради раскрасил в непривычно яркие цвета. Кончики пальцев пожелтели от постоянной работы с крепкими травяными настоями, кое-как суженные воском Ровинины перстни постоянно переворачивались камнями вниз, к ладони, от непрекращающегося звона бубенчиков на браслетах и в волосах ныли виски. И как только Ровина это все выдерживала? Дело привычки или все-таки есть что-то такое в людях, что делает их значительно крепче любой нечисти?

Спину окатило чужим горячечным теплом, а потом на мои плечи тяжело легли широкие ладони. Я вздрогнула всем телом, с трудом удержав непрошенный удивленный возглас, и обернулась.

— Раньше ты не подкрадывался ко мне со спины. Новый облик — новые привычки?

Искра лишь улыбнулся, нависая надо мной подобно скале.

— Нет, скорее это ты слишком очеловечилась. — Голос у него остался прежним — глухим, рокочущим, только к нынешнему облику харлекина он подходил много больше. Искра наклонился так, что длинные тонкие косички с узорчатыми серебряными бусинами скользнули по моей щеке, заставив поежиться: — Разве раньше ты не почуяла бы мое присутствие до того, как я подойду чересчур близко? Или лирхи лишены интуиции?

— А может, все дело в том, что теперь не чувствую в тебе угрозы? — в тон ответила я и отвернулась, уставившись на грязно-бурую ленту дороги, устремлявшуюся прочь от города за холм. Скорей бы май. Грязь высохнет, и можно будет вывести табор из проклятого места. Придут змееловы или нет, но ромалийцам нельзя здесь оставаться. По обычной дороге или же по серебряной ленте-тропе берегинь, но мы уйдем из Загряды, и даже Госпожа не помешает нам.

— Ты не чувствовала Госпожу и в городе, пока не стало слишком поздно. И ты все еще ей доверяешь? Где же тогда опасность, что грозит нам дальше? — спросил он, осторожно проводя по моей щеке грубой ладонью, словно стирая прикосновение настывших на холоде металлических бусин.

— Доверяю. Разве ты сумел хотя бы дотянуться до меня тем вечером? Так почему я должна была ощущать угрозу в том, у кого недостаточно сил, чтобы мне навредить? — Я улыбнулась, склонив голову набок, ощущая, как дрогнула сильная, жесткая рука, легонько касающаяся моей кожи. — Хочешь, погадаю, откуда придет настоящая беда: из-под земли или все-таки с дальней дороги?

— Да-да, мне очень понравился результат предыдущего твоего гадания. Стоило бросить тарры, как явился дудочник. Змейка, я думаю, что только ты возьмешься за них, господин-с-дудочкой снова явится по наши души. И на этот раз так легко мы не отделаемся. Ты все еще веришь своим предчувствиям?

— Я теперь лирха. А лирхи живут предчувствиями.

Тяжелая ладонь неохотно соскользнула с моей щеки, когда я поднялась на ноги, и мы с

Искрой оказались разделены поваленным бревном. Зазвенели-запели золотые бубенцы на браслетах, когда я подхватила лежащий на земле деревянный узорчатый посох, провернула его в воздухе и ступила на первый круг танца. Шаг, другой — пожухлая трава под ногами вначале покрывается белесым инеем, а потом неожиданно поднимается, зеленея и распускаясь мелкими желтоватыми цветочками. Посох в моих руках дергается, как живой, качается, наподобие маятника — с севера на юг, с запада на восток, словно избирая направление. Резкий поворот, голубая юбка взмывает бирюзовым крылом, мягко опадает, щекоча ноги пышными оборками. Звенят монетки, вплетенные в косы, звенят колокольчики на ножных браслетах. Я разжимаю пальцы, и посох падает, вонзаясь нижним концом в раскисшую после сошедшего снега землю. Дрожит и медленно кренится, указывая наверх за холм, туда, куда устремлялась северная дорога, — к славенской столице, Новограду.

Я остановилась, глядя на посох.

— Вот тебе и ответ. Змеелов принесет нам больше проблем, чем Загряда, иначе эта палка просто упала бы на землю.

Харлекин с минуту помолчал, мрачно вглядываясь в туманную даль, а потом перешагнул через упавшее дерево, подойдя ко мне почти вплотную.

— Змейка, ты хоть представляешь, что ты нам накаркала? — Подзатыльник, который харлекин мне все-таки отвесил, оказался весьма чувствительным. — Если то, что едет сюда, страшнее даже Загряды, нам пора уходить прямо сейчас, пока оно еще в пути! Надеюсь только, что змеелов не дурак, чтобы кататься по такой грязи...

— Боишься — уходи, — тихо, очень тихо произнесла я, медленно поднимая на Искру шассий взгляд, всматриваясь в красно-золотое пламя, чуть тронутое по бокам фиолетовой дымкой страха и черной, тонкой паутинкой злости. Я тоже злилась. Не из-за подзатыльника, а потому, что Искра предлагал бежать, оставив в заложниках Загряды целый ромалийский табор, который я пообещала защитить и вывести в более приятное для жизни место. — Проваливай отсюда, может быть, даже успеешь уйти от города достаточно далеко, и Госпожа не хватится удравшей игрушки. — Лирхин посох неожиданно прыгнул мне в правую ладонь — резное дерево оказалось теплым, будто бы нагретым солнцем. — Беги без оглядки, только я в любом случае остаюсь. Я не боюсь дудочников.

— Совсем не боишься? — Харлекин широко растянул губы в улыбке. Только вместо человеческих зубов в его рту сверкали треугольные, стальные, неярко блестящие на солнце. — В таком случае, судя по результатам твоего гадания, Змейка, тебе придется познакомиться с таким чувством, как страх.

Я не ответила. Я смотрела на дорогу, затянутую туманом, по которой медленно ехали всадники. Восемь человек верхом на лошадях: у шестерых безразличная, тусклая синесиреневая аура людей, привыкших ко всему, в том числе и к убийству, и еще двое, сияющие ярко, как огни маяка. Рыже-сиреневое сияние, свидетельствующее о тщательно скрываемом безумии, а вот второе...

Раньше я уже видела это ледяное синее спокойствие с пригретым под сердцем незатухающим угольком мечты-одержимости, который со времени нашей последней встречи успел разгореться в неровное, постоянно поддерживаемое пламя. Видела и в разоренном шассьем гнездовище, и в тряской телеге под мелко морозящим дождем.

— Искра, сядь, — негромко приказала я, зажмуриваясь и возвращая своим глазам человеческий вид. Бежать нельзя — дудочник сразу заметит, как хищный зверь замечает

бегущую прочь добычу. Можно только остаться на месте и, как в прошлый раз, притвориться, что мы всего лишь люди. — И спрячь зубы.

— Хорошо. — Он сел прямо на раскисшую землю за моей спиной практически мгновенно, не пожалев кожаного плаща. — Что там?

— Смерть, — тихо ответила я, наблюдая за тем, как забрызганные дорожной грязью с головы до ног всадники неторопливо подъезжают к северным воротам Загряды. Как дудочник, закутанный в когда-то черный, а сейчас пестрый от желтоватой глины плащ, достает из длинного чехла на боку что-то тонкое, длинное...

Беспольный посох моментально оказался на земле, когда я рванулась к Искре, обняла его, прижала его голову к своей груди, чувствуя, как руки покрываются плотной блескучей чешуей.

Мелодия змеелова грянула неожиданно громко. Она тугой спиралью развернулась над холмом, протянула частую сеть в сторону Загряды, отмечая каждого, кто не являлся человеком. Я ощутила, как харлекин дрожит всем телом, как леденеет прижатое к моей груди лицо, превращаясь в стальную маску, как трещат рукава, пытаюсь вместить покрывшиеся железными доспехами руки, как Искра торопливо прячет длинные когти в складках моей юбки.

Только бы не превратился... Только бы не...

Колдовская мелодия коснулась моей спины, будто прохладный ветерок, — и скользнула прочь, так и не зацепив.

Тишина, такая же неожиданная, как и мелодия-оценка.

Я медленно, очень медленно повернулась, наблюдая за тем, как всадники по одному въезжают в гостеприимно распахнутые северные ворота Загряды.

Дудочник поднял голову, глядя в сторону холма, и даже с такого расстояния я заметила разные глаза на породистом, благородном лице. Правый глаз темный, почти черный, левый — светло-зеленый, прозрачный, как вода в ручье.

Я застыла, позабыв о том, что нужно дышать, и отпустило меня лишь после того, как змеелов скрылся за городской стеной. Только тогда я осторожно скользнула ладонью, с которой медленно сползала бронзовая чешуя, по волосам Искры, по-прежнему прижимавшегося к моей груди. Как ребенок, ищущий защиты у матери.

— В Загряду все-таки пришел твой страх, Змейка, — шепнул харлекин. — Я прав?

— Да. — Его руки потеплели, и я перестала ощущать стальные когти, прорезавшие юбку и царапающие лодыжки. — Я хочу, чтобы ты больше не бродил по улицам без меня, потому что этот дудочник поставит тебя на колени раньше, чем успеешь задуматься о своих действиях.

— И когда ты имела несчастье с ним столкнуться?

Ответить получилось не сразу — лишь после того, как Искра, вернувшись в человеческий облик, поднялся с земли, разглядывая треснувшие по швам рукава камзола.

— Он был с теми, кто вырезал мое гнездовище.

— А ты?

Я отмахнулась, разглядывая прорехи на юбке, оставшиеся после когтей харлекина.

— С тебя новая взамен испорченной.

— Да хоть все десять. Он тебя тогда не заметил?

— Нет. Он меня отпустил.

Потому, что не сумел распознать шассу в человеческом теле. Только вот что-то

подсказывало, что здесь, в Загряде, змеелов не допустит еще одну такую же ошибку.

Хуже весенней распутицы на дороге мог быть только сырой, промозглый туман, густой, как молоко, собравшийся в низине и накрывший приречный город Загряду белесым одеялом. Викториан уже не раз проклял свою самоуверенность, погнавшую его из теплого и сухого Новограда, в котором он провел зиму, к месту, где трагически погиб отправленный по запросу градоправителя дудочник.

Странный тут городок. То, что серый и унылый, еще полбеды, а вот возникающая в нем с завидным постоянством нежить стабильно портила годовую отчетность Ордена перед князем. Откуда только берется вся эта дрянь в забытом богом местечке, где даже кладбище маленькое и полузаброшенное, потому что жители предпочитают не хоронить своих мертвых, а сжигать их, — непонятно. Но факт остается фактом: каждые три-четыре месяца поступает вызов в Орден Змееловов, каждый раз дудочники привозят с собой трофеи, оставшиеся после «чистки», и видовое разнообразие каждый раз изумляет. Попадались не только широко распространенные падальщики, но и хорошо скрывающаяся нечисть: вампиры, каменные змеи и даже горгульи. Хоть заповедник открывай, право слово.

Поврежденное когда-то колено в очередной раз стрельнуло болью. Змеелов поморщился и остановил лошадь, пропуская вперед, в город, вначале наемников, а потом и ганслингера, перед самым выездом навязанного ему в команду. Катрина. Женщина, едва не ставшая первым голосом примерно полгода назад, но пострадавшая во время финального испытания и утратившая необходимую для игры на инструменте дудочника гибкость и ловкость пальцев. Женщина, которая вышла из лечебницы с кольцами ганслингера на правой руке, лютой ненавистью к змеелодам и значительно пошатнувшимся здравым смыслом. Катрина не могла долго удержаться ни в одной связке — дудочники один за другим отказывались работать с ганслингером, который ни с того ни с сего вдруг мог броситься на стоявшего на коленях нелюдя и начать кромсать его большим охотничьим ножом, с ганслингером, который не думал ни о своей безопасности, ни о чужой. Проще говоря, Катрину начали бояться свои.

Вик покосился на вежливо улыбающуюся стражникам светловолосую женщину. Мало кто догадывался, каким может быть это милое, нежное личико, обрамленное льняными локонами, какая гримаса уродует его, когда Катрина сносит огненным выстрелом голову очередному нелюдю. Она ведь специально подходит поближе и по возможности стреляет в упор и наверняка. И от брызг крови не уклоняется, напротив, подставляет лицо так, чтобы на бледной коже оказалось как можно больше рубиновых капель. Сумасшедшая, получающая редкое извращенное удовольствие при виде смерти. Если бы ее смелость и одержимость не давали хороших результатов, Катрину, скорее всего, отправили бы на пенсию в удаленный дом с надежной сиделкой, но пока ганслингер не переступит черту, отделяющую убийство нелюдя от убийства человека, — останется в строю.

Жаль, очень жаль. Викториан не боялся Катрину, но опасался ее безумия, того, что контролировать ганслингера становится все труднее, что все чаще она попросту игнорирует приказы и действует хаотично и непредсказуемо.

Черт бы ее побрал...

Первое прощупывание Загряды не дало почти ничего, да Вик и не ждал, что существо, уничтожившее отправленную на охоту связку вместе с наемниками, откликнется на «общий призыв». Зато дудочник успел разглядеть на холме девчонку, одетую в яркие ромалийские

тряпки. Значит, стоит поискать здесь не только убийцу коллеги, но и упущенную в горах шассу, которую он сам — сам! — отпустил на волю. Хуже того — отдал в ромалийский табор, который не только по всей стране разъезжает, так еще и берет к себе кого ни попадя. Змеелюдка уже десять раз могла сменить обличье, и никто бы ничего не заметил.

Проще отыскать иголку в стоге сена, чем шассу среди кочевого народа...

Следственный дом, в подвале которого покоились останки погибшей связки, нашелся почти сразу, на площади, в центре которой гордо возвышалась виселица и чернели камни у подножия толстого каменного столба.

— Скромные здесь нравы, — усмехнулась Катрина, по старой привычке касаясь губ кончиками пальцев, будто бы пряча улыбку. — По приговору вешают, без приговора — сжигают. Отделяют людей от нелюди таким нехитрым способом, что ли?

— Скорее просто избавляются от зла наиболее дешевыми и эффективными способами, — пожал плечами Викторян, спешиваясь и торопливо вытаскивая из кожаной петли, приделанной к чересседельной сумке, тяжелую деревянную трость с железной оковкой. — Грамотный палач, он ведь денег за свое ремесло требует, и денег немалых. Костер и веревка намного дешевле, а результат тот же.

— Ты редкая зануда, Вик. С тобой становится скучно. — Девушка скорчила недовольную гримаску и элегантно соскочила с лошади. Повела носом воздух, как хищное животное, и мечтательно улыбнулась. — Я знаю, что этот город меня непременно развеселит. Ты ведь читал путевой лист последнего Заказа в Загряде? Наш коллега набирал людей и снаряжение для охоты на чарана. Как думаешь, это дудочник оказался настолько криворукий, что не сумел удержать железного оборотня, или все-таки ему просто не повезло?

Змеелов лишь отмахнулся и направился к следственному дому, тяжело опираясь на трость. В холод и сырость хромота донимала его постоянно, колено болело непрерывно — не помогала даже согревающая мазь, выданная лекарем Кошем. Похоже, Загряда станет для него еще худшим испытанием, чем горные тропы, — там, по крайней мере, было не так сыро.

Впрочем, прием, оказанный прибывшим из самого Новограда служителям Ордена Змееловов, был на редкость теплым. Испортило его только приглашение воздать последний долг останкам усопших коллег, но Викторян вежливо отказался, заранее зная, что ничего нового от трупов он не узнает. А вот найденные на месте драки инструменты, когда-то принадлежавшие связке, действительно могли помочь. Чужая дудочка могла подсказать, какая мелодия на ней была сыграна последней, а значит, дать указание на существо, которое пыталось «зацепить» колдовство.

Вик осторожно взял осиротевший инструмент в руки, кончиками пальцев пробежался по вычурному узору, вьющемуся по металлической поверхности, огладил сапфировую крошку, складывающуюся в письмена на почти забытом и считающемся мертвым языке Кукольников.

— Ну что? — Катрина нетерпеливо подалась вперед, не в силах спокойно усидеть на слегка поскрипывающем стуле. — Кого ищем?

— Детка, — Вик скосил взгляд на ганслингера, — ты действительно считаешь меня уличным шарлатаном, которому достаточно потрогать чужую вещь, чтобы начать плести с три короба о его владельце?

Бах! Глиняная кружка, которой Катрина с силой ударила по столу, не выдержала и разбилась на куски, залив остатками горячего вина беленую скатерть. Маска миловидной девушки слетела с лица ганслингера, вспышка ярости изуродовала приятные черты, плеснула ненавистью из глубины льдисто-голубых глаз.

— Я тебе не детка!

— Серьезно? — Змеелов аккуратно положил чужую дудочку на стол и взглянул на медленно впитывающуюся в льняное полотно малиновую лужу. — А по поведению не скажешь.

Ответом была отколота от кружки ручка, просвистевшая мимо виска дудочника. Вик даже не шелохнулся: если со стрельбой у Катрины с самого начала было неплохо, то с метанием мелких предметов на расстояние, превышающее три шага, просто отвратительно. Бросала она неловко, по-женски выставив локоть вперед, и поэтому промахивалась почти всегда — к тихой радости окружающих, слишком часто имевших несчастье попадаться ей под горячую руку.

— Шла бы ты отдохнуть. — Дудочник с трудом проглотил обращение «детка» и внимательно посмотрел на перекошенное от злости лицо девушки. — Пока на людей не начала бросаться.

— Ты — не человек, — выдохнула ганслингер и, поднявшись из-за стола, вышла из комнаты, от души хлопнув за собой дверью так, что от косяка откололась длинная острая щепка.

Змеелов только улыбнулся про себя.

Если сказанное хотя бы наполовину оказалось правдой, жизнь стала бы намного проще и понятней. Но, к сожалению...

Викториан поднялся, запер дверь на задвижку и потянул за прочную крученую цепочку, на которой висело его сокровище. Его инструмент. Тонкая раздвижная поперечная свирелька, в узоре которой появился новый элемент — прозрачная гранатовая пластинка, ставшая клапаном над одной из дырочек. Кусочек трофея, который он все-таки сумел себе выбить в награду за удачную зачистку змеиного логова.

Мелодия, которую он выбрал, была нежной и тихой, ласковой, как материнский голос, чуткой и осторожной. Она оплела чужую дудочку, неподвижно лежащую на столе, тугой петлей, и та спустя какое-то время заиграла музыку, которую змеелов никак не ожидал услышать.

Инструмент мертвого дудочника фальшиво и нестройно, но вполне узнаваемо играл «подчинение шассы».



Овощная площадь оказалась наводнена людьми до отказа. День выдался на удивление теплым и ясным, извечный туман наконец-то расступился, превратившись из густой пелены в легкую кисейную дымку, и народ высыпал на улицы, подставляя ярким солнечным лучам бледные лица. Повсюду слышались оживленные разговоры, где-то играла скрипка, звенели монетки на ожерельях ромалийских танцовщиц.

Весна.

Алыми сполохами взлетают при каждом резком движении широкие оборчатые юбки, блестят грубоватые, крупные украшения, рассыпающие вокруг девушек десятки крохотных радуг. Юные смуглые лица улыбаются всем и каждому, а сильный, высокий женский голос выводит резкую, жгучую песню о запретной любви и жарком огне, о дороге за море, о чужестранцах и соплеменниках.

За прошедшую зиму я стала немного лучше понимать людей, но все равно многие вещи оказалось проще заучить, чем понять. Почему женщина плачет, а мужчина готов крушить все вокруг, если узнает, что вторая половинка гуляла и обменивалась поцелуями с кем-то еще? Почему словом «люблю» люди пытаются оправдать жестокое отношение к близким? Ведь если любишь, нужно оберегать и защищать, а не раздавать удары кулаком да плетью жене и детям со словами: «Я же вас люблю, это для вашего же блага». Какое может быть «благо»? Чему можно научить с помощью боли? Только беспрекословному подчинению, из которого рано или поздно непременно вырастет ненависть.

Мне объяснили, что так принято. Не у всех, но у многих. У тех, кто не уверен в себе, у людей, слабых духом, кто надеется привязать к себе женщину страхом, а не преданностью, — потому что страх вызвать гораздо проще, чем уважение и любовь, и редкая женщина сумеет преодолеть этот страх, так уж их воспитали.

Впрочем, Михей-конокрад, рассказывая мне тонкости человеческой жизни, поспешил оговориться, что у ромалийцев все иначе. Дорога сближает людей, заставляет относиться друг к другу честнее и бережнее. Ведь всякое может случиться на славенских трактах, и для того чтобы прожить долгую жизнь, людям в таборе нужно быть единым целым. Поддержать того, кто споткнулся, защитить слабого, накормить голодного. Потому что все сделанное добро, равно как и зло, непременно возвращается к человеку.

Закон равновесия, поддерживать который боги Тхалисса доверили своим змееподобным детям...

Я невольно улыбнулась, стоя чуть в стороне от плотного кружка зрителей, пришедших посмотреть не столько на ромалийские пляски, сколько на точеные смуглые ножки девушек, при каждом шаге открывающиеся почти до колена, на гладкие, золотистые плечи, обрамленные яркими блузками, на молодые, смеющиеся лица, на темные кудри, в которых запутались мелкие первоцветы. Все-таки не всесильна Госпожа. Пока люди тянутся к свободному ромалийскому огню, пока невольно притоптывают в такт скрипке и улыбаются при взгляде на стайку ярко одетых девушек, босиком пляшущих на холодных камнях мостовой, есть надежда на то, что когда-нибудь Загряда останется ни с чем. Либо люди уйдут из нехорошего места, либо самой Госпоже придется потесниться.

Я вздохнула, плотнее запахнула концы теплого платка на груди. Искра вчера ушел из зимовья со словами, что не намерен всю жизнь прятаться от дудочника, ошивающегося в

городе, и до сих пор о харлекине ничего не было слышно. Но раз змеелов с разными глазами до сих пор тут и уезжать, судя по всему, пока не собирается, Искра ему на пути еще не попался.

Кто-то неловко ткнул меня локтем под ребра, я охнула, подалась назад — и уперлась спиной в человека, стоящего твердо и незыблемо, будто скала. Тяжелая ладонь с мерцающим на мизинце золотым перстнем с крупным зеленым камнем сжала мое плечо, крепкие, натруженные пальцы смяли аккуратно уложенные складки цветастого ромалийского платка.

— Ну надо же, какая встреча! — Голос ровный, спокойный. Хорошо узнаваемый.

*Хриплый, будто надорванный голос. Тяжелый, пугающий взгляд разных глаз, такой страшный, что невольно хочется выколоть один из них, либо зеленый, либо темно-карий — все равно. Только бы не видеть это сочетание прозрачной зеленоватой воды и кладбищенской твердокаменной земли в человеческом взгляде. Страшно. До дрожи в коленях.*

*И одновременно любопытно...*

— Посмотри на меня. Что ты видела?

— Змею.

Я медленно повернула голову — и невольно вздрогнула, встретив страшный, ледяной взгляд разных глаз змеелова. Спокойное, породистое лицо, не молодое, но и не старое, светлые волосы, зачесанные назад ото лба и открывающие небольшой белесый шрам, рассекающий бровь. Строгий темно-серый камзол, застегнутый на частый ряд металлических пуговиц, со знаком Ордена на груди. Высокие, кое-как отчищенные от дорожной грязи сапоги и тяжелая, окованная железом трость. Неужели распознал? Понял, какую ошибку совершил, и теперь пришел завершить начатое когда-то дело? Или просто увидел знакомое лицо в толпе?

— Смотрю, ты, как и прежде, молчалива. Неплохое, я бы даже сказал, ценное качество для женщины. — Дудочник ловко развернул меня к себе и шагнул вперед, втискиваясь в плотно сбитую толпу зрителей так, что вывернуться из его рук и сбежать стало совсем уж невозможной задачей. — Как я понимаю, в таборе ты прижилась.

Я втянула голову в плечи и затравленно оглянулась, высматривая высокую фигуру Искры. Вот уж действительно — когда не надо, не отвяжешься, а как понадобится — не дозовешься.

— Девочка, почему ты так боишься старого, хромого музыканта? — Реплика казалась странной издевкой, да и, судя по всему, была таковой. Дудочник склонил голову и едва заметно холодно улыбнулся. — Тебе есть что скрывать?

— А вы в зеркало на себя давно смотрели, господин хороший? — отозвалась я с традиционным ромалийским говорком, с каким гадалки пристают к прохожим: «Позолоти ручку, красавица! Всю-всю правду расскажу, про жениха бедного аль богатого, про жизнь долгую...» — Нешто порчу навели, раз взгляд у вас такой страшный, нехороший? Да куда же мне, девке, не испугаться такого?

В ответ змеелов улыбнулся чуть шире и вежливей и наставительно поднял указательный палец к небу, будто читая лекцию или проповедь.

— Наш Орден создан, чтобы защищать человечество от нечисти и нелюди поганой, оскорбляющей своим видом Творца и угрожающей людским жизням. Честному человеку

нечего бояться змеелова, а следует оказывать ему всяческую помощь и поддержку. — Он рассказывал заученно, как по написанному, с слегка рассеянным видом, но его глаза следили за каждым жестом, будто бы цепляя крючьями в надежде что-то выяснить, подловить на лжи. — Проводишь меня к вашей лирхе.

И ведь не спросил даже, приказал.

— А зачем? — Я попятилась назад, пользуясь тем, что толпа несколько поредела: ромалийки завершили танец и теперь обходили зрителей по кругу с потертой войлочной шляпой в руках. Считалось, что не бросить бродячему актеру хотя бы мелкой монетки, когда тот проходит мимо, значит надолго отведать от себя удачу, а вот если уйти из зрителей пораньше, — то вроде и не просили у тебя ничего.

Он холодно ухмыльнулся, ловко бросая медяшку в шляпу.

— Я же сказал — оказывать всяческую помощь и поддержку. Об остальном говорить тебе не имеет смысла, особенно если ты не в состоянии уяснить такую простую вещь с первого раза.

— Ай, господин хороший, тогда, как полагается, на поклон к вожаку нашему, в зимовье ромалийское. Все по правилам: придете, испросите разрешения посетить нашу мудрую «зрячую», а уж ей и цель разговора изложите, и совета спросите, — затараторила я, копируя интонации одной из близняшек, Зарины. Она частенько пользовалась этим приемом, заговаривая зубы беспечному горожанину, пока вторая сестренка ловко и незаметно срезала кошелек с его пояса. — Вы ведь за советом к ней, за гаданием, так ведь? К ней многие ходят, большая очередь, всем правдивого гадания хочется, а уж какие она снадобья готовит...

Хлоп!

Ладонь змеелова надежно запечатала мой рот, тонкие пшеничные брови сдвинулись к переносице, и взгляд, и без того вызывающий неприятную мелкую дрожь в коленях, заледенел настолько, что мне почудилось, будто бы он прямо здесь и сейчас поставит меня на колени и объявит шассой, которую надлежит умертвить немедленно.

— Ты. Отведешь. Меня. К. Ней. — Он медленно, отчетливо проговаривал каждое слово. — У меня создается впечатление, что кто-то совершенно не умеет помнить сделанное ему добро. А зря. Пока я иду разговаривать сам. И по-хорошему. Думаешь, если я появлюсь с отрядом стражи, то вашему вожаку, — последнее слово он презрительно выплюнул, — это больше понравится?

Правильно когда-то учила лирха Ровина — рано или поздно любой позабытый, но не преодоленный страх вернется для новой схватки, и чем дольше тянуть и увиливать, тем меньше шансов на победу. Значит, придется учиться говорить от лица «зрячей» и знающей не только с ромалийцами и людьми, приходящими за помощью и верным гаданием, но и с дудочниками, которые могут воспользоваться дарованной Орденом властью и учинить беспредел там, где каждому оброненному слову не повинуются с первого раза.

Дудочник убрал ладонь от моего лица и выжидающе, с выражением легкого раздражения посмотрел на меня.

— Хорошо, господин. — Краем глаза я заметила в толпе рыжую Искрову шевелюру. Харлекин наблюдал за нами, но благоразумно держался в стороне, не решаясь приблизиться к змеелову без острой на то необходимости. Умница. Просто умница. Всегда бы так. — Пойдемте к гадальному шатру, господин хороший. Там у лирхи совета спросите.

— Провожай, — согласился музыкант. — И что мешало сделать это до того, как я был вынужден прибегнуть к угрозам?

Я не ответила. Осторожно высвободившись, я кое-как выбралась из толпы и неторопливо направилась к ярко-голубой с золотыми лентами на входе гадаальной палатке. Там ромалийки постарше продавали цветастые платки и мешочки с целебными сборами, крупные янтарные бусы, медные узорчатые браслеты и приворотные зелья, а в самой глубине шатра, в небольшом закутке, стоял низкий столик, покрытый синим шелковым платком. Туда я сейчас и направлялась. Зачем вести змеелова в собственный дом, если он всего лишь хочет поговорить с таборной лирхой, зачем открывать ему свое убежище раньше времени, если в том нет нужды?

Солнечный свет, лившийся с неба, вначале поблек, а потом и вовсе растаял в сгустившейся туманной пелене. Стук окованной железом змееловой трости о камни мостовой стал глуше и тише, дома в конце улицы Звонарей утратили четкие очертания, превратившись в безжизненные остовы скал. Я подняла голову к небу, но вместо солнца увидела лишь тусклый кругляшок, едва-едва проглядывавший сквозь сырую туманную пелену, — прямо-таки потемневшая от времени серебряная монетка, а не дневное светило. Луна и то ярче бывает, когда не прячется за облаками.

— Ну и погодка у вас. — Дудочник подошел ближе, а потом цепко ухватил меня за руку. Сильные, гибкие пальцы железным наручником оплели мое запястье, широкое кольцо на мизинце больно вдавилось в кожу. На мой вопросительный взгляд музыкант лишь холодно улыбнулся и нарочито тяжело оперся на трость. — Ты же видишь, я слишком стар, чтобы поспевать за тобой. Придется тебе немного потерпеть и идти со мной вровень.

Я медленно кивнула и торопливо отвела взгляд. От жесткой, широкой ладони змеелова вверх по руке разливалось странное, непонятное, но приятное тепло. Как будто солнечный луч ползет к плечу, ласковый и осторожный.

— Ты что, настолько меня боишься?

Жаркий наручник медленно разжимается, отпуская меня на волю, и я неосознанно хватаюсь за запястье, не то пытаюсь стереть непрошеное прикосновение, не то, напротив, силясь удержать полученное тепло. Жалобно, почти жалко плачут золотые бубенцы на Ровининых браслетах.

Что же я... так...

Откуда-то с перекрестной улицы, из-за дома, пахнуло сыростью, речной тиной и запахом гниющих на солнце водорослей. Я вздрогнула, неуверенно шагнула вперед, вслушиваясь в людской говор. Запах тины и застоявшейся воды стал сильнее, а еще к нему добавился едва-едва ощутимый рыбный запах, такой, как если бы я стояла на берегу реки в жаркий день, а у моих ног, на мелководе, в частой сетке лежали пойманные караси. Уже обессиленные и почти неподвижные. Часто-часто разевающие круглые беззубые рты и все еще пытающиеся дышать в перегретой мутной воде.

*Бабка Пелагея прикладывает крохотный уголек к горке табака, умятой в маленькую, изящную чашечку потемневшей от времени деревянной трубки, ждет, пока к низкому потолку шатра не поднимется сизый дымок, и смотрит на меня, неловко застывшую у входа с полным подолом натрушенной в крестьянском саду сливы.*

— Радка, опять по чужим садам шастала? — Пелагея заходится кашлем, глухо, отрывисто. На миг мне чудится, будто бы в двух шагах от тускло горящей свечи сидит, нахохлившись, огромная старая ворона с вылинявшими от времени перьями и здоровущим крепким клювом. — Поймают ведь тебя и надерут задницу розгами так, что три дня сесть

не сможешь. Зачем пришла-то?

— Бабушка Пелагея, — от сладко пахнувшей сливы рот наполняется слюной, и я торопливо сглатываю, подходя ближе к старухе и раскрывая подол, демонстрируя «улов», — а куда Таська пропала? Всем говорят, что сбежала с бродягой каким-то, но это же неправда! Она же чуть ли не королевича ждала лет с десяти, какие там бродяги?! Бабушка, расскажи, ты же точно знаешь...

Голос у меня прерывается всхлипом, я по привычке тянусь рукой к лицу, уголок подола выскальзывает из пальцев, и вся собранная слива дождем осыпается на плетенку, раскатываясь по углам едва заметными в темноте ароматными комочками. И вот тут я реву, громко и обиженно, как ребенок, несмотря на то что мне уже минуло тринадцать и я почти невеста. Сажусь там, где стояла, даже не пытаюсь собрать раскатившуюся сливу, зарываюсь лицом в сырой, пропахший сладким соком и древесной корой подол, и тотчас ощущаю, как на макушку мне опускается горячая жесткая ладонь.

— Вот дура девка! — В скрипучем голосе бывшей лирхи звучат одновременно легкая насмешка и материнское сострадание. — Ну чего разревелась? Прекращай слезы лить, лучше подол раскрой пошире.

Я шмыгаю носом и послушно расправляю юбку, за пятна на которой мать в очередной раз изругает меня, наверняка даст подзатыльник и отправит мыть общий котел, оставшийся после ужина, но это потом. Сейчас я во все глаза смотрю на бывшую лирху, которая внезапно распрямляется, став едва ли не на голову выше обычного, расправляет плечи и горделиво ведет рукой в воздухе, отчего дымок, поднимающийся от ее трубки, вдруг связывается в хитрый узел. Что-то упругое и холодное перекачивается по моей руке, оставляя влажный след, и мягко шлепается в подставленный подол. Я ойкаю, глядя на то, как рассыпанные по полу шатра сливы сами собой скатываются обратно в подол, ловя на блестящие бока отблеск одной-единственной свечи.

— А ты плакала, — усмехается старуха, наблюдая за тем, как растет горка сливы на моей расстеленной по полу юбке. Да только какая она старуха-то? В полумраке чудится, будто бы надо мной возвышается немолодая, но крепкая ромалийка с ровной, как у девушки, спиной, с гордо расправленными плечами и ясным орлиным взглядом, в котором дважды отражается алый огонек от тлеющего в трубке табака.

Выходит... что «бывших» лирх попросту нет?

Последняя слива подкатывается к моим ногам, и тогда Пелагея стремительно разматывает ладонью висящий надо мной дымный узел и тяжело опускается на подушки напротив сгорбленной годами бабкой, едва удерживающей в узловатых пальцах длинную трубку.

— Значит, ты про Таську узнать пришла. — Пелагея выдыхает дым, колечками поднимающийся к потолку шатра, и смотрит на меня. — Небогатое подношеньице, но от тебя большего и не дождеешься. Но раз знать хочешь, то расскажу. Сбежала твоя подружка. С тем, кого себе накликивала, с тем и сбежала.

— С королевичем? — Я привстаю, аккуратно ссылая сливы на сдернутый с плеч застиранный платок. — Да откуда она его выловила-то? На большой дороге, что ли?

Пелагея смеется, глухо и надрывно, будто ворона каркает.

— Не на дороге, а в реке. Речник ее увел в свое подводное царство, вот и весь сказ. Нежить водяная, до живых девок охочая. Где место нехорошее, дурное, там в реке рано или поздно речник заводится. Выходит он на берег чаще лунной ночью, но может и днем, в

туман или дождь. И принимает вид статного, красивого молодца в богатой одежде. Кудри у него всегда длинные, мокрые, даже если нет дождя, руки холодные, а одежда сырая, настывшая. За левым ухом у него висит тонкая лента из водорослей, ее он накидывает на руку своей возлюбленной — и тогда девка идет за ним куда угодно, как заколдованная. Хоть на сеновал, хоть на речное дно. И пахнет от этого королевича илом и застоявшейся водой, но околдованная девка этого уже не замечает.

— А сторонние люди? Не вмешиваются?

— Куда им! — Пелагея отмахивается и глядит так, что меня прошибает холодным потом. — Видят богатого мужика с девкой в обнимку, ну и что с того, что от мужика болотом тянет — может, у него одежда слегка заплесневела, а может, и вовсе почудилось. Девка-то сама идет, никто ее за волосы к берегу не тянет, нож к горлу не прикладывает.

— А если бы приложил?

Бабка негромко, хрипло смеется, хлопает в ладоши и запускает руку в горку слив, выхватывая одну, черную, с треснувшим от спелости бочком.

— Речник каленого железа боится похуже, чем вампир — солнца, потому он не притронется к девке, на которой хоть пряжка железная, хоть подковки на каблучках, но есть. Потому что если речник дотронется до железа, с него морок разом спадает и силу колдовскую он до восхода нового месяца теряет. И тогда до реки он может и не добраться — либо задохнется, либо крестьяне те же на вилы поднимут. Что тот речник без колдовства-то? Так, рыба с руками и ногами заместо плавников. — Пелагея ломает сливу пополам, вытаскивает желтоватую косточку и отправляет мякоть в рот. Задумчиво прожевывает, глядя на меня, и добавляет: — Зубастая такая рыба, хищная. Щука...

Из туманной взвеси выплыла молодая пара. Он — высокий, хорошо сложенный мужчина в дорогом, расшитом золотом тяжелом плаще до самой земли. Она — хрупкая и бледная, как первоцвет, голубоглазая барышня со смешной прической, делающей ее похожей на кудрявую фарфоровую куклу, ту, у которой закрываются глаза, если положить ее на спину. Дорогую куклу, такую только богачи своим дочерям подарить могут. И взгляд у девушки такой же, как у куклы, — стеклянный, пустой. Она кивала в ответ мужчине, покорно улыбалась на каждую его улыбку и тесно жалась к вытертому бархатному камзолу, стискивая тонкими белыми пальчиками винно-красный рукав с обтрепанным краем.

Пара приблизилась. Запах речной тины и застоявшейся воды под ковром из ряски стал сильнее. Я подалась вперед, всматриваясь в лицо незнакомца, — из-под шляпы мне был виден только заостренный, гладко выбритый подбородок, тонкие губы и чуть подрагивающие крылья небольшого носа.

Змеелов нетерпеливо сдвинул мою руку, напоминая о своем присутствии. Я не задумываясь хлопнула его по пальцам, скользкая взглядом по идущей вниз по улице паре.

На плечах мужчины, там, где тугие кольца медных волос касались малиновой ткани плаща, расплывались едва заметные темные пятна, а запястье девушки обвивала почти незаметная на фоне коричневого платья лента, скользкая и сырая даже на вид. Если это речник, то достаточно даже подковки или железной бусины, чтобы его прогнать, да только где ее взять-то? Из всех украшений на мне лишь золотые Ровинины браслеты да два ряда янтарных бус на шее, и ни ножа, ни гребенки. Не башмаком же в этого господина кидать? Это ж ведь еще попасть надо подковкой, что на каблуке, да в голую кожу, иначе толку с того

железа — чуть.

— Детка, ты чего застыла? — Змеелов выпустил мою руку и выпрямился, будто бы невзначай кладя ладонь на узкий чехол на поясе. — Заметила что?

Я посмотрела на музыканта. Взгляд невольно упал на крупные пуговицы, украшавшие его камзол. Серые, тяжеленькие, со скупым узором-петлей.

— Из чего у тебя пуговицы? — недолго думая, поинтересовалась я у змеелова. — Не железные?

— Может, и железные. А тебе зачем?

— За надом.

Дудочник даже возразить ничего не успел, как я дернула за пуговицу, ту самую, что и без моего вмешательства оторвалась бы сегодня-завтра, поскольку висела на двух тонехоньких нитках. А стоило холодному кругляшку скользнуть в мою ладонь, как я метко запустила его через всю улицу, попав в подбородок роскошно одетому господину.

Крепкая ругань была мне ответом. Мужчина оттолкнул свою спутницу, прижимая ладонь к челюсти, девушка-куколка, упав на мостовую, внезапно начала плакать, оглядываясь по сторонам, а музыкант крепко ухватил меня за руку чуть повыше запястья, как следует встряхнул и поинтересовался, за каким бесом я обстреливаю мирных людей чужими пуговицами.

— Людей, говоришь? — Я кивнула в сторону девицы, которая указывала трясущимся пальчиком в сторону своего спутника, которому всего минуту назад в рот смотрела с бесконечным доверием и щенячьей любовью.

А посмотреть было на что. Холеная рука, которой мужчина закрывал подбородок, удлинилась и обзавелась белесыми перепонками, кожа посерела, став как у утопленника недельной давности, а когда речник отнял изменившуюся ладонь от лица, пытаясь скрыть ее в складках плаща, я заметила зеленоватую чешую на его щеке, аккурат там, куда угодила железная пуговица.

— Ты смотри! — неподдельно восхитился змеелов, отталкивая меня себе за спину и вытягивая из чехла на поясе длинную металлическую дудку. — Первая распознала. Поделишься потом секретом?

Ответить я не успела, потому как речник, едва осознав, что обман раскрыт, бросился бежать. Река его укроет даже от музыки змеелова, вода — его суть, его сила, особенно здесь, в Загряде, где само место укрывает нечисть от людских глаз, облегчая охоту хищникам и одурманивая жертв. Если речник успеет добраться до воды, не поймает его потом, как ни старайся. Все равно уйдет. А до воды по загрядской весне рукой подать — любой сточный колодец здесь связан с рекой, обнимающей город по восточной стороне.

Если сегодня речник не получит желаемое, он непременно придет завтра. Или послезавтра. Или неделю спустя, когда голод выгонит его на берег за первой встречной. И вот тогда он уже не будет ни церемониться, ни притворяться: просто накинёт женщине на шею колдовскую ленту из водорослей и утянет на дно, невзирая на свидетелей. Да и кто рискнет обшаривать баграми илистое дно, когда под поверхностью свинцово-серой, мутной из-за поднявшегося ила воды рыщет нечисть с щучьей пастью? Речник и этих смельчаков утопит. Много ли трудов надо, чтобы человек, укутанный в теплую одежду, камнем пошел ко дну?..

— Играй на призыв речной нечисти, — скомандовала я, выныривая из-за спины дудочника и устремляясь в погоню за удирающим речником.

Я успела свернуть за угол, когда меня окатило мощным, тугим аккордом, издаваемым усыпанной драгоценными камнями дудочкой. Неистовая, жаркая петля, она как огненный кнут оплела мои ноги на короткое мгновение — и сразу же скользнула дальше, в темный и узкий переулочек в поисках намеченной жертвы.

Живая!

Я встала как вкопанная, не в силах поверить. Медленно опустилась на колени, глядя перед собой шассьими глазами. И впервые — за столь долгое время! — прозрела.

Песня, что играл дудочник, была живой, настоящей. Она огненной змеей тянулась через загаженный переулочек, вилась тугим, мощным телом, покрытым рыжей чешуей, сверкающей подобно солнцу на закате. Если присмотреться, то можно даже узор разглядеть, угольно-черный, повторяющий рисунок на инструменте разноглазого змеелова.

Где-то впереди раздалось приглушенное бульканье, мелодия стала ровнее, тише, а потом из густой тени в конце переулочка медленно вышел речник, с головы до ног опутанный колдовской петлей. Этот, в отличие от Искры, который готов был драть железными когтями все вокруг: и холодный камень мостовой, и подвернувшегося под руку человека — только бы освободиться, шел спокойно, без сопротивления, неуклюже переступая с ноги на ногу. Круглые, навывкате, водянистые глаза остановились на мне, и нечисть, окончательно утратившая сходство с человеком, шагнула ближе, широко и часто разевая круглый рыбий рот, поросший мелкими, чуть загнутыми внутрь зубами.

«Задыхается», — поняла я. Без воды сбросившему морок речнику придется очень туго, совсем как карасям в садке на мелководье, — дышит-то он жабрами, вон они вздуваются алыми мешками за сизыми щитками на короткой шее. И наверняка студеный апрельский воздух ему — как человеку лютый морозный ветер, выжигающий легкие, заставляющий захлебываться кашлем при каждой попытке вздохнуть.

Речник качнулся ко мне, выставив перед собой худые лапы с перепонками меж пальцев, оставляя на грязной мостовой влажный след. Кинется — не удержу. Жаль, что нет в руках старого Ровининого посоха: с ним любое чарование удастся вдвое легче и отнимает не так много сил, как должно бы. Но на нет и суда нет, придется воспользоваться тем, что есть.

Заплакали, зарыдали колокольчики на ромалийских браслетах, где-то за спиной почудилось змеиное шипение, недовольная трель. Я резко развернулась, начиная круг танца, на этот раз и для речника, застывшего у влажной каменной стены, и для дудочника, чья мелодия-змея тянула водяную нечисть прочь из тесного, темного переулочка на улицу, залитую солнечным светом, подальше от сливных колодцев и возможности сбежать.

Разноцветным радужным сполохом вьется подол оборчатой юбки, из-под алого полотнища то и дело выныривает желто-зеленый подъюбник, солнечным лучиком пляшет в темной подворотне в трех шагах от зачарованной нечисти, покачивающейся всем телом в такт мелодии браслетов. Все сильнее, все громче звенит в рукотворном ущелье меж стен домов дудочка змеелова, мне чудится, будто бы я слышу тяжелые, глухо отдающиеся эхом шаги — и торопливо зажмуриваюсь, пряча разлитое в глазах змеиное золото. Да только видеть мне уже не нужно: меня ведет звон колокольчиков, перемешанный с протяжными вздохами дудочки, ведет по спирали, с каждым шагом приближая к нечисти, воняющей речной тиной и затхлой водой.

Быстрее, еще быстрее!

Пауза, звенящая, напряженная до боли.

Я распахнула глаза, осознав, что нахожусь на расстоянии вытянутой руки от дышащей



гнилью нечисти, что могу рассмотреть каждую чешуйку, покрывающую одутловатое лицо с круглыми, навывкате, бесцветными глазами... Прянула вперед, как хищная птица, на лету сбивающая добычу, — и прошла сквозь нечисть. Будто в прорубь нырнула, не ощутив сопротивления плоти, только стремительно высыхающую на коже стылую воду.

И все.

Я привалилась плечом к сырой каменной стене, глядя на то, как речник с шумом оседает, растворяется, как мыльная пена в кадке, оставляя после себя лишь небольшую грязную лужу, в которую шлепнулись измазанные рыбьей чешуей и илом драные портки. Колени ходили ходуном, по спине в три ручья лился горячий, липкий пот. О том, чтобы выйти из переулка, даже речи быть не могло — тут бы на ногах удержаться и не сползти вниз по стеночке прямо в лужу, оставшуюся после речника. И, как назло, ни посоха, чтобы опереться, ни Искры поблизости, которому ничего не стоит отнести меня в гадальную палатку или в ромалийское зимовье.

— Впечатляет. Даже очень. — Сильная, жесткая рука подхватила меня под локоть, не давая упасть, а потом жарким кольцом обняла за талию, помогая устоять. — Все лирхи так умеют или только особо одаренные?

— Не знаю, — честно ответила я, прижимаясь щекой к колючему, нагретому чужим теплом камзолу и глядя на сиротливо болтающиеся нитки на месте оторванной пуговицы. — Ровина умела и меня научила.

— Вот, значит, как... — Змеелов ненадолго замолчал, разглядывая мое лицо в тусклом свете, едва-едва пробивающемся в переулок. — Как тебя зовут, лирха?

— Ясмия. Мия. Так меня назвали в приютившем таборе.

— Ясмия, — медленно повторил дудочник, перекатывая мое имя на языке и будто бы пытаясь ощутить его вкус. — Занимательно.

— Что именно?

Вопрос, разумеется, остался без ответа. Музыкант кое-как выволок меня на залитую солнцем улицу, усадил на ближайшую, протестующе скрипнувшую скамейку у чьего-то крыльца и осторожно опустился рядом, вытягивая больную ногу и принимаясь растирать колено.

— А тебя-то как называть?

Змеелов оторвался от своего занятия и недовольно посмотрел в мою сторону. Протянул руку, снимая с растрепанной косы налипшую на прядь зеленоватую чешуйку, и нехотя ответил:

— Викториан. Для тебя — Вик.

Коротко, будто камень в воду кинул. Черный такой, тяжелый камень, утонувший в светло-зеленом омуте.

Мы помолчали. Какая-то тетка выглянула из окна и, увидев, что мы заняли ее скамейку, принялась ругаться на чем свет стоит, угрожая вылить на нас вначале таз с мыльной водой, а потом и содержимое ночного горшка, но Викториан в ответ только поднял голову и откинулся назад, демонстрируя орденскую нашивку на груди. Сварливая баба ойкнула и поспешила скрыться в доме, напоследок с треском захлопнув ставни. Я опасливо покосилась на окно, а потом все-таки поинтересовалась:

— Вик, так чего ты у лирхи узнать-то хотел? Я слушаю.

Он глянул на меня так, будто впервые увидел, и внезапно рассмеялся сочным, раскатистым, приятным на слух смехом.

Искра метался по наглухо запертой комнате, заставленной сундуками, корзинками и коробочками, каким-то чудом умудряясь ничего не сбить и не перевернуть. Молча, не говоря ни слова — только сверкая морозным огнем в глазах, который, признаться, пугал меня сильнее, чем крики и ругань. Потому что если харлекин начинал ругаться, то можно было вздохнуть поспокойнее: гнев прошел, и осталось только желание поучить меня уму-разуму на свой манер. Но сегодня вечером все сложилось иначе. Когда я вернулась с «прогулки» под ручку со змееловом, в комнате меня встретила напряженная тишина, полумрак, едва разгоняемый несколькими масляными лампами, подвешенными к потолку, и ярко горящие синим точки у закрытых ставень. Искру я разглядела не сразу, потому поначалу едва не запустила ему промеж глаз подвернувшейся под руку ловушкой для вредных духов — обвешанным птичьими перьями и бусинами шаром размером с кулак из высушенной виноградной лозы и тонкой медной проволоки. От драки по недомыслию нас спасло то, что харлекин вовремя выдвинулся на свет, к счастью, пребывая в человеческой, а не в металлической форме.

Впрочем, выражение его лица ничего хорошего все равно не сулило. В последний раз Искра так злился, когда я сделалась лирхой, и результатом нашей ссоры стало новое тело харлекина и более напряженная, чем обычно, обстановка в Загряде. Искра тогда нарочно доводил местную нежить, обладающую хоть каким-то разумом, до белого каления своей нахальностью и изворотливостью, и в результате поучаствовал в десятке уличных драк, четыре из которых закончились безвозвратным упокоением обидчиков металлического оборотня. И только после этого харлекин успокоился настолько, что решил вернуться в ромалийское зимовье. А как теперь быть, когда в городе змеелов и его наемники, которые моментально примут охотничью стойку, едва услышат слово «нелюдь»?

— Искра, что случилось? — Башмаки я сняла еще у порога и теперь неловко мялась у двери, переступая с ноги на ногу и чувствуя себя весьма неудобно.

Молчание. Напряженное, злое. В тишине слышно лишь, как завывает ветер за неплотно прикрытыми ставнями и потрескивает фитилек в лампе. Глаза харлекина все еще колючие, сияющие бело-голубыми огоньками на бесстрастном, суровом лице. Губы поджаты, пальцы стиснуты в кулаки, спокойно лежащие на широко расставленных коленях.

— Почему ты злишься на меня?

Искра поднялся с табурета и оказался рядом со мной столь быстро, что я не успела даже ахнуть, сгреб меня в охапку и ошутимо тряхнул, да так, что я умудрилась прикусить себе кончик языка до крови.

— Ты правда не понимаешь?! — Голос у харлекина был тихий-тихий, больше похожий на предупредительное рычание, такое, после которого собака обычно кидается рвать глотку. — Ты шляешься со змееловом, думая, что если так хитро спряталась у него под носом, он тебя не заметит? Убиваешь с ним за компанию в надежде, что это тебе зачтется на эшафоте?

— Нет. — Я уперлась ладонями в каменно-твердые Искровы плечи, заглянула в медленно гаснущие лисьи глаза. — Перед Виком бесполезно выслуживаться, он и своих не щадит, чего уж говорить о чужих. Мне было... любопытно.

— Любопытно?! — Харлекин улыбнулся кривой, некрасивой улыбкой. Блеснули острые железные зубы, и на миг мне почудилось, будто бы под свободной одеждой дрогнули стальные доспехи. — Ты ходишь по краю пропасти из чистого любопытства?

— Край пропасти? Да ты видел его вообще, этот край, хоть когда-нибудь? — Я в сердцах ударила Искру по плечу, но только ушибла кулак. — Кто из нас двоих поставил на уши всю нечисть Загряды, добившись почетного статуса «откупной жертвы»? Кто попытался удрать из города, а потом едва не отдал концы, насаженный на железные колья? Кто в начале весны ушел на промысел, забыв простейшее слово «осторожность»? А?

Харлекин вновь улыбнулся, но уже мягче и по-человечески. Аккуратно поставил меня на пол и склонил голову, всматриваясь прозрачными лисьими глазами в мое лицо.

— Милая, а тебе не приходило в голову, что это все я делал, прекрасно зная, на что иду?

— А тебе? — Я сложила руки на груди. Колокольчики на браслетах протестующе звякнули и затихли. — Искра, он всего лишь человек, вооруженный бесполезной дудочкой. Да к тому же хромой. Сам посуди, ну что он может мне сделать?

— О, это уже слова шассы, а не пастушьей собаки на страже ромалийского покоя, — усмехнулся харлекин. — Действительно, что он может тебе сделать? Наверное, он пришел один, да и дудочка его настолько бесполезна, что ее можно не брать в расчет. Ты так думаешь?

Я промолчала — просто не знала, что ответить. На самом деле я почему-то не видела в Викториане, человеке с волшебной дудочкой, врага. Прекрасное оружие, почти совершенное, холодное, добротное — да. Существо, способное к принятию собственного, ни от кого не зависящего решения, — да. Но не врага.

Объяснить Искре я это не смогу, но иногда у шасс, которые всю жизнь смотрят в суть вещей и подчас умудряются заглянуть в будущее, случаются подобные озарения. Когда просто знаешь — и все. Вот и сейчас: нельзя объяснить, почему, едва заглянув в душу этого человека и увидев там яркое пламя мечты-одержимости, скрывающееся в ледяной небесной синеве спокойствия, я поняла, что это не враг. Кто угодно, но не тот, кто будет преследовать по пятам до конца жизни по чьей-то указке. По своей воле — да, и еще как, но не по чужому приказу. И мне стало любопытно, сможет ли этот человек, во всем и всегда опирающийся лишь на собственное мнение, понять шассу. Даже если та находится в облике ромалийской лирхи.

— Вот видишь, — харлекин, судя по всему, истолковал мое молчание по-своему, — тебе нечего возразить. Ты не можешь отрицать ни того, что дудочник, бесспорно, опасен для ромалийцев. Ни того, что в одиночку он, конечно, кажется не представляющим опасности. Но такие, как он, никогда не странствуют в одиночестве. А чем больше людей, тем они сильнее. Ты никогда не видела, как свора псов терзает медведя? Он мог бы зашибить каждую из собак лапой, но они берут числом.

— По-моему, ты слишком боишься людей. — Я покачала головой и в следующее мгновение поняла, что допустила ошибку, ткнув наугад и, судя по всему, неожиданно для себя попав в больное место.

Харлекин медленно выдохнул, низко опустив голову, и я услышала тихий, зловещий треск — это сминалась под пальцами Искры деревянная обшивка стены, у которой мы стояли.

— Значит... ты веришь в то, что сможешь ужиться... среди людей. Что можешь стать такой же, как они...

Дерево натужно закрипело под железными когтями, медленно прорезавшими доски в палец толщиной. Я застыла, ощущая, как сквозняк холодной ладонью оглаживает заледеневшие босые ступни, как пробирается под юбку, студит колени.

— Змейка, — голос Искры рокотал, как далекий гром, предвещающий бурю. — Змейка, ты сама разденешься или мне испортить и это платье?

— З-зачем?

— Чтобы я мог любить тебя так, как это делают люди. — Харлекин склонился, неровно остриженные рыжие волосы мазнули по моей щеке — осторожно, будто украдкой погладили. — А они это делают постоянно.

— Я не хочу.

— А женщину далеко не всегда спрашивают, хочет ли она. Так устроено человеческое общество. — Он выпрямился, железная рука скользнула по моей груди, царапая блузку кончиками когтей. Искра улыбнулся и встряхнул ладонью, возвращая пальцам человеческий вид. — Никакого металла. Раз уж мы «как люди».

Он рывком схватил меня за плечи, дернул за собой и бесцеремонно бросил поперек кровати, навалившись сверху. Я взвизгнула, уперлась руками в его плечи, изо всех сил пытаюсь оттолкнуть, чувствуя, как пальцы обрастают бронзовой чешуей, а крепкие коготки пробивают Искрову рубашку и впиваются в плоть, расцветившая белую ткань бордовыми пятнами.

— Искра, не надо!

И тотчас почувствовала, как он приподнялся, удерживая вес на локтях. Желтоватые лисьи глаза смотрели на меня серьезно, чуточку грустно и, как мне показалось, с осуждением.

— Дура. Неужели ты и впрямь поверила, что я хочу взять тебя силой?

С этими словами он поднялся и вышел, напоследок от души хлопнув дверью, а я осталась лежать на кровати с задранной выше колен юбкой и окровавленными пальцами, с которых медленно сползала бронзовая чешуя.

Прав Искра. Таких дур, как я, еще поискать надо.

На улице диким воем завывала кликуша. Уже не в первый раз я встречала ее в Загряде, не в первый раз она металась в каменном мешке меж домов, слепо ударяясь о стены и спотыкаясь о выступающие булыжники. Она цеплялась иссохшими старческими руками за одежды прохожих и без конца вещала о тварях, заполонивших город, о тех, кто только прикидывается человеком, а на самом деле ищет добычу посвежее да послабее. Указывала пальцами на лица людей с воплем «Нечисть!», кидалась из стороны в сторону, пока в конце концов не затихала, забившись в щель между бочками для сбора дождевой воды или в уголок под какой-нибудь лестницей, дрожа всем телом и кутаясь в драную засаленную шаль.

Городская сумасшедшая, на которую уже никто не обращал внимания, — привыкли. Торговки поговаривали, что поначалу полоумную бабку запирали под замком собственные дети и внуки, потом передали эту «честь» загрядскому дому умалишенных, но каким-то невероятным образом всего через пару дней после заточения кликуша опять появлялась на улицах со старой песней об ужасных тварях и призраках.

И вот опять старая женщина с горящим, дурным взглядом по-кошачьему зеленых глаз бродила кругами по крохотной Безымянной площади, рассыпая по камням истертую в пыль горько пахнущую полынь, смешанную с солью, что-то бормотала, о чем-то плакала. Дранный, выцветший от времени платок сполз с седых всклокоченных волос на костлявые плечи, укрытые неожиданно аккуратной и опрятной свитой, грубые деревянные башмаки выстукивали на мостовой рваный, неровный ритм.

Я наблюдала за бабкой, сидя на высокой, поставленной на днище разохшейся бочке и поджидая Михея, отправившегося к местному кузнецу договариваться о новых подковах для лошадей и осях для фургонов. Неделя-другая, и дороги подсохнут настолько, что можно будет собрать вещи и покинуть Загряду всем табором, следуя за торговыми подводами на север, к морскому берегу, куда все лето будут прибывать корабли из далеких земель. По просьбе ромалийского вожака я разложила тарры, и по всему выходило, что табору надо ехать к морю, а то и вовсе за море, где ждет вольная и сытая, пусть и нелегкая жизнь. А значит, и мне следом за ними.

То-то Искра «обрадуется», услышав эту новость: он-то все ждет, что я укажу ромалийцам путь-дорогу к месту, где они смогут осесть и прижиться, а сама отправлюсь куда подальше и от людей, и от змееловов с их дудками и револьверами. Говорил, есть в Славении такое место, Лиходолье называется, — если пересечь шуструю и глубокую речку Валушу, то можно позабыть и о дудочниках, и о наемниках с арбалетами и железными кольями. За ту реку мало кто отправляется по собственной воле, даже если мешок золота посулить, потому как наводнены те степи злом всех видов и размеров. Люди, что каким-то чудом прижились в Лиходолье, либо герои, еженощно отстаивающие свои жилища огнем, мечом и простецким, но действенным колдовством, либо беженцы-приживалы, заключившие договор с нечистью и отдающие подати кровью в обмен на спокойную жизнь. Тяжко там живется, зато свободно — и харлекинам, и даже шассам. Если можешь постоять за себя и ближнего, если есть силы отгонять рыщущее вокруг зло, примут, кем бы ты ни был. Впрочем, за предательство в Лиходолье убьют любого, не раздумывая.

— Нелюдь! — Высокий, сильный, срывающийся на визг голос кликуши расколол мерный гул на площади. Я невольно вздрогнула и вцепилась в лирхин посох, следя взглядом

за трясущейся бабкиной рукой, тычущей пальцем в сторону невысокой полноватой женщины с корзиной на сгибе локтя. — Чудище поганое! Вижу тебя, насквозь вижу! Гнилая совсем, как коряга в болоте!

Обвиняемая тетка аж подпрыгнула, едва не уронив корзинку, торопливо отступила в сторону, отмахиваясь от кликуши шерстяным платком, сдернутым с плеча, как от назойливой осы, еще способной ужалить.

— Пшла прочь!

Тяжелый, обшитый крученой нитью край платка хлестнул кликушу по щеке, будто хлыст, оставив ярко-красный след на блеклой морщинистой коже. Горожанка вздернула пухлый подбородок и уже собралась было уходить, как ее остановил звонкий окрик. Я повернулась на голос — и остолбенела.

Через площадь, уверенно рассекая людской поток, шла невысокая светловолосая девица со знаком Ордена Змееловов, вышитым на левом рукаве форменного камзола с крупными стальными пуговицами. Та самая, которая породила гибельную мелодию-удавку, что захлестнула и уничтожила мое родовое гнездо, та, которой я сама перебила пальцы, чтобы девушка больше не могла играть на своем инструменте. Она шла, мягко улыбаясь, но ее глаза напоминали две бледно-голубые стеклянные пуговицы — пустые, холодные. Ровина непременно бы еще добавила «бездушные», потому что не отражалось в этих глазах ничего, что можно было бы назвать душой. Взгляд выгоревшего дотла человека, расставшегося с надеждой на лучшее и живущего лишь одним днем — сегодняшним.

— Что же вы, уважаемая, так с больной женщиной обращаетесь? — Девушка подошла ближе, остановилась в пяти шагах от слегка побледневшей горожанки, помогая подняться трясущейся как осиновый лист кликуше, кутающейся в засаленные лохмотья. — Нехорошо получается. Старого человека обижаете.

Голос у девицы, на поясе которой висела приметная кобура с кажущимся слишком большим для хрупкой ладошки револьвером, вдруг стал ласковым, нежным. Она торопливо расстегнула застежку своего плаща и аккуратно укрыла им костлявые плечи кликуши — ни дать ни взять любящая внучка, трепетно заботившаяся о полоумной, но по-прежнему любимой бабушке.

— Напугали тебя, обидели... — Ганслингер улыбнулась. — Бабуля, что на людей-то бросаешься? Видишь чего или просто так, солнышко глаза слепит, сквозь туман почудилось?

— Видела! — Кликуша яростно перекрестилась и вцепилась в рукав ганслингера покрепче, чем утопающий — за веревку. — Как есть — видела! Не человек это, нелюдь поганая, болотная! Трясиной от нее тянет, и лицо распухшее, как у покойника!

— Как есть больная на голову. — Тетка отступила на шаг, отгораживаясь от кликуши корзиной, накрытой клетчатой салфеткой. — Она на всех бросается, будто глаза выесть хочет. Который год по улицам бродит, во всех пальцами своими немытыми тычет, всех страшит...

— Если она сумасшедшая, как ты утверждаешь, — ганслингер выпрямилась, в голубых глазах мелькнула черная тень безумия, страшного, неистового, — то почему трясешься от страха?

Выстрел грянул столь неожиданно, что я вздрогнула и выронила посох, запоздало зажав уши ладонями. По площади пронеслась тугая волна жара, в воздухе запахло паленой шерстью и тяжелой, приторной гнилью. Кто-то закричал, кто-то поспешил скрыться от греха подальше в маленьком переулке, ведущем прочь с площади, но большинство горожан

осталось, с брезгливым любопытством на лицах рассматривая распростертое на камнях тело.

Уже не человеческое.

С бочки мне было видно лишь перепачканное зеленоватой слизью платье, обтянувшее разбухший, бесформенный комок плоти, не имеющий ни рук, ни ног. Пустые рукава касались упавшей на бок корзинки, а из-под коричневого подола выглядывало нечто вроде тугого рыбьего хвоста, покрытого белесой, почти прозрачной кожей. Длиннющий, похожий на обрывок свадебной фаты плавник распростерся по камням, тонкие, почти прозрачные хрящики-иглы серебряными нитями сверкали в неярком солнечном свете.

— И правда, болотница, — негромко произнес худющий, похожий на живой скелет парень, вытянув шею и привстав на цыпочки, стараясь разглядеть труп нелюди с безопасного расстояния. — Во дает бабка, и впрямь нечисть на ровном месте углядела.

Ага, углядела. А если бы ошиблась? Ганслингер стреляла не раздумывая, опираясь лишь на предположение полоумной старухи, оказавшейся нетренированной «зрячей». Бывает такое, что людей, обладающих даром видеть сокровытое, некому учить. Некому объяснить им, что они не сумасшедшие и те вещи, которые они иногда умудряются рассмотреть в пустой комнате, существуют на самом деле, а не в их воображении. И тогда «зрячие» либо убеждают себя в том, что им просто чудится, и стараются не обращать на это внимания, либо тихонько сходят с ума в бесплодных попытках объяснить близким причину своих страхов и редкой нелюбви к темноте.

— Молодец, бабушка. — Ганслингер ласково потрепала старуху по впалой щеке. Будто собаку погладила, право слово. — Будешь мне помогать справляться с ними? С нелюдью? Ты мне только покажи, где они прячутся, и я все сделаю, чтобы они перестали тебя пугать, а весь город узнал бы, что на самом деле ты не полоумная, а очень мудрая и зрячая в корень многих бед почтенная женщина. Ты же хочешь жить в теплом доме, носить хорошую одежду, есть вкусную еду и, что самое главное, — не бояться выходить на улицу? Если поможешь мне, я помогу тебе, и все будут довольны и счастливы. Договорились?

Вот только этого и не хватало нам с Искрой! Как я успела понять из разговоров с Михеем, Ордену Змееловов разрешалось убивать нелюдь везде, где бы она ни была обнаружена: хоть посреди оживленной улицы, хоть в жилом доме, невзирая на свидетелей. Каралось только убийство человека, но и то лишь в том случае, когда не удавалось доказать связь погибшего с нечистью. Те же, кто заключал договор на крови, откупаясь от нелюди чужой смертью, подлежали казни на месте без разбирательства вины.

Змееловы безжалостны и беспощадны даже к себе подобным, чего уж говорить о чужих, и если ганслингер с безумием в льдисто-голубых глазах обойдет город в компании «зрячей», безотчетно выделяющей нечисть среди людей, отстреливая каждого, на кого укажет палец старухи, Госпожа Загряды все-таки вмешается. А когда это случится, прольются реки крови.

Увести ромалийцев от беды подальше я не успею, а сберечь всех никому не удастся. Девушка-ганслингер просто не представляет, что может отозваться в ответ на ее попытку в одиночку вычистить город, и потому хватается за любую возможность выслужиться, дать выход своей ненависти, искалечившей ее куда хуже, чем я когда-то.

Значит, придется рискнуть...

Я соскользнула с бочки, подняла с мостовой посох и шагнула к светловолосой девушке, цепко ухватившей кликушу повыше локтя, преградив ей дорогу.

Ганслингер взглянула на меня, на мое ромалийское платье так же, как четверть часа назад люди смотрели на беснующуюся кликушу. С презрением, неприятием и желанием

отодвинуть досадную помеху подальше. Желательно длинной палкой с острым концом, чтобы не марать руки.

— Поди прочь, бродяжка. — И рубанула воздух ладонью, точь-в-точь как болотница до нее, отгонявшая старуху краем шерстяного платка.

— Пусти ее, — тихо произнесла я, обеими руками сжимая посох. — Беду на город накличешь. И на себя тоже.

— Каркаешь? Сглазить меня хочешь? — Девушка сладко улыбнулась, а потом вдруг выхватила из кобуры револьвер и направила его на меня. — Может, ты сама нелюдь, своих спасаешь? Бабуля, милая, родная, посмотри-ка на эту девушку да скажи, чего видишь.

Старуха послушно подняла на меня слезящиеся, выцветшие почти до прозрачности зеленые глаза в обрамлении редких серых ресниц, чуть склонила голову набок, разглядывая что-то у меня за спиной. Тусклые, суженные в точки зрачки вдруг расширились, бабка вздрогнула всем телом, будто бы стряхивая с себя морок, густую путаную сеть, и взгляд ее прояснился. Недолго, на краткое мгновение, а потом кликуша отвернулась, пряча лицо в сгибе локтя.

— Слишком ярко... ничего не вижу...

Светловолосая, так похожая на изображение человеческой святой, нарисованной над входом в заградский храм, недовольно поджала четко очерченные губы и нарочито тяжело вздохнула.

— Я устала держать револьвер. — Ганслингер чуть сощурила левый глаз, и в этот же момент я осознала, что девушка вот-вот нажмет на курок. Без предупреждения и без лишних слов. Просто потому, что я ей мешаю... — Пока-пока, танцорка.

Викториан возник из ниоткуда столь внезапно, что я невольно подалась назад, когда перед моим носом появилась широкая спина дудочника, перепачканная серой каменной пылью и шпукатуркой так густо, как будто бы Вик все утро провел, ползая в заброшенных склепах. Ловкое, стремительное движение, которым змеелов вывернул револьвер из руки ганслингера, я даже не заметила, зато хорошо рассмотрела, как дудочник сунул оружие себе в карман, после чего, не размениваясь на споры и нравоучения, попросту отвесил девушке звонкую пощечину.

— Детка, ты что себе позволяешь? — Голос музыканта остался таким же ровным и спокойным, как если бы он вел светскую беседу, а не отчитывал великовозрастную девицу посреди площади. — Ты забыла, против кого направлено наше оружие? Сочла запас патронов бесконечным?

— Это не простая бродяжка! — Девушка едва ли не плакала, держась хрупкой, холеной ладонью за покрасневшую щеку. — От нее даже «зрячая» бабка отвернулась, а она нелюдь видит в любой толпе! Вон, погляди, что там валяется! А ведь если бы не я, нечисть бы и дальше таскала детей в ближайший омут! Ты глянь, глянь, что у нее в корзине было!

Дудочник секунду пристально смотрел в обиженные, наполнявшиеся злыми слезами голубые глаза, а потом подошел к лежавшей на боку корзине, все еще прикрытой клетчатой салфеткой, и откинул ткань нижним концом трости. В толпе раздались ахи и вздохи, кто-то приглушенно застонал, кто-то заплакал, кто-то забормотал молитву. А все потому, что из уроненной болотницей корзины вывалилась крохотная, будто кукольная, ручка с зажатými в кулачок пальчиками. Слишком маленькая, чтобы принадлежать рожденному в срок младенцу. Неестественно изогнутая. И обглоданная с одной стороны мелкими, будто крысиными зубами.



— Похоже, пора ставить еще одну черную метку на славенскую карту, — медленно, будто через силу произнес разноглазый, кое-как наклоняясь и рывком поднимая корзину с мостовой. — Если у вас нечисть повитухой промышляет и помогает бабам скинуть нежеланный плод до срока, питаясь этими самыми «плодами», то дела у вас, уважаемые дамы и господа, хуже некуда. Это до чего же надо было дойти, чтобы прикармливать болотницу собственными нерожденными детьми, а?

Вот тут и меня проняло, будто бы сама тайком ночью бегала к опытной повитухе с одной-единственной просьбой — избавить от ненужного бремени, а сам плод тихонько прикопать на пустыре или сжечь дотла в печи. И ведь наверняка денег болотница не брала, цену назначала, как базарные гадалки, — «чего не жаль», но с условием, чтобы несостоявшаяся мать оставила плод у повитухи. Дескать, ни к чему тебе, девка-молодуха маяться, за реку или в лес бежать, чтобы там скрытно свое дитя ненужное похоронить. А девка и рада, небось, что добрая, понимающая женщина и грех убийства на себя берет, и плод тихонько зарыть обещается.

И ведь никому не пришло в голову, почему надежная, легкая на руку повитуха, заговорами да колдовством унимающая боль и кровотечение у дурной на голову беременной бабы во время избавления от плода, назначает за работу смешную цену и не отказывает никому в помощи. Почему настаивает на том, чтобы самой похоронить мертворожденное дитя. А оказалось все проще некуда: водяной нечисти гораздо удобнее и безопаснее питаться добровольно скинутыми младенцами, которых никто не хватится, чем караулить под окнами домов, выжидая удобного момента, чтобы выкрасть живого и любимого родителями ребенка.

Вот уж точно — до чего же нужно было людям дойти, чтобы умерщвлять собственных детей еще до рождения?! Хуже того — отдавать невесть кому и пытаться забыть об их существовании, как о страшном сне? Шассы за своих детей бьются не на жизнь, а на смерть, матери несколько месяцев безотлучно охраняют кладку, не желая уступать подземным хищникам даже тусклые, почти мертвые яйца, из которых вряд ли кто вылупится по окончании срока. А человеческие женщины, выходит, иногда избавляются от жизнеспособных детей просто так, чтобы «не позориться» перед совершенно чужими людьми?!

Змеелов выпрямился, обвел столпившихся горожан тяжелым, немигающим взглядом, от которого пробирало холодком до самого нутра. Страшный все-таки у него взгляд, безжалостный и слишком спокойный — так, наверное, могла бы смотреть сама смерть, если бы пожелала принять человеческий облик.

— У вас еще есть время подумать о своей участи и принять верное решение. Думаю, вы прекрасно осведомлены о том, как Орден карает тех, кто заключает договор с нечистью, пусть даже по недомыслию. — Викториан холодно улыбнулся: — Впрочем, путь раскаяния открыт для каждого, но только если грешник вовремя на него ступит.

На площади после его слов стало очень-очень тихо.

Люди неуверенно переминались с ноги на ногу — и понемногу расходились, освобождая место для городских санитаров, как раз подошедших с черными носилками, укрытыми грубой дешевой тканью. Уберут болотницу вначале в следственный дом: мало ли, какую часть захочет господин змеелов оставить себе в качестве трофея для предъявления в Ордене, — а потом сожгут на заднем дворе по всем правилам, на осиновых дровах, окропленных заговоренной священниками водой, а пепел развеют над рекой с городской

стены.

— Вот и все. — Музыкант подошел ко мне, еще держа в руке корзину с пугающим, вызывающим горечь содержимым. — Услуга за услугу, Ясмия, ты не согласна?

Я лишь неопределенно пожала плечами. Ганслингер, на щеке которой все еще алел след от пощечины, нахмурилась, глядя на меня исподлобья.

— Вик, и чего ты ее спрашиваешь? Если надо — будет помогать как миленькая, никуда не денется.

Змеелов улыбнулся, на этот раз почти весело. Так улыбаются детям, которые с забавной серьезностью и абсолютной уверенностью в себе говорят несусветную чушь. Например, о том, что их нашли в капусте или принес аист, или о том, что когда поднимается туман, то их дом на самом деле идет куда-то погулять.

— Катрина, детка, эта бродяжка, как ты изволила ее назвать, — действующая ромалийская лирха. Ты уверена, что хочешь заставить ее помогать нам силой? За последствия ответишь?

Девушка отступила на полшага. Качнула головой.

Нет, не захочет она с лирхой связываться. Слишком много домыслов крутится вокруг «зрячих» ромалийских женщин, слишком много легенд напридумывали о лирхах, которые и в огне не горят, и в воде не тонут, и из любых оков играючи выберутся, и сбегут на волю. К своему табору, к свежему ветру в поднебесье, к широким просторам. К дорогам, уходящим за горизонт. А еще есть поверье, что заставлять лирху себе прислуживать — все равно что изловить саму судьбу за волосы: долго не удержишь, а как выпустишь из рук — все, считай, счастье и удача от тебя навсегда улетели. Ни одно дело больше не сложится, все наперекосяк пойдет, пока не отыщешь обиженную ромалийку да не покаешься перед ней. А уж простит или нет — как получится. Только на деле в этих побасенках правды — на ложку, зато выдумки — на бочку. Хорошо хоть, что проверять мало кто решался.

— Ну, вот и славно. — Музыкант повернулся и чуть наклонился, заглядывая мне в лицо. — Лирха, я хочу, чтобы ты помогла нам найти того, кто осенью убил людей из Ордена Змееловов. Предположительно это чаран, не слишком часто попадающийся в наших краях оборотень. Но есть некоторые обстоятельства, которые заставляют меня думать, что на охоте моему коллеге встретилось нечто совершенно неожиданное. И он с этим не справился.

Я молчала, разглядывая узоры, вьющиеся по навершию Ровининого посоха. Если я соглашусь, то можно попробовать направить змеелова по ложному следу — и сбежать вместе с табором на север, к морю. Или с Искрой в Лиходолье, где нас никто не разыщет. А если откажусь, то Викторян очень быстро разыщет харлекина, где бы тот ни прятался, и на этот раз парой дырок в броне Искра не отделается.

— Поможешь?

Тепло, идущее от посоха, раскаленной иглой впилося мне в ладонь.

Есть просьбы, отказать в которых нельзя.

— Я попробую...

Искра меня возненавидит, когда узнает, что я связала себя обещанием с дудочником.

Ганслингер бродила туда-сюда по небольшой комнатке с ярко горящим камином, призывая на ленивого партнера по связке все кары небесные. Под ноги она, разумеется, не смотрела и налетела на одиноко стоящую табуретку, с грохотом опрокинув ее на деревянный пол. Ушибла палец и громко, с чувством выругалась, используя слова из лексикона

наемников-головорезов.

— Ну почему ты сидишь тут и ничего не делаешь?!

Ожидаемо. Мало того что Катрина редко замечает, когда переходит на крик, так вдобавок к ряду недостатков у нее есть еще один, присущий чаще подросткам, нежели взрослым людям, — дурацкая привычка винить в несчастьях кого угодно, только не себя. Можно придумать сотню причин для того, чтобы не делать неприятную работу, и еще десяток, чтобы найти оправдание для неудачи, лишь бы не признаваться, что на самом-то деле во всем виновата обычная лень и чрезмерно раздутое чувство собственной важности, помешавшее заметить очевидное.

Змеелов недовольно поморщился, заботливо растирая едкой, пахучей мазью больное колено. К вечеру сырость в Загряде стала просто невыносимой, вдобавок с реки тянуло холодом, и в результате Викторин почувствовал себя старой развалиной, которой давно пора на пенсию. Из дома выйти трудно, а уж вести охоту на нелюдь — практически невозможно. Нога могла подломиться в любой момент, а не нарушить мелодию при падении не удалось бы даже лучшему в Славении музыканту.

— Я, в отличие от тебя, занимаюсь полезным делом, — спокойно произнес дудочник, оборачивая вокруг колена длинный бинт из мягкого, тонкого шерстяного полотна. — А ты только и можешь, что кричать и размахивать револьвером.

— Да? — Катрина остановилась напротив змеелова, сложив руки на груди и этим только подчеркивая хрупкость и изящность фигуры. — Но на моем счету уже один трофей в этом занюханном городишке, а ты только и делаешь, что болтаешь с местной управой и улыбаешься побродяжкам, вместо того чтобы обойти город по спирали в поисках нашей цели. Еще немного, и те, кого мы наняли, от скуки начнут пить и буяннить в ближайшем кабаке, и ничем хорошим это не закончится, так и знай.

— Наемники — твоя забота, дорогая. Если мне не изменяет память, именно ты набрала этот сброд в команду, еще когда мы даже не знали, что будем работать в одной связке, так что тебе и решать, как держать их в узде. — Викторин затянул узел на концах бинта и с облегчением выдохнул, перемещая больную ногу на низкую скамеечку перед камином. — Катрина, скажи честно, ты правда не понимаешь, почему я запретил тебе шляться с той бабкой-вещуньей по окрестностям?

— По-моему, тебя не устроит любой ответ, кроме как «И почему же?». Я права?

— Почти. — Змеелов потянулся за влажным полотенцем, стирая с рук остатки мази, и взглянул в камин, туда, где на отсыревших, изредка плюющихся мелкими угольками поленьях расцветали языки пламени. — Видишь ли, я больше чем уверен, что предшествующая нам с тобой связка считала, что, кроме чарана, ничего более-менее опасного им не встретится, и потому они обошли Загяду, как хозяева, под музыку колдовского инструмента. Ты видела то, что от них осталось. Это вряд ли был металлический оборотень — он не смог бы противостоять правильно сыгранной мелодии призыва, и я больше чем уверен, что дудочник в ранге первого голоса просто не мог ошибиться и сфальшивить. Ты понимаешь, к чему я клоню, детка?

— Что если мы открыто пойдем на охоту, то кончим так же плохо, как и они? — неуверенно произнесла девушка, подтаскивая табуретку поближе и усаживаясь перед камином рядом с музыкантом. — Ты поэтому меня не пустил?

— Ну наконец-то до тебя дошло. В этом городе все не так просто, как кажется на первый взгляд. — Вик откинул голову на спинку кресла и устало прикрыл глаза. — Ты

помнишь, что погибший змеелов брал снаряжение на чарана, но угадай, какую мелодию спела последней его дудочка?

— «Призыв»?

— Ага. Он самый, — голос музыканта стал едким, колючим, — только это был «призыв шассы».

— Шассы?!

Девушка вскочила с побелевшим, перекошенным от ненависти лицом, глядя на свои руки, на пальцы, негибкие, кривоватые, исчерченные белесыми рубцами, ярко выделявшимися на фоне золотистой кожи. Табуретка с грохотом повалилась на пол, когда Катрина шагнула назад, к столу, на котором лежал пояс с кобурой.

— Это она, — тихо-тихо, с легким присвистом произнесла ганслингер. — Я знаю, на этот раз она от меня не уйдет. Мои пальцы... мои чудесные пальцы... Я бы стала первым голосом, если бы не эта тварь!

— Ты уже второй раз роняешь эту проклятую табуретку, — раздраженно вздохнул дудочник. — Сядь, Катрина. На пол, если не можешь усидеть спокойно на стуле, и помолчи. примени хотя бы слух, если голова тебе отказывает каждый раз при слове «шасса». Сделанного уже не воротишь, смирись наконец с тем, кто ты есть сейчас, и начни думать.

— Это... ведь та девчонка, да? Бродяжка? Она убила предыдущую связку?

Ганслингер тихонечко рассмеялась, обнимая себя руками за плечи, и подняла взгляд на Викторiana. Совершенно пустые, стекляннстые глаза, с чернотой безумия на дне расширенных зрачков. Сумасшедшая кукла с хорошеньким личиком, вооруженная магическим револьвером. Впрочем, Катрина и без револьвера была бы опасной: будучи не слишком умной, она прекрасно подбирала ключики к тем людям, которых считала полезными для себя. Ей бы в актрисы податься — весь Новоград у ее ног лежал бы, но амбиции не позволили довольствоваться малым, отсюда и цель — стать первым голосом. Мечта, которой не суждено было сбыться.

Впрочем, положа руку на сердце Викторiana считал, что оно и к лучшему. Таких людей, как Катрина, вообще нельзя подпускать к власти над нелюдью, потому что у них обычно не хватает силы воли для того, чтобы остаться человеком.

Так или иначе, но придется убедительно врать, чтобы ганслингер раньше времени не начала охоту за ромалийской лирхой.

— Катрина, я не уверен, что это она. Более того — не уверен, что шасса вообще способна на убийство именно тем способом, которым была убита связка. В человеческом облике змеелюды не отличаются ни силой, ни особой ловкостью, а наш дудочник был с такой силой пришиблен к стене дома полупудовым железным штырем, что каменотесам пришлось разбивать кладку, чтобы снять труп. Шасса в силах так прибить человека к камню, только если пребывает в своем природном облике. Но тогда она уже не может вернуться обратно в ту же личину, ей необходимо искать новую жертву. А девчонка осталась прежней, разве что повзрослела немного с нашей последней встречи. Значит, либо она вообще ни при чем, либо у нашей шассы есть охранник. Обережник, способный в одиночку уничтожить связку вместе с наемниками. Ты уверена, что хочешь познакомиться с ним на его территории, не подготовив, как следует, вашу встречу?

— Твоя привычка стелить соломку везде, где только можно и где нельзя, иногда меня бесит. Что ты предлагаешь? Улыбаться ромалийской лирхе и ждать, что она укажет на себя или кого-то из своего табора? Смешно. Не проще ли отвести девчонку в подвал под нами и

там применить к ней не слишком калечащую пытку? — Катрина нежно, почти ласково улыбнулась. — К примеру, можно остороженько снимать с нее кожу крохотными кусочками. Скажем, со спины. Если это шасса, она непременно себя проявит, не сможет не проявить. У них очень сильный инстинкт самосохранения, и если начать калечить человечесье тело, змеелюдка непременно покажется и сменит облик. Если же мы ошиблись, ничего страшного — от снятого кусочка кожи с ладонь размером редко умирают. Позовем лекаря, оплатим мази и перевязку, дадим девке денег в качестве извинений и отпустим восвояси. Но зато будем точно знать, что ромалийская лирха — человек, а не змея в человечесьей шкуре. Как тебе такой план?

— Гениально! — Дудочник картинно зааплодировал. — Ты прости, что стоя не хлопаю, очень уж нога болит. Правильно мыслишь, суровые времена требуют суровых решений, но ты упустила два момента. Первое — ты знаешь, что тебя ждет через пять минут? А завтра? А через неделю? Нет? Совершенно точный и правильный ответ, я тоже этого не знаю. А вот лирха знает. И про тебя, и про меня, и про кого угодно, если ей того захочется. Более того — в ее силах не только заглянуть в твоё будущее, но и подтолкнуть по той тропке, которая приведет тебя на кладбище самым коротким путем. Ты в самом деле туда так торопишься?

Змеелов ненадолго прервался, переводя дыхание и давая напарнице осмыслить сказанное. Потянулся к столику, заблаговременно пододвинутому почти вплотную к креслу, осторожно взял кружку, в которой остывало вино с медом и специями, и сделал долгий глоток. В желудке сразу потеплело, озноб унялся, и даже колено под согревающей повязкой стало болеть меньше. Наставлять и учить жизни Катрину дудочнику уже порядком надоело, хотелось завернуться в теплое одеяло и уснуть, можно прямо в этом кресле, не двигаясь с места. Но раз уж начал поучать, то надо хотя бы довести это благородное, пусть и неблагодарное, дело до конца.

— Если лирха почует в тебе угрозу, если поймет, что ты в самом деле собираешься причинить ей зло, твои дни, а то и часы жизни сочтены. От кирпича, упавшего с крыши прямым на голову, тебя не спасет ни револьвер, ни орденский знак, ни хорошенькое личико и длинные ножки. И, что самое главное, никто за твою смерть в ответе не будет. Что поделать — судьба, несчастный случай! Поэтому — умей выжидать. Наши коллеги уже мертвы, так что спешить нам некуда, разве что на собственные похороны.

Викториан сделал еще один глоток, после чего вернул полупустую кружку обратно на столик. Вот только захмелеть на голодный желудок ему как раз и не хватало. Хуже нетрезвого дудочника разве что «исполнитель желаний», призрак, который весьма специфическим образом исполняет заветные мечты людей в обмен на «то, чего в своем доме не знаешь». И в том, и в другом случае попросив о чем-то, в ответ можешь получить совсем не то, чего ожидал.

— Между прочим, ты говорил о двух упущенных моментах. — Ганслингер встала и положила прохладные ладони на закаменевшие, напряженные плечи музыканта, начиная осторожно, умело их разминать. — Какой второй?

— Второй — это тот, который всюду таскается за лирхой. Каждый раз, когда я встречаю в городе Ясмию, он находится поблизости. Старается не упускать ее из виду, но при этом скрывается в толпе. Впрочем, у него это не слишком хорошо получается — большой рост выдает. Сомневаюсь, что рыжий мужик, на полголовы, а то и на голову возвышающийся над людским потоком, появляющийся в том же месте, что и лирха, — это случайность.

— А может быть, она ему насолила чем-то, вот он ее и выслеживает? — предположила

Катрина. Ее голос стал тише, мягче, в нем появились игривые нотки. Ладони как бы невзначай соскользнули по плечам змеелова к расстегнутому вороту, оглаживая разгоряченную близостью к огню в камине кожу. — Вдруг он за ней охотится?

— Детка, читай почаще умные книжки, — усмехнулся дудочник. — Лирхи всегда чувствуют угрозу, даже совсем юные. Думаешь, почему она не испугалась, когда ты на нее револьвер наставила? Почему она вообще вмешалась в дело ганслингера? Да потому, что заранее чуяла, что с ее головы даже волосок не упадет. И кстати, твои руки холоднее, чем у шасс, так что убери их с моей шеи, сделай милость.

Сравнения, более оскорбительного для Катрины, придумать было трудно. Девушка отшатнулась, выдернув руки из-под Виковой рубашки так стремительно, будто бы обожглась, подхватила полупустую кружку с низкого столика и с размаху шваркнула ее о каминную решетку. Да так удачно, что осколки разлетелись по всему полу, а вино с шипением загасило одно из разгоравшихся полешек, наполнив комнату непередаваемой смесью дыма и слащавого сивушного запаха.

— Скотина ты бесчувственная, а не мужчина! — Ганслингер потянулась к трости, прислоненной к подлокотнику кресла, намереваясь не то переломить ее о голову несостоявшегося любовника, не то попытаться повторить подвиг с кружкой и закинуть в камин, но дудочник успел раньше. Не вставая с места, ухватил девушку за тонкое запястье и вполсилы сжал пальцы, за долгие годы привыкшие и к игре на дудочке, и к шлифовке подходящих для инструмента Кукольника драгоценных камней, и к скрытому внутри тяжелой трости острому клинку.

— Скотина, — согласился Викторинан, сжимая ладонь чуточку сильнее и тем самым заставляя девушку подавиться очередным ругательством. — Но не бесчувственная. Просто область моих удовольствий несколько отстоит от твоей. Мне совершенно не нравится щупать женщину, которой для возбуждения в постели нужно погружаться в воспоминания о таких вещах, которые далеко не каждый палач себе представить сможет.

Ганслингер угрюмо молчала. Впервые за весь вечер не пожелала оставить за собой последнее слово. Она так и ушла — молча, прихватив пояс с револьвером и теплый камзол, и аккуратно, на редкость тщательно прикрыв за собой дверь.

Не к добру.

Викторинан устало откинул голову на мягкую, чуть-чуть пахнущую лавандой обивку старомодного кресла. Интересно, эту девицу, его бывшую ученицу, ему навязали для укрепления характера или же в наказание за упущенную прошлой осенью шассу? Или в Ордене все-таки пронюхали, зачем один из наиболее перспективных первых голосов разъезжает по всей Славении вместо того, чтобы с комфортом работать в крупном и богатом городе на необременительной должности, и потому подсунули в связку истеричную и склонную к неоправданной жестокости женщину? Каким-то образом узнали, что у него есть цель — покинуть Орден и отправиться на поиски Кукольников. Сущест, не то изгнанных, не то ушедших по доброй воле подальше от людей. Найти тех, кто подарил людям знания о волшебных дудочках, подчиняющихся чрезмерно расплодившуюся нечисть, и спросить, как же создавались инструменты самих Кукольников, способные изменить мир к лучшему.

Потому что мир нуждался в переменах. Нуждался в чистке от гнили, проросшей в людских душах.

До сих пор дудочки змееловов кое-как удерживали страну на грани окончательного падения в бездну хаоса, но этого явно недостаточно. Рано или поздно те, кто должен

охранять людей от нечисти, станут заключать с недавними противниками договоры для собственной выгоды, если уже не заключают, и тогда человечеству придется признать свое полное и окончательное поражение. Хотя черт бы с этим миром, в самом-то деле, в одиночку его не излечишь и не вычистишь. Это бремя героев, а уж кем-кем, но героем разноглазый дудочник себя никогда не считал. Трусом, боявшимся собственных запретных мыслей, — да. Эгоистом, готовым сбежать хоть за море от навязанной участи цепного пса змееловов, охотившегося в месте, указанном в путевой грамоте с черной печатью, — да. Но не героем. Спасти всех ни у кого не получится. Но раз уж мир все равно катится в пропасть, единственное, что еще можно успеть сделать, — это соскочить на полдороге, прихватив с собой тех, кто действительно дорог.

Воздействовать магией волшебных инструментов на людей — табу, через которое Викторян уже однажды переступил. Осталось обойти еще один запрет — уйти из Ордена раньше положенного срока и с целыми, не перебитыми профессиональным палачом пальцами, а для этого нужно стать неуязвимым для револьверов ганслингеров.

Книги утверждают, что броня из шкуры золотой шассы защищает от любой магии — как от чарования дудочников, так и от свинцовых или серебряных пуль, в момент выстрела превращающихся в огненный шар или ледяное дыхание самой лютой стужи, которую только можно вообразить. Что дудочник, облаченный в эту броню, может повернуться спиной к кому угодно, пойти своей дорогой, тихонько наигрывая себе песенку «в легкий путь», и никто не осмелится его остановить.

Значит, осталось только отыскать это змеиное золото и выкупить за него себе свободу.

Слепая мгла дышит в лицо промозглой сыростью холодной весенней ночи, седой туман мелкими капельками оседает на лице и волосах, противно липнет к коже, пробирается за воротник. Где-то журчит ручеек, стекающий по желобу вдоль тротуара напрямик в канализационную решетку, где-то мерно колотится о стену дома висящая на одной петле вывеска. Негромко поскрипывает одинокий фонарь над порогом. Мутное, чуть закопченное стекло приглушает яркий оранжево-золотистый свет, но недостаточно хорошо: фонарь не столько разгоняет ночную тьму у парадного входа, сколько слепит и превращает в отличную мишень.

Катрина торопливо, по-девичьи легко сбежала по крыльцу и прислонилась к стене следственного дома в сторонке от границы освещенного круга. Ганслингера колотила нервная дрожь, невесть откуда поднявшаяся злоба невидимыми пальцами ухватила за горло, душила, не давала вздохнуть полной грудью. Дрянь! Сволочь хромоногая! На людях улыбается чуть ли не ласково, покровительственно кладет ладонь на плечо, а как останешься наедине — с грязью, с пылью походя смешает, как будто не партнер из связки, не ровня, а рекрут-новобранец, падающий в обморок от вида крови и палящий куда попало. И поучает, постоянно поучает, как будто она дитя малое, ничего не соображающее и не умеющее отличить нелюдя от человека! Осторожничает, постоянно оглядывается через плечо, что-то просчитывает, что-то продумывает, а толку? Если бы не вмешался, можно было бы аккуратненько привести полусумасшедшую «зрячую» на площадь, взять с собой стражу, наемников... Да здешний градоправитель, после того как у его советника дочурку прямо в постели сожрали, трясется и за себя, и за своих домочадцев, обвешал дом святыми крестами и ромалийскими оберегами, а про тяжелые засовы на дверях и ставнях в Загряде мало кто забывает. Он бы большую часть городского гарнизона выделил, лишь бы спать спокойно.

Такая возможность — и «не смей, детка».

Тьфу, убила бы, да нельзя.

Девушка озлобленно пнула вывороченный из мостовой небольшой булыжник. Камень улетел в темноту и будто растворился в ней, канул, словно в глубокий омут. Вместо стука о мостовую или всплеска воды — тишина. Тяжелая такая, густая, та, в которой чаще всего скрывается охотник за легкой поживой.

Револьвер будто сам выскользнул из кобуры в ладонь, тяжелые узорчатые кольца удобно легли в выемки на рукояти, а пальцы закололо ставшей привычной болью. Тот, кто говорит, что ганслингер и его именное оружие составляют единое целое, даже не представляет себе, насколько прав. Катрина только раз, из чистого любопытства, попыталась снять кольцо, плотно сидевшее на указательном пальце правой руки, но сумела лишь чуть-чуть его сдвинуть, самую малость, но и этого оказалось достаточно, чтобы всю руку, от кончиков пальцев до плеча, прострелило острой болью, а из-под серебряного ободка полилась кровь. Ох, и отругал тогда девушку лекарь Коц, обрабатывая жгучей, вонявшей сивухой жидкостью распухший вдвое, побагровевший палец...

— Доброй ночи, госпожа.

От мягкого, хорошо поставленного мужского голоса тьма расступается, отодвигается, будто тяжелый пропыленный занавес, позволяя отблескам фонаря коснуться расшитого шелком парчового рукава странного, чуть шутовского кроя, алой россыпью заиграть в недрах крупного рубина, оправленного в червонное золото. За такую безделушку, красующуюся на хрупкой, по-детски маленькой ручке, некоторые люди отдадут и душу, и дом со всеми слугами. Мало кто решится ходить с таким украшением на пальце без видимого сопровождения, для этого нужно быть очень влиятельным и уверенным в себе господином.

Или нелюдью.

Катрина не успела даже развернуть дуло револьвера в сторону неожиданного собеседника, как на ее запястье легла холодная и костлявая ладонь, обтянутая черной кожаной перчаткой, крепко сжалась и начала давить вниз, вынуждая ганслингера опустить оружие. Да и попробуй тут не опустить — бесшумно подкравшаяся со спины нежить, от которой едва ощутимо несло затхлыми тряпками, либо руку оторвет, либо, что хуже, голову.

— Не стоит сейчас прибегать к оружию, право слово. — Собеседник Катрины вышел на свет фонаря, оказавшись смешным остроухим карликом в роскошной, но удручающе безвкусной хламиде, обладателем мелкого, сморщенного, будто печеное яблоко, личика. — Иначе моя «невеста» сломает вам правую руку. Я пришел сделать вам деловое предложение, и хотелось бы, чтобы вы его сначала выслушали, а только потом принимали решение. Речь идет о существе, которое осенью уничтожило служителей Ордена и которое, как я понимаю, стало вашей целью.

— Интересно, с каких пор нежить помогает змееловам в уничтожении себе подобных? — негромко спросила Катрина, украдкой взглянув на окна второго этажа, плотно закрытые ставнями. Кричать бессмысленно — даже если Викторян и услышит, то вампирья «невеста» свернет ей шею раньше, чем дудочник успеет выглянуть в окно и сообщить, что к чему.

— Ответ очевиден и лежит на поверхности. — Вампир развел худенькими цыплячьими лапками, став от этого еще более жалким и потешным. Шут, да и только, если не знать, с какой скоростью вампиры передвигаются и какой силой наделена женщина, безмолвно стоящая за спиной. Тут не то что смеяться, глубоко дышать расхочется. — Вы же видите, в



каком неприглядном, я бы даже сказал — непотребном, облике мне пришлось предстать перед вами. А все из-за того, что моей «невесте» необходима постоянная забота и непрекращающаяся ментальная поддержка, иначе она становится совершенно... невоспитанной. Даже по нашим меркам. И я желаю мести за то, что с нами сделали.

Даже так?

Катрина осторожно, стараясь не дергать рукой, за которую поистине мертвой хваткой держалась вампирья «кукла», развернулась, чтобы наконец-то рассмотреть женскую фигуру, затянутую в глухое черное платье, подметающее мостовую. Узкие рукава, застегнутые на полтора десятка мелких блестящих пуговиц, плотно облегли тощие руки, широкая юбка ниспадала тяжелыми складками, лицо до самой шеи укрыто густой черной вуалью, сквозь которую видны лишь две ярко светящиеся алым точки на месте глаз.

Было в этой «кукле» кое-что, заставившее ганслингера поверить в слова вампира о невоспитанной, даже по меркам нежити, «невесте»: шею девушки плотно охватывал широкий серебряный ошейник, исписанный знаками вроде тех, какими священнослужители разрисовывают дверные косяки и оконные рамы при входе в храм. Слова-обереги, не позволяющие злу проникнуть в святую обитель, в дом, где каждый человек мог найти убежище в час нужды.

Это что же надо было сделать с «невестой», чтобы та перестала слушаться обратившего ее вампира? Что сотворило это высокое, тощее умертвие, чтобы на него собственный хозяин надел подчиняющий ошейник, не то выкраденный, не то выкупленный у священнослужителя?!

— Почему меня должны волновать личные проблемы нежити?

— Потому что я могу помочь вам решить ваши. Знаете, что произошло с последним ганслингером, имевшим несчастье посетить наш милый городок? В нее бросили камнем. Вот таким же. — Вампир легонечко потыкал мыском богато украшенной туфли в бульжник мостовой размером с два кулака. — И очаровательное личико той леди оказалось втиснуто в затылок. Как вы понимаете, шансов на выживание у нее не оставалось. Угадайте, сколько достанется вам, пока вы ловите сумасшедших старушек на улицах и заставляете их работать на благо Ордена?

Карлик улыбнулся, блеснув мелкими желтоватыми клыками, и медленно, почти торжественно сложил указательный и большой палец в кольцо. Ни одного не достанется, особенно если Викторинан продолжит без конца осторожничать, ныть над больным коленом и увиваться за ромалийской лирхой. Рано или поздно нелюди надоеет играть в прятки, она подгадает момент — и тогда не спасет ни волшебная дудочка, ни револьвер.

— Что ты предлагаешь, вампир?

— О! Вот это уже другой разговор. Будьте уверены, госпожа: если вы сохраните в тайне нашу маленькую помощь друг другу, каждый из нас получит то, чего хотел.

Договор с нечистью среди людей карается отчуждением. Орден Змееловов не придет на помощь к тем, кто продает ближних своих тьме в обмен на блага для себя. Он огораживает проклятое место заговоренным кругом и позволяет заключившим договор гореть на собственном костре, не давая возможности ни людям, ни нечисти покинуть меченое поселение. Но если в грехе уличат причастного к тайнам Ордена, неважно, дудочник это, ганслингер, простой служка или приближенный к власти советник, — его ждет смерть.

— Это рискованно. — Катрина едва заметно улыбнулась, глядя на вампира. Договор с нечистью — прекрасно! Особенно в тех случаях, когда его нетрудно нарушить: успеваешь

получить свое, а нечисть погибает раньше, чем придет время расплачиваться. Удобно и зачастую выгодно, но только когда уверен в своих силах. — Если об этом станет известно, за мной начнут охотиться свои.

— Мы тоже рискуем. — Вампир едва заметно шевельнул ладонью, и холодные, костлявые пальцы «невесты», плотно охватившие запястье ганслингера, разжались и безвольно соскользнули вниз по рукаву камзола. — Вы можете застрелить нас в любой момент, и никто вас не осудит. Возможно, для меня и моей «невесты» это даже будет не самой плохой участью, но и вы останетесь ни с чем. Цель вашей охоты удивительно хорошо прячется. Это существо не боится ни солнца, ни серебра, а осенью оказалось, что, пока оно пребывает в человеческом облике, даже музыка змеелова неспособна достаточно быстро поставить его на колени. Я укажу вам на него, помогу застигнуть врасплох, но за это попрошу свою цену.

Девушка улыбнулась шире и спокойно убрала револьвер в кобуру на поясе.

— Говори.

— Мелочь! — Вампир подался вперед и неожиданно оказался на расстоянии вытянутой руки, так быстро, что Катрина даже не заметила стремительного движения. Только что карлик спокойно стоял в освещенном круге на ступеньках следственного дома — и в следующую секунду он появляется совсем рядом, склоняет голову в легком поклоне и протягивает хрупкую морщинистую лапку, унизанную безумно дорогими украшениями. — Я хочу, чтобы вы помогли мне пробраться в один слишком хорошо защищенный от нежити дом. Это легко: вам достаточно лишь переступить его порог и пригласить меня внутрь либо разрушить оберег над дверью или окном.

— Чей это дом? — негромко поинтересовалась девушка, теперь уже опасно косясь на плотно закрытые ставни на втором этаже. Если Вик не спит, если он услышит, — несдобровать. Сам за охоту не возьмется, может быть, даже не намекнет на свою осведомленность, но при первом же удобном, а главное, неожиданном случае сдаст властям или Ордену.

— Там дожидается погожих дней ромалийский табор.

Ганслингер тихонечко рассмеялась и быстро пожала сухую, холодную, как змеиная шкурка, и жесткую, будто отполированное дерево, ладонь вампира.

Мне снилась летняя гроза над излучиной реки.

Кривые стрелы молний нещадно вспарывают темно-серые, будто скалы, облака, порождая низкий, оглушающий рокот; дождь льет сплошной стеной, такой сильной, что на миг чудится, будто бы вода и небо поменялись местами и что на самом деле я нахожусь не на илистом берегу, а где-то на самом дне реки. Черные косы, перевитые алой лентой, шлепают по обнаженным плечам, когда я бегу с открытого места в укрытие — небольшой шалашик, построенный из двух растущих рядом ореховых кустов, стянутых у макушек крепкой бечевкой, и лозняка. В мое убежище от чужих глаз и место для тайных свиданий...

Холодная вода просачивается сквозь плетеную крышу шалашика, падает на затылок, скатывается по дрожащей от озноба спине. Сквозь шум дождя пробивается мужской голос, низкий, раскатистый, будто бы позаимствованный у неба грозовой рокот, ветки, прикрывающие вход в шалаш, отодвигаются, и я вижу лицо первого и, наверное, последнего возлюбленного ромалийки Рады. По загорелому до черноты лицу катятся прозрачные бисеринки-капли, кудри выбились из-под обруча-косицы и прилипли к высокому лбу, залатанная на локтях, еще отцовская рубаха распоясана и болтается мешком на худощавом теле. Парень тянет ко мне руку, пытается перекричать шум дождя, но я не могу разобрать слов, а впрочем, даже не пытаюсь. Просто неотрывно смотрю в его светло-карие, лисьи глаза с темным, почти черным ободком по краю радужки...

— Змейка, проснись!

Тело обдало кусачим холодом, когда кто-то рывком стянул с меня теплое одеяло, а стоило попытаться на ощупь отыскать утраченное, как неопознанный доброжелатель аккуратно вылил мне на спину полкувшина воды, оставшейся после вечернего умывания. Я кубарем слетела с кровати, только чудом не заработав себе шишку при падении на пол, кое-как разлепила тяжелые спросонья веки и взглянула на харлекина, державшего в одной руке опустевший глиняный кувшин, а в другой одеяло.

— У нас что, пожар? — негромко поинтересовалась я, торопливо стягивая через голову мокрую сорочку и на ощупь пытаюсь отыскать в темноте брошенное где-то рядом с постелью домашнее платье.

— Если бы! — Искра небрежно уронил одеяло на пол, аккуратно поставил кувшин на крышку сундука и, подойдя ближе ко мне, торопливо выудил из вороха цветных тряпок, сваленных на ближайший стул, какую-то одежонку и принялся напяливать ее мне через голову, как на ребенка или куклу. Выходило неумело, зато быстро. И что с того, что блузка оказалась надета наизнанку, а юбка поначалу волочилась по полу, потому как харлекин не сразу нашел завязки у пояса? — Хуже. Там ганслингер в двери стучится. Пока вежливо и почему-то без традиционного сопровождения. И мне не верится, что этой полоумной девке понадобилось приворотное зелье за час до рассвета.

— Не поверишь, но именно в такое время бабы чаще всего за приворотом и бегают. — Я кое-как подоткнула юбку, — из всех, что валялись на стуле, Искра выхватил именно ту, которая была мне слишком длинна, — и шагнула за посохом. — А еще чаще — за стимулирующими настояями. И как только не боятся...

— Охота, знаешь ли, пуще неволи бывает. — Харлекин окинул меня недовольным взглядом, быстро наклонился и ухватил за нижний край юбки, печально волочившийся по

деревянному полу. Загрещала отдираемая от подола оборка, и юбка разом стала короче аж на локоть и теперь едва прикрывала лодыжки. — Сойдет. Пошли.

— Куда?! — Я едва успела схватить лирхин посох, как Искра цапнул меня за запястье и едва ли не силой потащил к выходу.

— Выяснить, чего нежной орденской деве потребовалось в ромалийском зимовье в такое удобное для нежити время.

— Открывать дверь ты не обязана, а вот послушать из укромного уголка стоит.

Впрочем, подслушать разговор не получилось — он не состоялся. Потому как стоило нам с Искрой оказаться в общем коридоре, ведущем к лестнице на первый этаж, как внизу оглушительно прогремел выстрел, запахло мерзкой пороховой гарью, а в следующее мгновение я ощутила, как трескается и расползается по швам обережная защита, наложенная на дом еще Ровиной. И сразу вслед за этим почувяла, как в дом струйкой ледяного воздуха сочится тьма. Голодная, злая, с мерцающим где-то глубоко внутри угольно-черного сердца блеклым, призрачно-алым огоньком не-жизни.

— Вампиры, — тихо, почти беззвучно шепнула я, внутренне холодея, и сразу же услышала шорох покидающей ножны стали. — Куда? Их сталью не возьмешь!

— Милая, — Искра мельком глянул на меня, улыбнулся, блеснув железными зубами, — не верь всем сказкам.

Метнувшуюся на второй этаж тень я не столько увидела, сколько ощутила как холодок, скользнувший по спине, от которого волоски на затылке встали дыбом, как оборванную нить, бесцельно болтающуюся в воздухе и нещадно хлещущую каждого, кто осмеливается подойти слишком близко.

Харлекин осмелился.

Искра перехватил обезумевшую, хрипло клопочущую нежить за пояс в шаге от одной из запертых дверей, ведущих в обжитую ромалийской семьей комнатку, лихо развернул вокруг оси и толкнул в плечо, позволяя вампирше с силой удариться лицом в деревянную перегородку. Мелкие щепочки веером брызнули во все стороны, усеивая занозами рубашку харлекина, но нежить, судя по всему, не слишком пострадала: из железной хватки Искры она вывернулась, оставляя в намертво зажатой когтистой ладони кусок черного платья вместе с длинными полосками бледной до синевы, бескровной кожи. Уклонилась от тяжелого лезвия, со свистом вспоровшего воздух, и одним прыжком оказалась на потолке, с хрустом вонзив в мягкие доски длинные желтоватые когти. Густая черная вуаль соскользнула с растрепавшихся светлых волос нежити, уложенных в сложную прическу, и открывшееся лицо оказалось лицом той самой «невесты», чью связь с хозяином я сама оборвала несколько месяцев назад. Но теперь это был лик мертвеца — тронутая разложением плоть казалась сплошным нарывом, раскрывавшимся страшной мокнущей язвой на правой щеке, затронувшей глаз, ставший мутным, потемневшим, уродливо выпиравшим из глазницы. Там, где в плоть нежити воткнулись тонкие острые щепки, кожа почернела, будто обожженная, и кое-где облезла, открывая новые язвочки.

«Очаровательное» зрелище.

Меня передернуло, и я крепче вцепилась в лирхин посох. Сейчас единственного взгляда на такую «невесту» хватило бы даже самой романтично настроенной девице без князя в голове, чтобы раз и навсегда позабыть о «полуночном красавце» и до конца жизни при одном только слове «вампир» осенять себя обережным знаком-крестом. Потому что такого «бессмертия», пропитанного запахом лежалых, заплесневелых тряпок, со следами невесть

как остановленного разложения на теле и наполненного кровавым безумием в пустых кукольных глазах даже лютому врагу пожелать совестно будет.

Мгновение передышки — и коридор наполнился противным скрежетом когтей о железо, горловым клетотом нежити и низким, басовитым рычанием харлекина. Искра едва успел перекинуться, как «невеста» соскочила ему на спину, пытаясь вгрызться в загривок, точно доведенный до безумия лесной зверь. Волосы-струны, не прижатые телом нежити, хлестали вампирью «куклу» по бокам, раздирая бархатное платье в клочья и нещадно полосуюя белесую, почти прозрачную кожу, оставляя на ней уродливо вздувшиеся отметины. Харлекин крутился волчком, пытаясь извернуться и стащить с себя намертво вцепившуюся нежить, а я...

Я просто стояла и смотрела на них шассьими глазами, раскачивая в ладонях поставленный на пол узорчатый посох. Смотрела на черное пятно с призрачным лепестком зыбкого огонька, пытавшееся загасить мощное алое пламя с яркой золотой сердцевинкой. На тьму, изрядно обтрепанную по краям и не рассыпавшуюся в пепел только благодаря тусклой, кое-как сращенной связующей нити, редкой паутинкой оплетавшей пламешко-жизнь. И оно смеет нам угрожать? Оно же слабое, такое слабое, что непонятно, как вообще существует. Даже не огонек, так, полудохлый светлячок, который и загасить-то проще простого. Я вытянула вперед руку, покрытую сияющей золотой чешуей, и оказалось, что до огонька нежити совсем близко, гораздо ближе, чем я думала. Тусклая искорка, туманное семя асфодели... Жизнь, срок которой уже давно истек. Последняя песчинка, каким-то чудом не пересыпавшаяся на дно великих часов, отмеряющих годы.

Глубокий вздох. Срывающийся на крик чей-то вопль.

Песчинка бесшумно соскальзывает вниз по гладкому стеклу.

Огонек чужой не-жизни гаснет, и тьма, угольным пятном закрасившая спину Искры, рвется в клочья, тает, как снежинка на теплой ладони, обращаясь в пустоту, в ничто. В прах, с сухим дробным перестуком ссыпавшийся на деревянный пол.

Харлекин встряхнулся, возвращаясь в человеческий облик, подтянул широченные, скроенные по традициям южных степняков штаны, уцелевшие после превращения в стальное чудовище, и склонился, подбирая оброненный меч.

— С ума сойти можно. — Искра подцепил на острие клинка серебряный ошейник, наполовину погруженный в прах, оставшийся после «куклы», ловко подбросил в воздух и поймал на лету, с интересом разглядывая письмена, покрывающие полосу металла. — На красавице, оказывается, был принуждающий амулет, такие только священники для проклятых делают, чтобы не бесились лишней раз. Для нежити и вовсе как удавка на очень коротком поводке. Похоже, вампиру с такой «невестой» совсем уж несладко было, раз он решил на подобную меру контроля.

Бей своих, чтобы чужие боялись. Если вампир так поступил со своей бесценной «куклой», страшно подумать, что он учинит здесь, если доберется до людей.

— Никому не выходить из комнат! — собственный голос я услышала будто со стороны, сильный, ровный, чуть срывающийся на вдохе. Голос, в котором явно проскальзывали Ровинины командные нотки. Голос лирхи, которому не перечит даже вожак табора. — Заложите двери засовами, к нам пришла беда!

Зачем я говорю столь очевидные вещи, зачем пытаюсь докричаться до каждого, кто прячется в запертой изнутри комнатке? Ведь ромалийский народ не в первый раз сталкивается с нечистью что в чистом поле, что на дороге, что в городе, и уж они-то

прекрасно знают, когда нужно подниматься на врага всем миром — и в тот момент за нож, кол или освященную плеть с серебряными шариками на конце не берутся только совсем уж малые дети, а когда нужно затаиться и ждать, пока смерть обойдет стороной.

— Поздно запирать двери. Мне больше нечего терять. — Тихий мужской голос раздался из мрака, разлившегося у основания лестницы, ведущей на первый этаж. Мягкий и шелестящий, он внезапно стал громким, раскатистым, порождающим гулкое эхо. — Вот твоя цель, госпожа! Стреляй в мужчину на верхней ступеньке лестницы!

Вампир не договорил, как грянул выстрел и на стене рядом с тем местом, где мгновение назад находился Искра, возник огненный снап. Я успела увидеть только покрывающуюся железными латами спину харлекина, перемахнувшего через перила, как колдовское пламя, поначалу ярко-красное, играючи обратило в пепел деревянную обшивку, осыпаясь на пол негаснущими угольками-звездочками, а потом внезапно зазолотилось, становясь обычным пожаром, жадно пожирающим пол и наполняющим коридор удушливым дымом.

Страшно.

Наверное, каждый до ужаса боится именно такого огня — не укрощенного, не запертого в чреве печи, свободно расползающегося во все стороны, отсекающего дорогу к спасению и в конечном итоге обращающего в прах, в пепел. Страшно, когда дым разъедает глаза, заставляя непрошенные слезы потоком струиться по щекам, жар окатывает со всех сторон, превращая даже воздух в зыбкое, обжигающее горло марево, а ослепительно-яркие язычки пламени так и норовят охватить одежду и волосы, оборачивая когда-то сильное и даже в чем-то красивое существо в истошно вопящий огненный факел.

Что делать? Куда бежать? С одной стороны — ромалийцы в накрепко запертых комнатах, с другой — вампир и ганслингер, впустивший в зимовье беду и смерть. Кинешься тушить пожар, пока тот еще толком не разгорелся, — либо нежить успеет порезвиться всласть, либо девица с револьвером в суматохе начнет стрелять в любого, кто покажется ей подозрительным. Займешься вампиром — огонь наверняка успеет добраться до ромалийцев, или они задохнутся в дыму. В комнатках есть окна, но где-то они слишком маленькие, чтобы оттуда мог выбраться взрослый человек.

Взгляд упал на горку одежды, оставшейся после вампирьей «куклы». В памяти мелькнул образ Рады, то, как ромалийская девчонка с испуганным визгом гасила пламя, расцветающее на юбке чересчур смелой подружки, на спор перепрыгнувшей через высоченный костер в ночь летнего солнцестояния. Недолго думая, я подхватила с пола тяжелое, кое-где разодранное в клочья бархатное платье, присыпанное мелким бесцветным пеплом, и принялась сбивать пламя вначале с пола, а потом и со стен. Почти вслепую, потому что от дыма нещадно щипало глаза, стараясь не дышать, чтобы не поперхнуться отравленным воздухом.

Шажок, еще один.

Платье в руках становится все тяжелее с каждым ударом, оно уже тлеет, и кажется, будто бы по слипшемуся ворсу мечутся обжигающие пальцы искры. Пол под ногами горячий, очень горячий — я будто повторяла свой первый танец на угольях, но только на этот раз он был отчаянным, не имеющим ни ритма, ни порядка. Пугающим, обладающим сердце противным холодком. Не за себя — за тех, кто прятался от беды за деревянными дверями и в любой момент мог оказаться в ловушке. Об Искре я почему-то даже не думала, тот сам справится. Что станется харлекину, если против него один только ганслингер, без дудочника, захлестывающего волю невидимой цепью и легко ставящего на колени, без

наемников с железными шестигранными кольями? Да ничего.

Измученный возглас за спиной — и тотчас меня с головы до ног окатило ледяной колодезной водой, проясняющей разум и унимающей ломоту в затылке. Сильная рука схватила меня поперек живота и оттащила от пышущей жаром стены, и тотчас мое место заняли сразу двое ромалийцев с завязанными платками лицами, ловко сбивающие пламя небольшими ковриками, от которых валил пар, остро пахнувший мокрой шерстью.

— Мийка, рехнулась, что ли, в огонь босиком лезть?! Скажи спасибо, что подоспели вовремя, у тебя уже юбка по низу горела! Ты посмотри только! — В глазах Михея-конокрада плясали отблески затухающего пламени, вызолачивая радужку, волосы растрепались и буйными кудрями свисали на лоб, делая ромалийца похожим на медведя-шатуна, раньше времени выбравшегося из берлоги. Крепкая ладонь огладила мои щиколотки, онемелые, нечувствительные к прикосновениям. — Лирха, у тебя ноги чешуей покрыты. И руки до локтей. Если увидят...

— Помолчи! — Я осторожно села, слепо зашарила по полу, ища посох, который выпустила из рук, когда кинулась гасить пламя. Прислушалась к пугающей тишине внизу.

Не могла ганслингер так быстро расправиться с Искрой, да еще и бесшумно скрыться, бросив здесь «трофей», а сам харлекин не умеет двигаться достаточно мягко, пребывая в облике металлического чудовища, — все равно прутья-волосы шелестят при каждом наклоне головы, с тихим звоном царапают стальные доспехи заостренными кончиками. Добавить сюда вампира, только что лишившегося с трудом восстановленной «куклы», и получим место, от которого любому человеку стоит держаться подальше. А тут с полсотни людей прячутся за засовами и не решаются выйти, потому что за дверями — смерть.

И кто здесь за кем охотится, а?

Я глубоко вздохнула, сунула Михею в руки лирхин посох и направилась к лестнице, вглядываясь в замерший в ожидании разноцветный мир шассьими глазами. Успела заметить тающий обрывок тьмы, пронзенный не то сломанной у основания ножкой стола, не то обрубком деревянной ручки от метлы, а потом увидела ее. Женщину, чей контур полыхал тщательно скрываемой ненавистью столь же ярко, как и пламя, изрыгаемое ее револьвером. Женщину, в которой притаилось безумие, черное, беспросветное, густо-фиолетовым маревом окутывающее когда-то ярко-зеленый силуэт. Ту, которая уже когда-то давно, в прошлой жизни, разорила мое родное гнездо, а теперь вернулась, чтобы впустить беду в обретенный среди ромалийцев дом.

Она стояла прямо под лестницей, выставив револьвер перед собой на вытянутой руке, и я не удержалась. В одно движение перемахнула через перила, падая прямо на ганслингера и целясь короткими когтями в ее шею. Поспешила — и потому промахнулась совсем чуть-чуть, буквально на волосок. Ганслингер будто почуяла мое присутствие и отклонилась ровно настолько, что когти вместо нежной, незащищенной шеи ударили женщину по спине, вспарывая камзол и лишь слегка задевая кожу. Я больно стукнулась пятками о пол, неловко повалилась на бок и зашипела, чувствуя, как вдоль позвоночника пробивается шассий гребень.

А вот кричит бывшая дудочница так же высоко и тонко, как и в прошлый раз. В тот день я переломала ей пальцы на руках и отпустила, потому что не успевала добить. Но сейчас постараюсь завершить начатое когда-то. Пусть люди дерутся по-человечьи, проигрывая тем, кто сильнее, быстрее или просто лучше вооружен, а у меня нет такой привилегии — или же слабости. Мне надо защитить тех, кто доверил мне свои жизни, а для этого возможностей

человеческого тела явно недостаточно. Я бы и в шассу перекинулась, окончательно отказавшись от нынешнего человеческого облика, но нельзя. Не сейчас.

Я успела перехватить руку ганслингера, державшую револьвер, чувствуя, как напрягаются хрупкие пальцы женщины, а затем — как начинает раскаляться узор на вычурном оружии, обжигая мою ладонь.

— Ты впус-с-стила с-с-сюда неш-ш-шить! — Голос срывается на шипение, я вижу, как тает злость ганслингера, сменяясь страхом, ощущаю, как дрожит тонкая рука, пытаюсь развернуть дуло револьвера мне в лицо. — Бо-иш-ш-шься?

Она молчит, полные губы сжимаются в бледную полоску, аура трепещет багровыми обрывками по краю, дрожит, переливается из сине-сиреневого в темно-красный, и тут я наконец-то слышу, как через развороченную дверь с улицы вместе с предутренным ледяным туманом всплывает высокая, звенящая трель, пробирающая до костей сладостной дрожью.

Дудочник. Тот самый, с разными глазами. Имя не вспомнить — в голове плещется вязкая муть, заволакивающая разум и ослабляющая волю. Она укрощает ярость, делает безразличной, безвольной. Хочется обо всем забыть, обернуться змеей и скользнуть в узкую трещину, туда, где прохладно и сухо, и там заснуть крепким сном без сновидений.

— Попалась!

Что-то хлещет меня по глазам — больно, с оттяжкой, оставляя поперек лица жгучий след. Удар прогоняет слабость, развеивает туман в голове, но одновременно слепит, делая неожиданно беспомощной. Ганслингер дернула рукой что есть силы, стараясь высвободить оружие, револьвер выскользнул из моей ослабевшей ладони и случайно зацепился кольцом за коготь на мизинце, и без того почти сорванный в попытке располосовать прочный камзол служительницы Ордена Змееловов. Я ойкнула, вывернула кисть, пытаюсь вытащить коготь, и почувствовала, как кольцо неожиданно легко поддается, а затем нечто металлическое со звоном ударяется об пол и откатывается куда-то в сторону.

— Дря-а-ань! — Женский вопль птицей взмывает к потолку, разбивается вдребезги о прочные доски, пока я пытаюсь протереть глаза. — Вик! Я здесь! На помощь!

Вот только отзывается ей не дудочка змеелова, а низкий горловой рык харлекина.

— Ис-с-скра...

Я пошатнулась, и сразу же меня подхватила надежная, сильная рука, покрытая железными латами, осторожно утянула под лестницу и усадила на пол. Легонечко, почти ласково коснулась моего лба.

— Хорошо она тебя. Надо же было так ловко краем плаща воспользоваться. Цепочка у нее туда вшита, что ли, — вздохнул харлекин, осторожно убирая спутанные, воняющие прогорклым дымом кудряшки, завесившие мне глаза. Я наконец-то проморгалась и смогла увидеть лицо-маску харлекина, почерневшую и чуть оплавленную с левой стороны. — Прости, что не пришел на помощь раньше. Она меня, как видишь, слегка задела.

— А где?..

— Сбежала. — Искра вяло отмахнулся в сторону двери. — Там, как я понял, к ней подкрепление пришло. Неудивительно, что она предпочла не воевать в гордом одиночестве: герои среди ганслингеров не задерживаются, а идиоты вымирают в первый год службы. Змейка, ты посиди тут, а я все улажу. Сам. А когда все утихнет, собирайтесь и уезжайте от греха подальше. Только лучше днем.

Он низко склонил голову, а потом вдруг ухватил меня за обе руки, мягко роняя на пол, ткнулся неожиданно теплыми человеческими губами в мои губы и отпустил, оставляя



прикованной к доскам. Пришлось вывернуть шею, чтобы рассмотреть согнутую дугой кочергу, вбитую меж досками концом, которым ворошат уголья, столь основательно, что без посторонней помощи высвободиться не удастся.

— Ис-с-скра! Не с-с-смей! — Я рванулась что есть силы, кочерга дрогнула, но не сдвинулась ни на волосок. — Не с-с-смей к ним идти! Они ш-ше тебя убьют!

— Уже посмел. — Он выпрямился, нависая надо мной огромным железным чудовищем с человеческим лицом, дороже которого на свете не было, осторожно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. — Странное дело, но когда речь идет о твоей жизни, приказы на меня не действуют. Не бойся. Пожар почти потушен, а змееловам придется довольствоваться чараном, потому что существование шассы они не докажут. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?

— Я не хочу... чтобы ты умирал. — Я завозилась на полу, пытаюсь вытащить руки из чугунной петли, — бесполезно. Против чешуи ничего не получалось, только доски оцарапала. — Не надо. Искра, пожалуйста...

Голос вновь сорвался на жалкое, отрывистое шипение, как будто бы я разом позабыла человеческую речь. Я уже видела, что могут сделать люди с теми, кого считают законной добычей, видела на узкой горной дороге телегу, доверху наполненную тяжелыми, влажными, только-только снятыми с тел шассьими шкурами — рогожа тогда укрыла не все «богатство» и кое-где в прорехах поблескивала черная с прозеленью чешуя.

А что люди сделают с трофеем, который слишком тяжел, чтобы унести его с собой? Правильно, рубят на части и возьмут только самое ценное... Остальное оставят для мусорщиков Загряды. Заберут с собой драгоценный топаз, оплетенный золотыми нитями и ставший частью Искры, его сердцем. Заберут волшебство, принесенное из погибшей шассьей пещеры, разобьют его на мелкие кусочки и вставят в бездушные, вычурные побрякушки. А ведь именно там, в этом камне, теперь живет то неуловимое, что люди называют душой, шассы — искрой богов, а харлекины окрестили длинно, витиевато и непонятно — слепок личности. Так вот, без этого самого слепка харлекин просто металлическое чудовище, обладающее хорошо развитыми инстинктами, относительно неплохим разумом и почти никакими эмоциями. Просто хищник, избравший в качестве жертв людей. Как когда-то сказал сам Искра, пытаюсь объяснить мне, что же такое харлекины: «Базовая модификация». Совершенно чуждое, тяжеловесное, не ложащееся на язык выражение. Я тогда два или три раза пыталась его произнести, и все равно выходило неправильно, смешно и местами даже непристойно. Искра смеялся во весь голос и лишь после того, как отхохотался, соизволил пояснить. Это состояние у харлекинов означает почти полную потерю накопленного жизненного опыта. Именно такие чараны становятся бездушными металлическими монстрами, расчетливо и хладнокровно охотящимися на людей по мере необходимости, получают временный человеческий облик — и идут накапливать жизненный опыт. Как правило, отрицательный. Они копируют поступки людей, стараются их повторить, учатся изображать эмоции, но обычно не чувствуют ничего.

Я тогда спросила, как же вышло, что сам Искра другой? Харлекин молчал так долго, что я успела подумать, что он не ответит, и даже потянулась к мешочку с таррами, чтобы попробовать хотя бы угадать, но поторопилась. Он произнес эту коротенькую фразу тихо-тихо, почти шепотом и почему-то стараясь не встречаться со мной взглядом, словно признаваясь в чем-то постыдном, в таком, в чем не желал быть уличенным. Так неразборчиво, что я подумала, будто ослышалась или неправильно его поняла.

Искра сказал: «Я встретил Создателя».

— Ты мне нужен... — В горле невесть откуда возник горький ледяной ком, не дающий дышать, по щекам потекла горячая соленая влага, где-то в глубине тела, под сердцем, образовалась жуткая, гулкая пустота. Ничто, безжалостно затягивающее в себя тепло, спокойствие и возможность улыбаться. Как будто ощущение грядущей потери раскрыло у меня в душе черную дыру вроде той, что появлялась внутри ствола каменного дерева со смертью владельца. — Не уходи...

Харлекин улыбнулся, каким-то образом умудрившись смягчить жутковатый оскал железных зубов. Наклонился, чтобы аккуратно стереть слезинку с моего виска. Прохладные пальцы на мгновение задержались, огладив щеку и снимая с нее узкую полоску золотистой чешуи.

— Тебе надо было сказать это раньше, Змейка.

— Не Змейка. Аийша.

— Аийша... — Он выпрямился, длинные волосы-струны тихонько зазвенели. Поклонился, неожиданно легко и изящно, будто прощаясь. — Я не забуду.

А ведь он и вправду... прощается... Я рванулась, выгибая спину дугой, силясь высвободить руки из чугунной петли и чувствуя, как с запястий срывается чешуйчатая кожа, оставляя болезненные ссадины. Кочерга шевельнулась, доски еле слышно скрипнули. Не успею! Харлекин выйдет сам на жестокую расправу, постаравшись забрать с собой как можно больше людей с железными кольями, или же его выманит разноглазый дудочник, сила которого намного превосходит силу того, кто посетил Загряду осенью. Вик не станет церемониться, не будет раздавать ненужных приказов или играть с добычей. Он просто сделает свою работу — быстро, четко и качественно, не допуская лишней грязи на улицах и не тратя своего времени на такие глупости, как измывательство над поверженным противником. Ганслингер — та бы постаралась на славу, ее безумие вот-вот перельется через край и начнет перекидываться на окружающих, а у Викторiana другая цель, другой огонек-одержимость под сердцем, и Искра лишь препятствие на его пути, через которое надо просто перешагнуть.

И ведь перешагнет, если я не помешаю.

Дурманящая мелодия, доносившаяся с улицы, вдруг захлебнулась, на мгновение стихла, возвращая ясность разума, но лишь для того, чтобы возродиться снова, уже измененной и притягивающей к дудочнику совершенно иное существо, покрытое не чешуей, а стальными латами.

В том, что Катрина преподнесет еще массу неприятных сюрпризов, Викторian ни секунды не сомневался, но вот предугадать, что неугомонная девица пойдет на охоту в гордом одиночестве, да еще и за час до рассвета, когда нежить наиболее агрессивна, даже опытному дудочнику оказалось не под силу. И хорошо еще, что его разбудил грохот за окном, когда с крыши упал не то кусок черепицы, не то отслужившая свое секция водосточного желоба, иначе Викторian ни за что бы не догадался сходить и проверить, все ли в порядке с девушкой.

Сходил. Проверил. Выругался настолько нецензурно, насколько позволяли остатки дворянского воспитания, и пошел поднимать наемников, отдохавших в гостинице напротив следственного дома. А все потому, что ганслингер подтвердила справедливость поговорки о тщетности попыток вложить в чужую голову свой разум и отправилась на охоту, прихватив с

собой один только револьвер и начисто позабыв о запасном барабане «на всякий случай».

Девочка... какая же ты еще деточка! Безмозглая! Хорошо еще, что в Ордене не исключались случаи подобного героизма или же глупости, что по сути одно и то же, и каждого дудочника обучали особой мелодии, позволявшей найти казенный револьвер хоть на дне реки, хоть под землей, хоть в желудке твари. Другое дело, что, пока утраченную игрушку не достанешь, определить, чья она, не получится, но такие мелочи Викторiana не беспокоили. В городе всего два орденских револьвера: один хранится в надежно запертом тайнике у начальника городской стражи, а второй гуляет где-то вместе с бесшабашной владелицей. Или лежит в труднодоступном месте, если Вик опоздал и спешить уже некуда.

На улице оказалось темно, холодно и промозгло. Наемники кутались в плотные шерстяные плащи, позевывая и ругаясь вполголоса на тяжелую жизнь и недостойную плату, но Викторiан привычно пропустил этот вялый ропот мимо ушей и достал из чехла на поясе штатную дудочку. Минуты через полторы он уже точно знал, где искать второй револьвер и его безалаберную хозяйку, и это знание смахнуло с него остатки сонливости гораздо быстрее, чем умывание ледяной водой. Потому что револьвер Катрины находился в бедняцком квартале, именно там, где расположился ромалийский табор, а вместе с ним и лирха, в которой Вик заподозрил шассу. И если у дудочника хватило ума на то, чтобы не рубить сплеча и вначале увериться в правильности своего предположения, то ганслингеру такие тонкости оказались ни к чему. Как там она говорила? Снять кусочек кожи со спины? А ведь можно еще плечо прострелить. Так, чтобы уж наверняка. И тогда Вику придется столкнуться либо с лирхиным проклятием, которое может ударить не только по Катрине, но и по нему самому, либо с разъяренной шассой, и еще неизвестно, какой из вариантов хуже. Ведь если окажется, что шасса та самая, золотая, то заявить свое право на трофей в случае успешной охоты на глазах стольких свидетелей не удастся: шкура слишком ценная, никто не позволит дудочнику пустить ее на княжеские доспехи для себя, любимого. В лучшем случае на перчатки отжалеют кусочек потоньше да похуже, и то после долгих споров и препираний, а кто знает, когда еще выпадет шанс напасть на след змеиного золота? Госпожа Удача — дама капризная, еще раз может и не улыбнуться.

Викторiан чертыхнулся и торопливо зашагал вниз по улице, гадая, как быстро едва-едва успокоившееся колено вновь напомнит о себе простреливающей болью, успеет ли он сам вообще поучаствовать в этой пародии на грамотную охоту или же появится слишком поздно.

Как оказалось — все-таки успеет.

От ромалийского зимовья несло едкой гарью, белесая дымная пелена плотным облаком окутывала вход с вывороченной напроць дверью, но трупы во дворе не валялись, а доносившиеся из дома сдавленные крики пополам с руганью явно свидетельствовали о том, что живые там еще есть. Красота. Просто глаз не отвести. Это уж точно не работа Катрины, та в крайнем случае прострелила бы замок на двери, а не стала безуспешно пытаться высадить ее плечом. А тут массивные дубовые доски просто в щепки разнесло, и явно не усилиями ганслингера. Интересно, кому ромалийцы успели настолько досадить? И, главное, чем?

Но прежде чем туда соваться...

Змеелов отдал короткую команду наемникам, чтобы те стояли тихо, как мышки, не пытаясь даже шевельнуться без приказа, шагнул вперед, поближе к дому, и заиграл на дудочке «призыв шассы». Наугад, не рассчитывая на успех, и потому удивился, когда колдовская мелодия, невидимой змеей скользнувшая в черневший дверной проем, вдруг

зацепила кого-то. Ощущение было сродни тому, когда забрасываешь в мелковатую ленивую речку крючок на тонкой лесе с наживкой на карася, а через полминуты ярко окрашенная сухая щепочка уходит под воду так глубоко, будто бы ухитрился поймать здоровущую щуку. И что делать с такой добычей, непонятно. Из реки не вытащишь — оборвет лесу в одно мгновение и уйдет на глубину как ни в чем не бывало. Просто так наблюдать за уходящим под воду поплавком — обидно, так и тянет подсечь рыбину, только чтобы попытаться, авось повезет.

Вот и здесь то же самое.

Что-то ворочалось в петле колдовской мелодии пока вяло и неагрессивно, скорее пытаюсь стряхнуть неожиданную помеху, чем всерьез пробуя вырваться на волю, нечто, отозвавшееся на шассий призыв, но неохотно, будто бы отмахиваясь от навязчивого зова, как от обнаглевшего комарья. Тут не надо быть гадалкой, чтобы сообразить: где-то внутри ромалийского зимовья притаилась золотая шасса, которой все мелодии штатной дудочки змееловов кажутся комариным писком. Звуком, раздражающим донельзя, но при этом совершенно безопасным.

— Ви-и-ик! — Прорвавшийся сквозь дымную пелену голос был до боли знакомым, и на краткое мгновение дудочник испытал горькое разочарование: похоже, что такие люди, как Катрина, в огне не горят и в воде не тонут, да и нечисть ими брезгует, а жаль. — Я здесь! На помощь!!!

Наемники, выстроившиеся полукругом у входа в дом, переглянулись, поудобнее перехватили тяжелые одноручные мечи и длинные шестигранные колья, но почему-то никто не сдвинулся с места. Видимо, зов Катрины о помощи действовал на них точно так же, как музыка дудочника на золотую шассу, то есть никак. Совесть у этих работников меча и топора давно была продана по сходной цене, благородства у людей с лихого севера отродясь не бывало, а чувство сострадания из них выбили в далеком детстве на улицах нищенствующих поселений, где человек человеку был не только волк, но еще и потенциальный гробовщик.

Вот интересно, чем руководствовалась ганслингер, когда набирала этих людей с собой в Загряду? Конечно, рассчитывать на то, что наемники будут прикрывать в бою своим телом, не приходится никогда, ведь на том свете заработанные деньги уже не потратишь, но если они даже в сложившейся ситуации особо не торопятся помогать...

— Вик! — На пороге дома появилась целая и почти невредимая Катрина, одной рукой хватавшаяся за развороченный дверной косяк, а другой удерживавшая револьвер, лишившийся съемного барабана. — Там чаран хозяйничает! Играй на призыв, пока он всех в доме не вырезал!

Чаран... хозяйничает...

Воспоминание как вспышка. Два распростертых женских тела на широкой кровати в одном из борделей. Несвежие простыни паутиными обрывками свисают с краев скрипучего колченогого убожества, непонятно почему называемого княжеским ложем, запах свернувшейся крови и вспоротых животов чувствуется даже сквозь слащавый аромат благовоний и дешевых женских духов. Какофония запахов, которая лишь усиливалась благодаря жаркому лету, намертво врезалась в память молодому еще дудочнику, только-только принявшему звание второго голоса, и в будущем вспоминалась ему каждый раз, когда приходилось играть «призыв чарана».

Викториана передернуло, он ненадолго прервался, отняв дудочку от пересохших губ, и

мрачно взглянул на бегущую прочь от крыльца Катрину. Лицо девушки мелким бисером усеивали капельки крови, разодранный в лохмотья плащ полоскался на ветру, светя длинными прорехами, но двигалась она по-прежнему легко, значит, ее едва задело и нужного урока из своей глупости Катрина опять не вынесет.

— Стрелять можешь? — коротко поинтересовался змеелов, переводя взгляд на ромалийское зимовье. Крики в доме поутихли, да и дым стал пожиже: он едва сочился из дверного проема тонкой кисейной пеленой. Может быть, там все не настолько плохо?

— Рада бы, да нечем. — Ганслингер продемонстрировала разряженный револьвер. — Только если ты не прихватил для меня запасной барабан.

— Значит, не можешь. Тогда встань подальше и не мешай.

Девушка вскинула лицо, серые рассветные сумерки превратили ее глазницы в выжженные черные дыры, от волос, кое-как уложенных в сбитый узел на затылке, несло гарью. Хрупкие пальцы сжались в кулачки, сдвинувшиеся брови нарисовали уродливую складку на лбу.

— Не посмеешь.

Змеелов не стал спорить, просто ухватил девушку за плечо и бесцеремонно оттолкнул себе за спину, а потом поднес дудочку с мягко светившимся узором к губам, наигрывая совершенно иную мелодию. Музыку, в которой чудилось бряцанье железных лат и низкое завывание. Песню, жгучей петлей ухватившую нужную цель и потащившую ее к выходу из ромалийского зимовья. Только вот слишком легко, без малейшего сопротивления, хотя обычно чараны, едва ощутив на себе колдовские путы, селятся вырваться из них до конца, до тех пор, пока их не пронзят шестигранными кольями и не снесут голову.

А этот шел на зов сам.

Чаран показался в дверном проеме, и, чтобы выйти на улицу, ему пришлось согнуться едва ли не вдвое. Тихонько позванивали, ударяясь друг о друга, металлические волосы-струны, и там, где острые кончики скребли по сырым камням мостовой, то и дело вспыхивали бело-голубые искры. Железный монстр отошел от порога, невесть зачем волоча за собой зажатый в правой лапе тяжелый фальшон, послушно остановился в десяти шагах от наемников, выставивших перед собой шестигранные колья. Поднял уродливую голову и оскалится в жуткой ухмылке, демонстрируя треугольные зубы.

Викториан глазам своим не поверил, когда чаран встряхнулся, выпрямился во весь немалый рост и вдруг обернулся человеком, тем самым рыжеволосым верзилой, которого дудочник не раз замечал таскавшимся за ромалийской лирхой, как собачка на привязи.

— Внезапно, да? — Рыжий усмехнулся и прыгнул вперед, ловко отводя направленный в живот кол раскрытой ладонью и всаживая меч в наемника по самую рукоять, так, что кончик окровавленного лезвия вылез у того из спины. — Я тоже не ждал орденских псов после того, как девка привела за мной вампиров.

Чаран круто развернулся, высвобождая меч и с силой толкая умирающего перед собой, используя падающее навзничь тело как щит между собой и очередным противником, извернулся змеей, пропуская шестигранное копьё в волоске от обнаженного бока, и одним ударом снес пол черепа подобравшемуся со спины наемнику.

Так вот как погибла предыдущая связка, сдуру сунувшаяся в этот город! Вот как чаран одолел и дудочника, и ганслингера, и целую банду отребья, на которой Орден решил традиционно сэкономить. Нехитрое дело-то, если железный оборотень внезапно перекидывается в человека, с которого музыка змеелова соскальзывает, как промасленная,

кое-как затянутая петля. Его не удержишь штатным инструментом дудочника, не поставишь на колени.

Викториан торопливо рванул ворот камзола, так, что оторвавшиеся пуговицы разлетелись во все стороны, потянул за цепочку и высвободил чехол со своим сокровищем. Быстро извлек тонкую узорчатую палочку, больше похожую на косо срезанное коленце тростника с кучей дырочек и крохотных клапанов-заглушек, и заиграл, стараясь пересилить монотонный визг Катрины, внезапно осознавшей, что раздраженная ее выходкой смерть не собирается становиться на колени перед первым голосом.

На этот раз помогло.

Пусть даже недоделанный, несовершенный, инструмент Кукольника будто бы обрушил на голову чарана тяжеленную наковальню. Рыжий свалился на мостовую при первых же звуках мощной, пробирающей до костей мелодии, сжался в тугий клубок, выронив меч, и начал меняться, на глазах обрастая звенящими латами и вяло царапая залитую кровью мостовую длинными железными когтями.

К счастью, наемники опомнились быстро. Не слишком надеясь на музыку, грохотавшую на узкой улочке, они поторопились использовать железные колья по назначению. Одно за другим, со страшным скрипом и хрустом, шестигранные копыя пронзали оборотня, скалывая вместе ноги и руки, входя под плечи и лишая чарана малейшей возможности двигаться, но не убивая.

Пока не убивая.

Викториан отнял хрупкий инструмент Кукольника от губ и, сунув его в чехол на шею, подошел к лежавшему на мостовой чарану. Выудил из кармана узкий ошейник-змеяку и, наклонившись, быстро застегнул его на шею металлического чудовища, тем самым окончательно парализуя чарана. Хорошая все-таки эта штука — змеиное кольцо. Такие вещицы выдаются с орденового склада только под расписку и только первым голосам с хорошими рекомендациями сверху, за утерю полагается огромный штраф и полгода бесплатной отработки в районах, граничащих с Лиходолем, но зато эти милые игрушки позволяют обездвижить ниже шеи любое существо, не являющееся человеком. Хоть оборотня, хоть нежить. Говорят, что даже золотую шассу можно удержать таким ошейником и доставить живьем к орденовым таксидермистам, чтобы те могли с максимальной тщательностью снять бесценную шкуру и отправить на обработку для безумно дорогих княжеских доспехов.

— Я не слышала, чтобы тебе когда-то давали змеиное кольцо, Вик. — Катрина подошла почти вплотную к дудочнику, но ее взгляд не отрывался от лежавшего на мостовой чарана, хрипло и натужно пытавшегося дышать с железным колом под грудиной. — И уж тем более не догадывалась, что у тебя есть такая... дудочка. Не хочешь пояснить?

— Только после того, как ты расскажешь, зачем пошла к ромалийцам, предварительно заключив договор с вампирами. — Змеелов едва заметно улыбнулся, разглядывая побелевшее и совершенно утратившее очарование личико. — Только не говори, что выслужиться хотела, за такую глупость казнят на месте без суда и следствия.

— Он же врал! — Катрина нервно рассмеялась, берясь за кол, пронзивший чарана, и начиная его раскачивать, с трудом, но все-таки расширяя рану парализованного оборотня. — Ты же не поверишь твяканью какого-то монстра. Мало ли что он там наплел!

— То есть если я зайду в гости к ромалийцам, то я не найду там и следов вампира? — Дудочник понизил голос почти до интимного шепота, наклонившись к уху девушки. — Но

учти, если они там есть, тебе конец. Мне не нужен напарник, повязанный с нежитью. И Ордену такие не нужны.

— Эй, господин, — один из уцелевших наемников совсем не вежливо толкнул змеелова в плечо, — гляди-ка, там живые еще остались.

Викториан поднял взгляд и замер, увидев на пороге ромалийского зимовья растрепанную босоногую девчонку, державшуюся за растрескавшийся дверной косяк. Лирху в обгоревшей по подолу юбке, в мокрой рубашке, кое-как напяленной на голое тело и потому бесстыдно открывавшей взглядам небольшую грудь. С дорожками от слез на грязном лице, с уродливыми красными пятнами на ступнях и лодыжках, такими, будто бы Ясмия пыталась выбраться из огня или же потушить его тем, что под руку попало. И все бы ничего, если бы с перемазанного сажей личика на него не смотрели остекленевшие глаза с пустым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Ты привела к нам смерть. — Девчонка с трудом переступила через порог, тонкая рука с содранным до крови, обожженным запястьем плавно, почти торжественно поднялась и указала на Катрину. — Ты принесла в наш дом тьму и огонь...

Она шагнула вперед, ступила в остывающую лужу крови и пошла дальше, будто не заметив тянущегося за ней темного следа и глядя перед собой непроницаемыми угольно-черными глазами. Кто-то из наемников попытался грубо ухватить лирху за край обгоревшей юбки, но споткнулся и упал, неловко подминая под себя руку и сразу же принимаясь выть от боли и ругаться на чем свет стоит.

— Ведьма-а-а-а! — Заросший неопрятной щетиной человек перевернулся на спину, суча ногами в воздухе, и Вик успел заметить неестественно вывернутое запястье. Судя по всему, сломанное. — Убью!

Ясмия остановилась, все еще зажимая что-то в судорожно стиснутом кулачке. Обернулась, смерив матерившегося наемника взглядом, и тот сразу же затих. Более того — попытался отползти от ромалийской девчонки, не замечая, что оказался в кровавой луже, натекшей из убитого оборотнем товарища, и истово крестясь уцелевшей рукой.

— Вик, — тихо прошептала Катрина, отступая за спину дудочника. — Вик, останови ее. Что угодно сделаю, только убери ее от меня. Убери!

— Детка! — Разноглазый дудочник выпрямился, глядя в смуглое лицо лирхи и чувствуя странное возбуждение, когда одновременно становится и страшно, и жутко интересно. То же самое чувство, которое он испытывал, спускаясь в шассье гнездо и надеясь отыскать там сокровенное змеиное золото. Возбуждение охотника, после долгих поисков наконец-то почуявшего долгожданную жертву. — Именно поэтому я просил тебя не лезть к ромалийцам. Если ты действительно натравила на них вампиров, я ничем не смогу тебе помочь. И не захочу.

— Но там же была... — Девушка осеклась, потому что Ясмия подошла к ней вплотную, невесть как умудрившись обогнуть змеелова.

Невысокая ромалийская девчонка, от растрепанных волос которой остро пахло горьким дымом, просто стояла и смотрела снизу вверх на ганслингера, и на краткое мгновение Викториану почудилось, что она на самом деле куда как страшнее, чем железное чудище, лежавшее на мостовой.

— Ты принесла нам тьму и огонь, — повторила лирха, осторожно, почти ласково беря Катрину за трясущуюся руку и оглаживая линии на ее ладони кончиками пальцев. — От тьмы в кольце огня тебя и настигнет самая страшная участь.

С этими словами ромалийка вложила в ладонь ганслингера позолоченный барабан от револьвера, в котором остались еще две пули, и сомкнула ее пальцы поверх утраченной, а потом возвращенной вещи.

Вот так все просто. Когда-то давно дудочник читал о ромалийских проклятиях, которых боялись все крестьяне, и даже среди образованных горожан каждый второй, встречаясь с представительницей кочевого народа, прятал взгляд и старался лишней раз не смотреть на девушку в ярком платье. Потому как если обидишь такую, то срежут у тебя в толпе кошелек с пояса или пуговицу с рукава, кольцо стянут или платок из кармана, а потом вернут обратно с проклятием, от которого так просто не избавишься. Только если идти на поклон к тому, кого обидел, и упрашивать, чтобы забрали назад наговоренные беды. Но если проклинала сама лирха, то тут даже с ее смертью не сможешь прожить достаточно долго и спокойно, потому что по мелочам да по баловству охранительницы табора не проклинаят и слов своих назад не берут.

— Мийка! — Девчонка вздрогнула, будто бы пробуждаясь от глубокого, тяжелого сна, и обернулась в сторону высоченного ромалийца, бегущего к ней с теплым лоскутным одеялом. — Мийка, куда тебя понесло, а? Я уж испугался, утащил тебя кто!

Он торопливо обернул лирху одеялом и поднял на руки, будто ребенка. Оглянувшись вокруг, заметил неподвижно лежавшего на боку оборотня и еле слышно охнул:

— Господа хорошие, а чего он, живой еще?

— Живой, живой. — Викториан сложил руки на груди, стараясь не смотреть в сторону Катрины, еще не понимающей, что ее дорожка уже направлена в могилу. — И думаю, что еще день-другой я ему позволю жить, пока не узнаю кое-что для Ордена. Да, кстати. Поскольку мы оказали большую услугу вашему табору, избавив вас от оборотня, пожирающего людей, взамен я прошу об ответной любезности. Денег с вас я не возьму, а вот коня и телегу хотелось бы одолжить. Сами понимаете, до следственного дома мы эту падаль при всем желании на своем горбу не дотащим.

— Понял. Обождите немного, пока лошадку запряжем, а я лирху нашу в дом отнесу.

— Обождем. Нам спешить уже некуда.

Змеелов проводил взглядом бородача, скрывшегося в дверном проеме, и неловко опустился на корточки, рассматривая неподвижное, слегка оплавившееся с одной стороны лицо-маску железного оборотня, на котором жили только глаза. Пронзительно-синие, с широким зрачком и едва-едва светящиеся изнутри голубоватым огнем. Наклонился, пару раз прищелкнул пальцами, будто проверяя, жив чаран или уже нет.

— Она придет за тобой, не так ли? — Голос Викториана упал до свистящего шепота. — Ты ведь не за себя дрался, иначе попытался бы сбежать. Очень надеюсь, что ты проживешь достаточно долго и успеешь послужить приманкой для шассы. И если она окажется особенной, то обещаю, что умрешь ты быстро и, по возможности, безболезненно.

Дудочник выпрямился, отступил на шаг от поверженного чудовища и посмотрел на Катрину, которая с растерянной улыбкой вертела в руках барабан от револьвера, разглядывая его со всех сторон, будто бы пытаясь найти изъяны, а потом вдруг метнулась к Вику и с радостным визгом повисла у него на шее.

— Знал бы ты, как напугала меня эта шарлатанка! Я проверила, барабан чистый, на нем никаких заклинаний или новых знаков не появилось, а это означает, что та девка меня просто запугать хотела! И было бы за что! Ну, подумаешь, подпалила у них стену в одном месте, так ведь не сторел же никто! И потушили быстро! Зато мы их от чарана избавили, и



можно наконец-то отдохнуть!

— Ты все сказала? — Змеелов грубо потянул девушку за косу, заставляя разомкнуть объятия. — В таком случае проследи, чтобы наемники сами погрузили оборотня на телегу, а не заставляли этим заниматься ромалийцев. И еще. Надеюсь, что от лирхиного проклятия ты будешь умирать не слишком долго.

Хлоп!

Щеку ожгло болью, а ганслингер, отвесив пощечину, круто развернулась и пошла прочь, на ходу вставляя барабан в револьвер. Не застрелилась бы посреди площади, с нее станется. А с другой стороны, если хотя бы половина крестьянских баек о ромалийских проклятиях соответствует истине, лучше будет, если Катрина побыстрее застрелится, избавив тем самым от мучений и себя, и окружающих.

Окна в моей комнате были распахнуты настежь, двери тоже, но казалось, будто бы ничто не может избавить дом от мерзкого, въедающегося в ноздри запаха гари, которым после наскоро потушенного пожара успела пропитаться каждая тряпка и занавеска. В первый час после ухода змеелова меня трясло, я дважды ошиблась, пока восстанавливала осторожную защиту дома, но даже после всех моих усилий она осталась несовершенной. С дырой на месте входа, кое-как прикрытой невидимой заплаткой. Хватит на несколько ночей, а потом придется обновлять. Или съезжать из этого дома куда глаза глядят, да побыстрее, пока на пролитую кровь не сползлось чего пострашнее гремлинов, и без того рассеявшихся под каждой крышей в округе. Был бы здесь Искра, он бы их за пять минут разогнал.

Искра...

Я тихонько застонала и сжала виски ладонями. Глаза противно защипало, будто бы по ним снова хлестнули жестким краем плаща. Надо ждать. Ждать, пока не наступит ночь и люди в следственном доме не заснут, — только тогда можно попробовать пробраться к ним и вытащить харлекина, если, конечно, к тому времени его не порубят на куски. Если только та девица с ледяным, пустым взглядом и безумием, притаившимся под сердцем, не захочет поиграть с пленником по-своему, припомнив и свою минутную слабость, и разодранную спину, и искалеченные руки, — ведь тогда Искре придется отвечать за мои поступки. Опять.

Как же это отвратительно — вновь ощущать выматывающую беспомощность, страх за близкое существо и стыд за себя. За то, что не хватает духу показаться и попытаться остановить мучителей, называющих себя охотниками, что конечности немеют от страха и отказываются повиноваться. Что инстинкт самосохранения заставляет вжиматься сильнее в острые каменные стены, сливаться с ними, становиться их частью, затаиться, и все это для того, чтобы тебя не заметили, прошли мимо и оставили в живых. И вот когда наконец-то опасность минует, ты испытываешь чувство, за которое начинаешь ненавидеть себя потом, — облегчение.

Я позволила змееловам забрать свою первую семью, а теперь они увели у меня еще одно близкое создание, без которого я чувствую себя одинокой, незащищенной и потерянной. Совсем как полгода назад, когда я пряталась под разбитым фургоном, прижимая к груди дрожавшего от холода и боли щенка, ныне выросшего в хорошую сторожевую собаку. Тогда мне все казалось чужим и враждебным: и мир вокруг, и непривычный холод, и позаимствованное у умирающей ромалийской девчонки тело. Настоящая я тогда пряталась в глубине худенького, слабого тельца, не решаясь взглянуть на мир золотыми шассьими глазами, и даже когда змеелов передал меня лирхе Ровине, которая быстро распознала и приняла мою нечеловеческую природу, я не чувствовала себя защищенной.

До тех пор, пока в моей жизни не появился Искра.

— Он догадывается, кто ты. — Я обернулась на голос и увидела в дверях рослую фигуру Михея. Конокрад выглядел усталым, под глазами залегли темные круги, слегка опаленные кудри торчали во все стороны, делая Михея похожим на огородное пугало. — Потому и оставил парня в живых. Как приманку. Будет ждать, когда ты сама к нему явишься, чтобы не тратить время и силы на проверку всего табора.

— А если не явлюсь?

Ромалиец пожал плечами и зашел в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Вздыхнул, запуская пятерню в спутанные волосы и пытаясь хоть как-то их пригладить.

— Тогда он его добьет и получит обещанный за голову железного оборотня гонорар. А потом придет к нам снова, но на этот раз вместе с городской стражей, и будет проверять по одному. — Михей вытянул из-за пояса толстую ржавую иглу, раза в два длиннее сапожной, и протянул мне.

Я осторожно, двумя пальцами, взяла ее, рассматривая крохотную змейку на капельке, венчавшей иголку, а потом подняла непонимающий взгляд на конокрада:

— Что это?

— Один из орденов инструмента правды. Унес как-то на память в собственном колене. Очень неприятная вещь, если грамотно применять, и весьма действенная. После третьей иглы ни одна тварь не способна удержаться в человеческом облике, что-нибудь, да проскользнет. Вот тут-то ее и хватают, но чаще просто сносят голову.

— Викторин так не сделает. — Я покачала головой, возвращая конокраду иголку. — Он не любит чужих мучений.

— Он — нет. А вот белобрысая девица — еще как. — Михей уселся на табурет, еле слышно скрипнувший под его весом, и взглянул на меня снизу вверх тяжелым, серьезным взглядом. Так же, как на меня когда-то смотрел мой отец перед тем, как объявить очередное наказание за попытку заползти куда не надо. — Уезжать нам надо. Всем вместе и как можно быстрее.

— Я не брошу Искру. Он бы меня не бросил.

— Знаю. И поэтому я пришел помочь. — Конокрад неожиданно улыбнулся и подмигнул мне: — Ровина ведь успела научить тебя, как вызывать серебряную дорогу? По ней лирха может пройти куда угодно, и каким бы ни было расстояние, она одолеет его всего за семь шагов. Семь шагов по узкой серебряной ленте — и ты можешь оказаться у северного моря. Или на краю света. Или, если будет таким твое желание, — в наглухо запертой камере, где держат железного оборотня, лишенного возможности двигаться. Одно плохо: вряд ли охрана будет ждать, пока ты снимешь с Искры парализующий ошейник и выведешь его на свободу.

Я потерла лицо ладонями и глубоко вздохнула, загоня куда-то вглубь нарастающую панику. Если я пойду за харлекином, то, скорей всего, сама окажусь в клетке. Если останусь — Искру казнят через день-другой. Разрубят на части и отправят в кузницы наиболее подходящие для переплавки куски брони.

— У тебя есть план?

Конокрад усмехнулся и развел руками.

— С планом каждый сможет. Но скажу честно, если бы я планировал каждую кражу, то вряд ли сумел бы увести хоть одного мало-мальски стоящего жеребца.

Обнадеживает — просто нет слов.

— Ну, раз ты со мной согласна, то снимай все бусики и колокольца, чтобы звенеть лишний раз нечем было, да и штаны себе какие подыщи, не дело в юбке по казематам лазить, еще зацепишься подолом за что не надо. — Михей поднялся с табуретки и с хрустом потянулся. — Эх, коней я за свою жизнь столько увел — на табун хватило бы, и еще на продажу осталось, но вот воровать оборотня у змееловов не приходилось. Что ж, все бывает в первый раз.

— Надеюсь, что не в последний, — тихонько пробормотала я, возясь с застежкой браслета и искоса поглядывая в сторону ромалийца, который оглянулся по сторонам и принялся деловито рыться в плетеных коробах, доверху забитых еще стараниями лирхи

Ровины, и что-то негромко приговаривая себе под нос. — Ищешь чего?

— Уже нашел. — Михей обернулся ко мне, подбрасывая на ладони плотно закупоренную стеклянную банку, до половины заполненную туго скрученными бурыми листочками. — Разрыв-трава, сам в прошлом году помогал Ровине ее собирать.

— И чем нам поможет лекарство от прострелов в спине? — удивилась я, стаскивая браслеты с щиколоток и аккуратно складывая их в замшевый мешочек.

Конокрад только хитро улыбнулся и подмигнул мне:

— Увидишь. А заодно поймешь, почему встретить темной ночью ромалийца с пустым дырявым котлом не к добру. Собирайся, лирха, как только стемнеет, отправимся твоего рыцаря вызволять.

С этими словами конокрад вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь и оставив меня, ошеломленную нежданной надеждой, стремительно перерастающей в уверенность: Искру мы вытащим несмотря ни на что. Не помешают ни стражники, ни безумная женщина с проклятым револьвером, ни разноглазый дудочник с пламешком-одержимостью под сердцем.

Я принялась торопливо раздеваться до сорочки, сбрасывая широченные оборчатые юбки прямо на пол. Были же у меня где-то штаны, старые и вытертые, правда, я в них вместе с Ровиной ходила по лесу, что рос неподалеку от Загряды, все полянки коленками примяла, пока училась различать целебные травы и правильно выкапывать корешки. И про разрыв-траву мне лирха рассказывала, было ведь что-то такое...

*Я вытираю взмокший лоб рукавом замызганной, перепачканной перегноем рубашки, перевожу взгляд с хитро закрученного узлом белесого корешка на статную лирху, вззирающую на меня с невозмутимостью статуи. Несмотря на холодную осеннюю погоду и морозящий дождь, мне жарко от постоянного ползания по земле на карачках с постепенно наполняющейся корзинкой в одной руке и небольшим совочком в другой, тогда как Ровина все плотнее кутается в толстый шерстяной платок, ежась от порывов холодного ветра.*

— Долго еще, лирха? — Я с трудом разгибаю ноющую спину, кряхтя, как старая бабка, и морщась от нахлынувшей ломоты. — Мне кажется, что я уже всю поляну перекопала, а тебя устроил всего с десятков чахлых стебельков.

— Эти чахлые стебельки, как ты изволила выразиться, на самом деле очень сильная трава. — Ровина наклоняется, бережно извлекает из моих пальцев коричневый росток, всего на ладонь вытянувшийся из белесого влажного корешка, и осторожно перекладывает его в свою корзину, стараясь не измять узкие листочки. — Это разрыв-трава, и годится она не только для лечения.

— Что, если съесть, отравиться можно? — интересуюсь я, украдкой потягиваясь и радуясь передышке.

— Ну, не отравишься, конечно, — Ровина усмехается, — так, на полдня в отхожем месте засядешь. У этой травы другая сила. Она разрывает каленое железо так же легко, как корни деревьев раскалывают каменные берега, только гораздо быстрее. Сорви эту траву, мокрую после росы или дождя, ударь по вражескому мечу — и он разлетится на куски прямо в руках владельца. Подсунь стебелек поближе к дверным петлям — и окажешься на свободе.

— А что будет, если к разрыв-траве прикоснется железный оборотень?

Лирха молчит, будто бы собирается с мыслями, а потом протягивает руку и

*осторожно гладит меня по голове, словно неразумное дитя.*

*— Погибнет почти сразу. Для чаранов сок разрыв-травы — страшный яд.*

По спине пробежал холодок от непрошенной мысли.

А если я не сумею освободить Искру, если к тому времени, как я доберусь до него, он будет изуродован столь жестоко, что спасать, по сути, будет некого. Что тогда? Оставить его на милость змееловов или же воспользоваться разрыв-травой, подарив харлекину более легкую смерть? Просто забрать опутанный золотой паутиной топаз, хранящий его душу, его слепок личности, а в прореху вложить несколько стебельков, плеснуть воды — и уйти как можно быстрее, трусливо сбежать, чтобы не видеть, как железный оборотень рассыпается на тронутые ржавчиной куски.

Я судорожно вздохнула, торопливо натягивая застиранные штаны с нашитыми на колени кожаными заплатками и затягивая веревочный пояс. Подошла к раскрытой коробке с лекарственными сборами и принялась перебирать тихонько звякающие склянки с залитыми воском крышечками. Я точно помню, что разрыв-трава была у лирхи и в виде густого, тягучего отвара, который надлежало разбавлять водой, но для моих целей будет достаточно того, что есть.

Искра не достанется змееловам ни живым ни мертвым, пусть даже для этого мне придется уничтожить его разрыв-травой. Потому что харлекин, дважды сцепившийся с вампирьей «невестой», только чтобы не подпустить ее к людям, тот, кто не побоялся закрыть меня от Госпожи Загряды, не заслужил смерти от рук орденских палачей, заживо свежующих нелюдь ради прочной брони и дорогих трофеев.

Я наконец-то нашла, что искала, — кривоватую бутылочку с узким, высоким горлышком, в которой едва заметно колыхался зеленоватый «мед» с темными пятнышками осадка на дне, и сунула ее в пустой кошель, из которого вытряхнула все содержимое, со звоном рассыпавшееся по полу.

Надеюсь, что Искре этот яд все-таки не понадобится.

Притихший, с одиноко горящим окном следственный дом выглядел мрачной, выплывающей из тьмы приземистой цитаделью, которую злой волшебник выстроил с одной-единственной целью — заманивать на теплый золотистый огонек случайных путников, чтобы впоследствии привести их на жертвенный алтарь. Была такая легенда, старая очень, ее мне Ровина рассказывала — о заколдованном замке и колдуне с лицом, прекрасным, как солнечный день, и черной, как безлунная ночь, душой. Его обиталище было погружено во мрак, и лишь у крохотной потайной дверцы всегда горел волшебный фонарь, на свет которого приходили усталые путники, измученные долгой дорогой через бескрайнюю степь. Приходили — и оставались в замке навсегда, потому что стоило им заснуть на мягкой перине и шелковых простынях, как душа их отделялась от тела и крохотным светлячком опускалась на дно пузатой стеклянной бутылки. Лирха говорила, что в Лиходолье, откуда родом эта легенда, сказители частенько добавляли, что замок-то колдовской до сих пор возвышается посреди степи и что на длинных полках в потайных комнатах стоят сотни плотно закупоренных бутылок, и в каждой мечется украденная душа — ждет освобождения...

Я быстро пересекла улицу, воровато оглядываясь по сторонам, и скрылась за углом следственного дома, подальше от света горевшего над крыльцом фонаря. Глубоко вздохнула

и медленно выдохнула, надеясь успокоить колотившееся сердце.

Страшно. Видит бог, которого перед смертью поминала Ровина, мне страшно. Не от того, что конокрад, увязавшийся со мной в обнимку с дырявым котлом и разохшейся деревянной крышкой, не сумеет отвлечь стражников, и даже не от того, что мне придется пройти по туманной дороге берегинь. Я боялась того, что могу увидеть, оказавшись в темнице. Боялась, что уже опоздала и вместо Искры увижу на пыточном столе развороченный металлический остов харлекина с зияющей черной дырой в груди. Или рыжего человека с остекленевшим взглядом лисьих глаз, безжалостно подвешенного на цепях.

Я судорожно вздохнула, с трудом сглотнула ставшую вязкой слюну и прижалась взмокшей спиной к холодной стене следственного дома.

Только бы живой остался...

Где-то неподалеку раздалась долгая, звонкая трель, похожая одновременно и на звук, извлекаемый из нехитрой глиняной свистульки, и на предрассветную птичью песнь. Условный знак, что конокрад готов устроить местной страже незапланированную и оттого еще более неприятную побудку и у меня есть примерно минута до того, как начнется переполох. А потом все — спасайся кто может.

Я торопливо отодвинулась от стены, выудила из кармана штанов крохотный свечной огарок, кое-как пристроила его на неровных камнях мостовой и чиркнула прихваченной с кухни спичкой о стену. Ярро-рыжий огонек, возникший в сизом облачке, на миг ослепил привыкшие к темноте глаза и разукрасил переулок причудливо изломанными, пугающими тенями. Что-то противно запищало, отодвигаясь от света подалеке во мрак, но я даже не обернулась, чтобы посмотреть, крысу я спугнула или мелкую нечисть.

На обгорелом фитильке от одного лишь касания горячей спички вспыхнуло острое кинжальное пламя, едва заметно трепещущее на белесом, полупрозрачном кончике. Я поднялась с колен, разворачивая стремительно теплеющий в моих руках деревянный посох, шагнула назад и в сторону, начиная первый круг танца.

Тени пляшут вокруг меня, вместе со мной, ведут хоровод вокруг горячей в ночном мраке свечи. Туман, что клубами стекается в переулок, поначалу свивается в тугие кольца, пытается подобраться ближе к трепещущему огоньку, загасить его, задушить в сырых бесплотных объятиях, но отступает, натолкнувшись на невидимую стену. На краткое мгновение мне кажется, будто из мешанины теней выступает Ровина. Ее черные, как ночь, длинные косы перевиты нитями из серебра, помолодевшее, улыбающееся лицо разукрасила жемчужная паутинка, а белое платье сверкает, как речная гладь в полнолуние. Теплая рука лирхи касается моего плеча, чуть разворачивает, не давая мне сбиться с шага, ведет за собой, помогая вспомнить уже подзабытые и толком не отрепетированные движения. Резкий поворот, пламя свечи размывается, чертит в воздухе яркую линию. Посох тяжелеет, будто налившись свинцом, и утыкается нижним концом меж булыжников мостовой. Косая полоска тени, легкой на камни, внезапно светлеет, становится цвета лунного серебра, зыбкой дорожки на воде, уходящей к горизонту, и одновременно с этим посох начинает дрожать и вырываться из рук, будто живой. Вот она, колдовская серебряная лента, дорога берегинь, позволяющая за семь шагов одолеть расстояние от моря до моря, от северных лесов до южных степей и от одного человека к другому, как бы далеко они ни находились. Теплая ладонь Ровины легонько подталкивает меня меж лопаток в сторону перехода, ласково скользит по затылку и исчезает, развеявшись с холодным весенним ветром.

«Иди, Аийша. Не бойся...»

Уже не боюсь. Я ступила на узкую ленту, ощущая, как с каждым шагом посох дрожит все сильнее и сильнее во взмокшей ладони, как пытается вырваться, оставив меня посреди белесого тумана, вьющегося вокруг злым чудовищем, подобным тому, что прижилось под Загрядой.

Еще шаг вперед — и из тумана донесся тихий звенящий шепот, то разбивающийся на тысячу голосов, то сливающийся в неразборчивый гул. Посох дернулся, будто норовистая лошадка под неопытным наездником, качнулось сияющее зеленой звездой оголовье, отгоняя призраков и позволяя увидеть еще три локтя сверкающей ленты, выступившей из сумерек и тумана. Я сжала пальцы крепче на теплом, почти горячем дереве и ускорила шаг.

Так вот почему, раскрывая переход, лирха идет последней: ее посох, средоточие ее силы, служит якорем, оберегом, не дающим человеку затеряться посреди пугающе-прекрасного и чуждого царства берегинь. Пока лирха удерживает посох, колдовская тень от него ровно ложится на землю, дорога безопасна и легка и одолеть семь шагов по ней может даже ребенок. Но стоит посоху оторваться от земли, как пропадает связь между миром живых и призрачным царством, серебряная лента тускнеет, становится зыбкой, неявной и едва виднеется сквозь густую туманную пелену, и пройти по ней может только «зрячая». Лирха.

Или шасса, невесть как угодившая на дорогу берегинь...

Седьмой шаг привел меня в плохо освещенную комнатку с низким потолком, где пахло ржавым железом, подгнившим деревом и крысами. Я потеряла глаза, привыкая к тусклому свету фонаря, висевшего на крюке в углу, оглянулась — и сердце болезненно сжалось, захолонуло, а левая рука онемела и разжалась, роняя посох на пол.

Я увидела стол, на котором грудой покореженного железа, обвитой цепями, лежал Искра.

Мой приглушенный вскрик стража, если таковая была, попросту не услышала — так громко грянул где-то поблизости гром, от которого задрожал пол, а эхо заметалось под низким потолком, как согнанная с насеста летучая мышь. Низко загудел тревожный гонг, послышался топот десятков ног, обутых в крепкие солдатские сапоги с подбитыми железом каблуками, неразборчивые отрывистые команды, выкрикиваемые хорошо натренированным голосом. Волна переполоха докатилась до подвальных помещений, заставляя замереть от ужаса, — а вдруг заглянут, чтобы проверить пленника, и пронеслась мимо, затихая вдали. Я кое-как поднялась с ледяного пола, на котором сжалась, как мышь под веником, едва дыша, и на нетвердых ногах подошла к столу, к которому был прикован харлекин.

К моему сожалению, тусклого света оказалось достаточно, чтобы увидеть подробности, которых хотелось бы не замечать. Искру не просто обернули поперек туловища прочной железной цепью, сковав концы новехоньким, блестящим от смазки замком. С него кое-где содрали броню и вбили тяжелые длинные клинья с плоскими шляпками, пригвоздив харлекина к пыточному столу. Маска, в которую превращалось лицо, искорежена, под нижнюю челюсть вбиты прочные скобы, не позволявшие раскрыть рот, шею туго перетягивал ошейник-змейка, весь исписанный непонятными закорючками, едва заметно светившимися в темноте. Грудные пластины разворочены, острые, будто надорванные края загнуты наружу, но панцирь в центре грудины не тронут. Значит, еще не все потеряно.

Я невольно рассмеялась, тихо-тихо, почти шепотом. Горько, потому что одновременно с первым смешком по щекам потекли злые горячие слезы.

— И они еще смеют называть нас нелюдьми! Они... смеют...

Подвальный мрак поплыл перед моими глазами, сменившись расцветенной всеми цветами радуги картиной. Искра едва-едва светилась призрачным, почти бесцветным красноватым контуром с редкими проблесками золота, зато ошейник, плотным кольцом охвативший его горло, полыхал яркой синевой так, что глазам становилось больно, и от этой синевы по всему телу харлекина тонкими корешками-щупальцами расплзалась блокирующая магия, не дающая ни шевельнуться, ни вздохнуть.

— Ты ведь все равно не сумел бы преодолеть эти путы, — тихонько шепнула я, скользя кончиками пальцев по поверхности ошейника в поисках застежки и морщась от колючей боли, ледяными иглами впивающейся под ногти. — Зачем же еще и к столу прибивать?..

Ладони резануло стывшим холодом, будто бритвой, когда под пальцами оказался узорчатый бугорок с небольшой выемкой в центре. Я завозилась, пытаюсь расстегнуть неподатливое украшение, когда где-то снаружи один за другим раздались еще два громких хлопка, острая боль прострелила правую руку до самого плеча, отдавая в затылок, а ошейник наконец-то расстегнулся, соскальзывая на пол мертвой железной змеей. Харлекин вздрогнул всем телом, могучая грудь с шумом приподнялась, натянув цепи, и медленно опустилась. Алые сполохи стали медленно заполнять зыбкий, едва заметный контур — так разгорается пожар от небрежно рассыпанных по полу угольев. Сначала темно-красные с черными прожилками угли становятся ярче, рыжеют, прорастают золотистыми искорками, а потом от них во все стороны начинает расплзаться пламя, которое, если не затоптать сразу, всего через несколько минут взметнется жаркими лепестками высотой по колено, а потом и по пояс.

Выживет. Точно выживет...

Что-то гулко бухнуло в массивную деревянную дверь, отделявшую комнату от коридора, и этот звук будто бы разбудил меня, выдернул из вязкого болота отрешенности. Я хлопнула себя по кошелю, что висел на поясе, выудила оттуда бутылочку из мутноватого стекла с настоем разрыв-травы, зубами выдернула пробку и вытряхнула добрую половину плещущегося на дне зеленоватого «меда» на массивный замок, скреплявший цепи.

Мгновение ничего не происходило, а потом замок полыхнул ослепительно-белым пламенем и с грохотом разлетелся в клочья. Я едва успела спрятаться под стол, когда по каменному полу застучали оплавленные по краям кусочки металла, а потом дверь в комнату распахнулась и во встрепанном, перемазанном сажей мужике я с трудом признала довольно улыбающегося конокрада. Ромалиец захлопнул за собой дверь, сунул под нее выжженный из кармана деревянный клин, пару раз пнул по нему мыском сапога, забивая покрепче, и направился ко мне.

— Долго возишься, Мийка. — Конокрад ловко вытащил меня из-под стола и принялся снимать распавшуюся надвое цепь, обернутую вокруг харлекина. — Я следопытам местным уже и нужник разворотить успел, и ставни на кухне разнести, а ты никак парня своего с пыточного стола снять не можешь. Приколотили его, конечно, на совесть, но ты учти — времени у нас немного, а клин под дверью этих бравых молодцев надолго не задержит. И глазками своими золотыми не свети лишний раз, нам сейчас лирха нужна, а не шасса.

— Ломик ты там случайно нигде не стащил? — Я потеряла лицо ладонями, послушно возвращая глазам человеческий вид. — Иначе Искру мы от этого стола не отцепим.

— Не надо... ломика... — негромко пророкотал знакомый голос, а потом раздался противный скрип выдираемого из доски гвоздя, когда левая рука харлекина начала медленно



подниматься, таща за собой железный колышек.

— Идти сможешь? — Михей прислушался, с тревогой оглянулся на дверь, а потом указал мне на валявшийся на полу лирхин посох. — Раскрывай дорогу, девочка. Кажется, там обнаружили охранника, которого я уложил отдохнуть.

— Не уверен. — Искра с трудом сел, поднес к лицу покалеченные руки, из которых острыми погнутыми шипами торчали колья, и недовольно покачал головой. — Кажется, мне повредили ноги. Топором, если не ошибаюсь. Восстановиться я смогу, но не так быстро, как нужно. — Харлекин неожиданно ухмыльнулся, глядя на конокрада: — На вид ты крепкий, думаю, сможешь вытащить меня, если я обернусь человеком.

— Это если ты не загнешься от кровопотери, пока я буду тебя выволакивать по дороге берегинь, — в тон отозвался ромалиец, стягивая через голову рубашку и протягивая ее харлекину. — Режь когтями на бинты, тогда, быть может, успеем...

Дверь содрогнулась от удара, деревянный колышек закрипел, сдвигаясь по гладкому каменному полу.

Не успеем.

Я поудобнее перехватила посох, плавно разворачивая его над собой и ступая на круг танца. Задержать погоню можно разными способами, в том числе и колдовством. Можно попросить ветер — и он тугой плетью обовьется вокруг преследователя, сковывая ему ноги невидимой цепью, будет толкать в грудь упругим незримым кулаком и сбивать дыхание, не давая ускорить шаг. Обратиться с просьбой к воде — и она скроет от чужих глаз густым молочно-белым туманом или же поднимется стеной, не давая пересечь прежде спокойную реку вброд, будет тянуть на дно, в омут, скрытый зеленоватыми лентами водорослей...

Дверь распахнулась так широко, что стукнулась о стену и едва не полетела назад, но была остановлена твердой рукой, блеснувшей в тусклом свете фонаря перстнем-печаткой. Я застыла вполборота: посох отведен в сторону, как для замаха, свободная ладонь опущена, пальцы расслаблены — и подняла взгляд на вошедшего, уже нисколечко не сомневаясь, кто именно придержал дверную створку.

Вот и разноглазый охотник пожаловал. Наверняка ни на миг не сомневался, что за харлекином кто-то придет, и, похоже, не слишком удивился, увидев меня в душной камере в трех шагах от пыточного стола. Я чуюла заклинание перехода, свернувшееся в моей груди тугой спиралью, живой змеей с серебристым телом и узкими глазами, заполненными мглой и туманом, еще не прерванное, не ослабленное — и потому само по себе свивающееся все туже в один путаный клубок, удержать который будет непросто. Качнула посохом — неподвижно застывший в дверях Викториан едва заметно вздрогнул, шевельнул рукой, позволяя скрытой в рукаве тоненькой, хрупкой свирельке скользнуть в ладонь, — и резко ударила нижним концом о пол, обращая чернильную полосу тени в яркую серебристую тропинку.

Краем глаза я заметила, как Михей едва успевает подхватить падающего со стола харлекина, обернувшегося человеком, как торопливо перетягивает руки и ноги Искры обрывками когда-то белой рубашки повыше страшных колотых ран, а кровь все равно льется темным потоком, заполняя выемки и канавки в каменном полу и растекаясь остро пахнущей железом лужей.

А потом мир утонул в пронзительно звенящей, пробирающей до костей мелодии змеелова.

Искра когда-то говорил, что испытывает лютую ненависть к дудочникам из-за того, что

их мелодия не просто парализует, набрасывая на шею колдовскую удавку, а заставляет раболепствовать, отнимая волю и разум. Что музыка узорчатых инструментов не просто сковывает — она взывает к самой сути, очаровывая, обманывая разум и чувства. И не так страшно быть посаженным в клетку, как испытывать огромное желание поселиться в этой клетке по доброй воле и с волнительным трепетом ожидать, когда же обожаемый хозяин всадит своему рабу нож в сердце по самую рукоять.

Так вот — ничего чарующего в песне Викторiana не было.

Это была раскаленная петля, туго обвившаяся вокруг горла и не дающая дышать. Липкая, противная на ощупь паутина, оборачивающаяся вокруг запястий и щиколоток. Острая ржавая игла, вогнанная под сердце. Любое сопротивление, любое движение, противоречащее воле змеелова, каралось болью: то легкой, едва ощутимой, а то пронизывающей насквозь, выбивающей невольные слезы и заставляющей до крови закусывать нижнюю губу. Я чувствовала себя игрушкой, деревянной куклой-марионеткой вроде тех, что продавали на каждой ярмарке в любом, даже самом захудалом городке, которую дергают за невидимые веревочки, пропущенные сквозь тело. И чем больше сопротивление, тем сильнее и больше дергает за них кукловод.

Я качнулась, едва не рухнув лицом вперед в натекшую у моих ног кровавую лужу, но удержалась на ногах. Кое-как выпрямилась, выровняла посох — и Михей с харлекином на закорках сразу же скользнул на серебряную ленту. Еще мгновение его образ был виден над дорогой берегинь, но потом и он пропал. Сколько ему понадобится времени, чтобы одолеть семь шагов по этой тропе, да еще и с таким грузом на спине, из-за которого приходится идти, согнувшись в три погибели?

Дзинь...

Звук тонкий и нежный, будто бы эхо от разбившегося о мраморный пол тонкостенного хрустального бокала.

Первый шаг.

Еще один звон, одно эхо — но более далекое.

Второй...

Вот как лирха узнает, прошел ли человек по дороге берегинь. Каждый его шаг отмечается хрустальным звоном, весенней капелью, музыкой тающего льда и крохотных колокольцев. Всего семь перезвонов, и можно идти следом, не боясь, что идущий впереди человек внезапно собьется с пути и затеряется в густом серебристом мареве, заполняющем берегинье царство. Семь шагов — и Михей с Искрой будут в безопасности на другом конце города.

Ржавая игла в груди качнулась из стороны в сторону, когда дудочник медленно, почти торжественно подошел ближе, и вошла глубже еще на ноготь, заставив меня охнуть и сжаться от боли. Я опустилась на колени прямо в кровавую лужу, едва удерживая в левой руке посох и опустив в остывающую, вязкую жидкость свободную ладонь, ощущая, как она щекочет ободранные о замочек ошейника пальцы.

В пути ромалийцев защищает не только вольный ветер, вода или туман. Есть еще кровь, добровольно пролитая на землю. Ее можно призвать себе на службу, с ее помощью можно остановить нелюдь темной ночью, оборотня в полнолуние и даже вражеское войско, если на то будет необходимость. Нужно только начертить знак, сказать Слово Силы и молиться, чтобы воли творящей ворожбу лирхи хватило на то, чтобы удержать сотворенное заклятие.

Третий шаг...

Мои пальцы заскользили по луже, вычерчивая хитросплетение кругов и завитушек. Быстрее, еще быстрее — только бы не ошибиться, ведь тогда выплеснувшуюся магию не удержишь в узде. Кровавое колдовство — страшная, опасная штука, привлекающая к себе нечисть, как падаль — стервятников, а проведенный неправильно ритуал может вызвать нечто такое, о чем лучше не думать и не вспоминать.

Четвертый...

Я заговорила. Вначале тихо, потому что музыка змеелова все еще сдавливала мое горло строгим ошейником, а потом все громче и громче по мере того, как меня захватывал ритуал. Эхо моих слов заметалось под низким сводом, заглушая, перебивая мелодию колдовской свирели, голос перекатывался из угла в угол лавиной, в шуме которой я уловила до боли знакомое низкое горловое рычание харлекина. Багряный знак отразился на поверхности кровавой лужи, и комната внезапно оказалась разделена пополам тончайшей алой взвесью, легкой дымкой, отделившей меня от дудочника, и эта дымка одним махом обрезала нити колдовской мелодии.

Свободна!

Я поднялась с колен, расправляя плечи и чувствуя огромное облегчение, будто бы с меня свалилась непосильная ноша. Улыбнулась, заглядывая в лицо разноглазому дудочнику, но тот лишь пожал плечами и заиграл совершенно другую мелодию. Ту самую, которую я уже слышала вплывающей в задымленный зал ромалийского зимовья через распахнутую настежь дверь. Резкую, отрывистую, неприятную на слух. Зовущую уже не шассу, а существо раненое и потому гораздо более податливое.

Викториан играл «призыв харлекина», не отрывая от меня пристального, тяжелого, как могильная плита, взгляда разных глаз. Судя по всему, змеелов понимал, что наверняка не может ко мне приблизиться без риска огрести на свою долю какое-нибудь неприятное проклятие или еще чего похуже, но и то, что я выигрываю время, для него было очевидно, иначе бы я не оставалась тут так долго, рискуя оказаться скованной колдовской мелодией, а то и простой железной цепью с тяжелым замком.

Я ощутила, как Искра, уже будучи на дороге берегинь, оборачивается железным чудовищем, падает на серебристую тропу, укрытую туманом, и ползет назад, не в силах сопротивляться зову тоненькой, как лунный луч, свирельки. Если харлекин вернется, ему конец.

— Викториан, прекрати. — Я сжала выставленную перед собой руку в кулак, алая взвесь, разделявшая комнату, почти погасла, превратившись в едва заметную линию на полу от стены до стены. — Отпусти их, и я сдамся, даю слово.

Дудочник чуть склонил голову набок, не переставая играть. Прядь светлых волос, выбившаяся из неаккуратно завязанного хвоста, соскользнула ему на щеку, сразу делая змеелова моложе лет на десять и превращая в мужчину, чей вид выражал готовность выслушать не слишком приличное предложение со стороны дамы.

Я глубоко вдохнула и решилась. На краткое мгновение прикрыла глаза, после чего взглянула на Викториана шассым взглядом. Мелодия, призывающая харлекина, сразу же оборвалась. В наступившей тишине я с невероятным облегчением услышала, как стихают, все удаляясь, шаги-льдинки по дороге берегинь, после чего разжала усталые, сведенные от напряжения пальцы, позволяя посоху провалиться в собственную тень и удаляясь исчезнуть без следа. Бессильно уронила правую руку, разрушая кровавый знак, все еще висевший в воздухе, после чего опустила на каменный пол, не чувствуя ничего, кроме опустошающей

усталости и полного безразличия к собственной судьбе. Будто бы настоящая я где-то пропала без следа, и все, что от меня осталось, — это легкая пустая оболочка.

Как сброшенная змеиная шкурка со стертой, потускневшей чешуей.

Шаги дудочника гулко раздавались под низким потолком, когда он подошел ко мне вплотную и опустился рядом со мной на корточки, вроде бы и не заметив, что край длинного, расстегнутого на груди камзола угодил в остывшую кровавую лужу. Сильные, горячие пальцы легли на мой подбородок, заставляя запрокинуть голову.

Я смотрела в нависшее надо мной лицо змеелова шассьими глазами и видела, как под тонехонькой, едва заметной синевой спокойствия ослепительно-ярким бушующим огнем горит мечта-одержимость.

В камере, где меня заперли, оказалось на удивление тепло и просторно.

Я сидела на большом мешке, набитом свежей, еще хранившей остатки душистого летнего аромата соломой, и смотрела на тусклый огонек свечи, кое-как прилепленной к осколку глиняной тарелки. Тюремщики, уходя, оставили мне свет — и на том спасибо. Если бы дудочник, вытащивший меня из Искровой камеры за шиворот, не велел обращаться со мной вежливо, кто знает, до чего бы дошли стражники, обыскивавшие ромалийскую воровку в поисках запрятанного ножа или украденных вещей. Меня вначале раздели догола, перетряхнули всю одежду, даже в рот заглянули, будто я могла что-то спрятать за щекой или под языком, потом, к счастью, позволили натянуть на себя нижнюю сорочку и уже в таком виде повели вниз, в подвал, где и посадили на цепь, как собаку. И все это под сальные шуточки и грубый животный смех, от которого я покрывалась мурашками и с трудом сдерживалась, чтобы не зашипеть в ответ и не нарастить на беззащитной человеческой коже прочную шассью чешую.

Обошлось все-таки.

Не зря во время обыска Викторин сидел у входа, наблюдая за процессом и вполголоса поясняя высокому мужчине в форме городского стражника с золочеными нашивками на груди и рукаве, отчего пол в опустевшей камере оказался залит кровью и куда делся оборотень. По обрывкам разговора, долетавшим до меня сквозь грубые окрики тюремщика, я поняла, что исчезновение «трупа» списали на ромалийцев, «свято блюдущих законы мести», а мое присутствие в следственном доме объяснялось банальным «полезла воровать, не зная куда».

Вот так все просто. Попалась, змейка. Одно только неясно — почему Викторин не убил меня там же, на окровавленном каменном полу? Ведь был у него тяжелый нож на поясе, сама видела. Ему одного удара было бы достаточно, так почему же не ударил? Зачем потащил наверх, туда, где оказалось на редкость шумно илюдно, где звучали цветистые, непонятные ругательства и запах раскаленного добела железа смешивался с вонью раскуроченного отхожего места. Зато стало понятно, под какой такой угол Михей-конокрад сунул дырявый котелок с разрыв-травой и почему дыра в стене привела к такому переполоху.

Мне сковали руки одним железным кольцом на цепи, длины которой едва хватало, чтобы добраться от мешка с соломой к отхожему месту в углу камеры, и о том, чтобы подойти к двери, запертой на толстый засов, можно было даже не мечтать. На ноги тоже надели кандалы, и ходить я могла только очень короткими шажками, медленно и аккуратно переставляя ноги, чтобы не потерять равновесия и не упасть. Интересно, это со всеми пойманными воровками так обращаются или змеелов нашептал, чтобы наверняка не сбежала?

Я перевела взгляд со свечи на тусклый прямоугольник окна прямо под потолком. Через толстые прутья виден только крохотный кусочек светлеющего неба с одной-единственной тающей льдинкой-звездой. Что-то возится неподалеку, шумно принюхивается, с противным скрипом точит когти о каменную стену — но не приближается к окошку, держась на почтительном расстоянии. Скоро рассветет, и ромалийский табор двинется прочь от Загряды, так и не дождавшись свою лирху. У северного морского берега их ждет оседлая жизнь, не простая и не сложная — обычная, как у многих других. Будет там понемногу и

горя, и радостей, а уж удачи кочевому народу с рождения отсыпано чуточку больше, чем остальным людям. Справятся. Привыкнут.

И навсегда позабудут о приемыше, совсем недолго побывшем таборной лирхой...

Загромыхал засов, и дверь распахнулась, являя змеелова со стулом в одной руке и тростью с железным набалдашником — в другой. Викторинан что-то негромко сказал стражнику, тот кивнул и плотно закрыл дверь за дудочником. Погремел засовом, а потом я услышала удаляющиеся в конец коридора шаги.

Вот и палач пожаловал...

Разноглазый глубоко вздохнул и подошел ближе, разглядывая меня едва ли не пристальней, чем те, кто искал драгоценности и оружие под ромалийскими штанами. Поставил стул в середине комнаты и уселся на него верхом, опираясь на разохшуюся, исцарапанную спинку. Молчание затягивалось, изредка нарушаясь лишь потрескиванием неровного пламени свечи, которое то опадало почти полностью, погружая мрачную комнату в сумерки, то разгоралось, превращая спокойное лицо дудочника в страшноватую маску из мешанины света и тени.

— Как тебе нравится здесь? — От прежнего покровительственно-снисходительного тона не осталось и следа. Голос дудочника звучал хрипло, чуть сдавленно, будто бы он пытался перебороть отвращение, тугим кольцом сдавившее горло. — Извини, но вора́м в этом захолустье лучших условий не предлагают.

Я ничего не ответила. Опустила взгляд на туго стянутые железной полосой руки и попыталась сесть поудобнее, подтянув колени, едва прикрытые сорочкой, к груди. Цепь негромко зазвенела, стальной змеей скользнула по каменному полу.

Дудочник медленно встал, неловко покачнувшись и на мгновение сморщившись, будто от боли. Подошел ближе и довольно неловко опустился на корточки рядом со мной. Осторожно, будто бы оглаживая чешую ядовитой змеи, провел теплой, жесткой ладонью по моей щеке. Склонил голову набок, будто бы прислушиваясь к своим ощущениям, и медленно, неторопливо убрал руку.

— Я бы хотел, чтобы ты сняла свою маску. Хотя бы частично. Какая ты на самом деле, Мия?

— Для людей все шассы на одно лицо. — Я произносила слова медленно, негромко. Словно боялась, что меня кто-то может услышать. — Говорят, если видел одного змеелюда, значит, видел их всех.

— Я видел множество. Все змеелюды разные. Так же, как и люди, — сказал он, кладя ладонь мне на плечо. — И сейчас я общаюсь с тобой, Мия. Интересно, я неприятен тебе?

— Ты и людей убиваешь так же легко и без разбору, как шасс? — Я удивленно приподняла брови, чувствуя, как меня начинает бить дрожь — не то от холода, не то от напряжения, плавно перетекающего в страх. — И ты задаешь очень странные вопросы. Не понимаю, как может быть приятен тот, кто разрушил до основания дом и убил семью.

— О, здесь существует множество вариантов. Искренний враг может оказаться ближе, чем самый преданный друг, поскольку ты можешь быть откровенным с ним до конца — и не бояться потерять. — Змеелов горько и как-то обреченно усмехнулся и поднялся на ноги, взирая на меня с высоты своего немаленького роста. — Я расскажу тебе одну историю. Банальную, как оказалось впоследствии. Так вот. Жил на свете мальчик, и у него было все. Ну или почти все, потому как род его хоть и был приближен к княжескому двору, богатством не отличался. Отец пророчил сыну воинскую службу, и потому лет с пяти мальчика учили

обращению с кинжалом и мечом, езде верхом и многим другим вещам, которые были призваны воспитать в ребенке славного воина. О том, что мальчику гораздо больше нравилось проводить время за книгами, нежели в седле, отец, разумеется, и слушать не желал, а попытки увильнуть от тренировок карались розгами и оставлением без ужина. К счастью, у ребенка была отдушина — мать. Нежная и ласковая, она была очень добра, особенно по сравнению с отцом. Там, где отец добивался послушания угрозами и наказаниями, мать действовала увещеваниями и безграничным терпением, добиваясь ничуть не худших результатов. Постепенно мать стала для мальчика тем идеалом, к которому хотелось стремиться, стала богом, вокруг которого строился весь его детский, искренний и незапятнанный мир.

Дудочник ненадолго прервался и уселся обратно на стул, как-то неловко сгорбившись и опустив голову, будто смертельно уставшая после долгого перелета птица.

— Как ты догадываешься, эта история не кончилась хорошо, иначе ее незачем было бы рассказывать. В один солнечный летний день мальчик отправился со своей матерью в город. И случилось так, что именно в этот момент на площади зазвенела дудочка змееловов. Мать успела накрыть мальчика своей одеждой, чтобы уберечь от того, что он не должен видеть в столь нежном возрасте, но он все равно увидел. И узнал правду, которая в одночасье обрушила его хрупкий детский мирок. — Викториан поднял голову и посмотрел на меня лихорадочно блестящими глазами. — Все это время его воспитывала шасса, принявшая человеческий облик. Но самым страшным для ребенка оказалась не смерть матери, которая в любом облике оставалась для него самой нежной, самой ласковой и самой любимой женщиной на земле, а то, что и отец, и слуги — все в один голос говорили, что их госпожа в последнюю неделю резко изменилась, стала не такой, как обычно. Дескать, и гонору у нее прибавилось, и жестокости по отношению к прислуге, и к мужу она внезапно охладела, а сыночка своего единственного она и вовсе замечать перестала. Мальчику оставалось соглашаться с взрослыми, лишь бы его оставили в покое и позволили скорбеть по матери в самом дальнем, самом пыльном уголке в полузаброшенной комнатке под самой крышей и там тихо-тихо, чтобы никто не слышал, признаваться самому себе, что мама не менялась. Что и накануне трагедии, и неделю назад, и в прошлом году она была одинаково добра, внимательна и ласкова. Но как доказать это взрослым? Как понять, где скрывается правда: в признании шассы, что настоящая мать мальчика умерла в родовых муках, или же в словах отца о том, что богопротивная тварь подменила благочестивую супругу в последней поездке за город несколько дней назад? Где она, эта истина?

— И ты стал дудочником, чтобы эту истину отыскать?

— Не совсем. — Викториан резко поднялся, с грохотом уронив стул на пол. Я испуганно вздрогнула и вжалась спиной в холодную каменную кладку. — Я стал дудочником, чтобы больше не бояться. Чтобы наверняка знать, что женщина, к которой я прикипел всей душой, не обернется чешуйчатой тварью. Или же что она всегда была ею. Знаешь, отец частенько повторял мне, охаживая по спине розгой, что для того, чтобы победить страх, нужно либо уничтожить его, либо овладеть им.

Змеелов шагнул ко мне, стягивая с плеч потрепанный камзол и небрежно бросая его на пол.

— Я распознавал десятки шасс в человеческих телах, я почти вернул себе уверенность в ясности окружающего мира, и тут появляешься ты. Змеелюдка, распознать которую не может даже инструмент Кукольника. Шасса, сдуру бросающаяся спасать тех, кто к ее роду

не имеет никакого отношения. И ей едино — что звери, что люди, что железные оборотни. Самое смешное, что все они после этого начинают таскаться за тобой хвостиками и пытаться рвать глотку твоим обидчикам. У некоторых это даже получается, пусть и с переменным успехом.

Серая рубашка легла на пол поверх камзола, открывая моим глазам крепкий жилистый торс, исчерченный белесыми письменами зарубцевавшихся, давно заживших ран. Удивительно было, как змеелов вообще выживал после таких испытаний, если меня от одного только вида шрамов мороз продрал по коже.

— Боишься? — Он подошел почти вплотную, мягко опустился на одно колено и осторожно скользнул кончиками пальцев по моей лодыжке снизу вверх, оставляя полосу тепла на коже. — Это хорошо. Это взаимно. А теперь слушай меня внимательно. Я хочу увидеть цвет твоей чешуи... а потом я попробую овладеть своим страхом. И тобой.

Голос дудочника упал до интимного шепота, а сильная рука тем временем сгребла меня за волосы на затылке, оттягивая голову назад и не давая шевельнуться. Как будто цепей было недостаточно. Я не сдержалась — зашипела, сжалась, чувствуя, как кончики пальцев обзаводятся прочными когтями, а кожа ладоней немеет, теряет чувствительность, обращаясь в чешую.

— У меня на шее висит ключ от твоих цепей, малышка. — Я ощутила дыхание змеелова на своей щеке, а потом его губы скользнули по моей шее сверху вниз, заставив испуганно вздрогнуть от неожиданности. — Ты можешь меня убить прямо сейчас, если захочешь, взять ключ и уйти отсюда. Никто тебе не мешает. Но пока ты этого не сделаешь, я не остановлюсь...

— Да за что тебя убивать-то? — нервно рассмеялась я, пытаюсь отпихнуть от себя Викторiana и не дать ему задрать сорочку слишком высоко, поскольку сразу чувствовалось немалое количество дыр в мешке, из которых вылезала солома и начинала нещадно колоть куда ни попадя.

— Ты считаешь не за что? — Дудочник даже отодвинулся, недоверчиво заглядывая мне в лицо и осторожно поглаживая мое плечо, на котором тонким, причудливым узором выступила змеинная чешуя.

— Я не могу понять, за что это делать прямо сейчас. Ты меня не бьешь, не пытаешься живьем снять шкуру... — Я вспомнила, в каком состоянии находился харлекин, когда Михей уносил его по дороге берегинь, и меня передернуло. — Ты мог бы прибить меня к стене кольями, как ты сделал это с Искрой, но ты всего лишь посадил меня на цепь.

— О... То есть ты совсем не поняла, что я хочу с тобой сделать? — уточнил он, вскинув бровь и глядя на меня больше с любопытством, чем с раздражением. — И кстати, с оборотнем твоим Катрина перестраховалась. Я считал, что ошейника будет достаточно.

— Ты хочешь перестать бояться таких, как я. Убийства не помогли, как я понимаю. Значит, ты хочешь владеть шассой, так? Держать ее на цепи, как домашнее животное, учить шипеть по команде и все такое?

Лицо дудочника застыло.

— А-а... Неужели... ты не знаешь других вариантов обладания? — пробормотал он, растерянно запуская пятерню в спутанные волосы, окончательно разрушая чудом сохранявшееся до сих пор подобие прически. — Шасса на цепочке... — Вик усмехнулся, закусывая нижнюю губу, чтобы не рассмеяться в голос. — Идея забавная, но, боюсь, ее особо не реализуешь в нынешних условиях.



Он широко улыбнулся и ласково, почти бережно огладил меня ладонью по плечу, приспуская рукав сорочки и полностью ослабляя шнуровку, стягивающую горловину.

— Скажи, ты когда-нибудь была с мужчиной? — наконец выдохнул он, чуть отстраняясь и оттягивая ворот моей одежды так, что грудь почти обнажилась. — В человеческом теле? Отдавалась ему полностью, без остатка?

— Нет, — осторожно ответила я, чем вызвала очередную улыбку. На этот раз не ироничную, более мягкую и даже в чем-то покровительственную.

— Тогда я тебя всему научу. С огромным трудом, как мне кажется, и солидным лекционным материалом, поскольку начинать, судя по всему, придется издалека. С тычинок, пестиков и цветочков, — кое-как выдохнул змеелов, приняв серьезный вид. — Только учти, курс обучения придется пройти ускоренными темпами.

Он снова потянулся ко мне, на этот раз по-кошачьи мягким, плавным, завораживающим движением. Огонек свечи дрогнул, пугливо прижался к обгорелому фитильку и неожиданно истаял, напоследок пыхнув узкой струйкой резко пахнущего дыма. Я заморгала, привыкая к обступившей нас бархатистой тьме, из которой медленно выступило узкое лицо дудочника. В сумерках оно казалось серым, мраморно-холодным, с черными провалами глаз, с тонкой линией рта. Светлые волосы едва заметно колыхал сквозняк, вольготно гулявший по комнате, и чудилось, будто бы я оказалась под водой, на самом дне реки, где мне повстречался водник. Не тот, что тянет в омут еще живого человека, терпеливо ожидая, пока тот захлебнется, другой. Который вытаскивает на поверхность тонущих девиц, а потом зовет к себе лунной ночью и просит отдариться теплом человеческим за спасение жизни.

— Вик...

Каменная маска дрогнула, тонкие брови удивленно поползли вверх, изломившись домиком. Змеелов качнулся вперед, и я оказалась тесно прижата к жесткой груди, лихорадочно-горячей, с глухо, сильно колотящимся где-то в глубине сердцем.

За дверью послышалась перебранка, а потом до нас донесся скрежет отодвигаемого засова. Викторинан чертыхнулся, толкнул меня обратно на лежанку и торопливо накрыл сброшенным камзолом, велел лишний раз не шевелиться и не вылезать наружу, если хочешь пожить подольше.

— Я же велел тебя не беспокоить! — Голос дудочника звучал раздраженно, зло. Неудивительно — прервали в самый интересный момент. От двери забормотали скомканые извинения, но одного короткого приказа хватило, чтобы вошедший перестал рассыпаться в унижительных словесных оборотах и перешел к сути дела.

Из-за плотной ткани, накрывшей меня с головой, я слышала далеко не все, но и того, что удалось разобрать, с лихвой хватило, чтобы покрыться холодным потом. Оказалось, что ганслингеру было мало захватить живьем железного оборотня. Немного придя в себя после утренней истории, она собрала уцелевших наемников, вооружила их арбалетами, факелами и несколькими ведрами горячего масла и отправилась вершить «добро и справедливость» к ромалийскому зимовью с твердым намерением выжечь этот «рассадник зла» вместе со всеми жителями.

Я едва дождалась, пока хлопнет дверь, и рывком сдернула с себя камзол, вскакивая с мешка и глядя на дудочника, спокойно и без суеты натягивающего рубашку.

— Ты должен ее остановить!

— Если успею — остановлю, — отозвался змеелов, затягивая шнурки на манжетах и поправляя воротник. — А ты посиди здесь и дожидись меня. Катрина, конечно, женщина

своеобразная, но жечь людей заживо не в ее привычках. Этот вид казни применяют нечасто, лишь в особых случаях, так что я не думаю, что она решится. Слишком много проблем огребет на свою голову, а у нее и без того репутация в Ордене не очень хорошая.

— Ты не понимаешь! — Я рванулась вперед, благо длина цепи позволяла, ухватила дудочника за воротник рубашки и как следует встряхнула. — Ты не понимаешь! Она видела меня в том доме! Видела! Думаешь, кто ей спину располосовал? А сделала я это отнюдь не человеческими ручками! Она сказала тебе, что в доме шасса? Нет? Угадай почему? Да потому что она больна мстью, больна насквозь и хочет лично убедиться, что я сдохла, даже если ради этого придется убить за компанию несколько десятков бродяг! Она обольет дом маслом и подожжет, а потом скажет, что внутри была шасса в человеческом облике, и ей все сойдет с рук! А там только люди! Ты понимаешь? Только люди! Там никто даже не догадывался, что я не человек!

— Не тряси меня так, я все понял. — Змеелов ухватил меня за руки, пытаюсь отцепить от своей рубашки. — Там только люди, и казнить их не за что. И чем быстрее ты меня отпустишь, тем быстрее я смогу все уладить.

Я торопливо разжала пальцы и прижала руки к груди, звякнув цепью. Викторинан развернулся, поднял с пола тяжелую трость и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь и оставив мне свой камзол. Дождавшись, пока стихнут его гулкие шаги в коридоре, я опустила руки и едва успела поймать вывалившийся из рукава ключ на оборванном кожаном шнурке. Хорошо все-таки, что в ромалийском таборе меня научили не только тарры раскладывать и плясать на раскаленных углях, а еще и незаметно стащить что-нибудь мелкое из чужого кармана или из-за пазухи. Вот и пригодилось на первый взгляд ненужное для лирхи воровское умение. Я завозилась на месте, пытаюсь повернуть ключ в непривычно тугом, будто заржавевшем замке, когда сверху от окошка послышалось негромкое твяканье, а затем тихий, до боли знакомый голос конокрада.

— Лирха, ты как там, живая еще?

Замок щелкнул и наконец-то раскрылся. Я тихонько зашипела, едва успев поймать соскользнувшие с онемелых запястий оковы.

— Живая. — Кандалы на ногах поддались гораздо быстрее, и я поднялась на ноги и подбежала к окошку, за которым маячил темный силуэт ромалийца. — Ты как меня отыскал?

— Собаку твою на след навел. Без нее я бы тут до утра вокруг дома на карачках ползал, и все равно без толку. Ты на цепи?

— Уже нет. — Я невольно улыбнулась. — Твои уроки зря не прошли.

— И хорошо. Сейчас я тебя вытащу, только не спрашивай как. У нас опять беда, без тебя никак не справимся...

— Я знаю. Только вытащи.

Наверху что-то зашелестело, а потом раздался нежный, тягучий свист, мгновенно наполнивший собой гулкую тишину комнаты. Какой-то неуловимо родной, чуткий, успокаивающий звук — он мгновенно снял неуверенность, страх, наполнил спокойствием.

Я смотрела на просвет между прутьями решетки и внезапно поняла, что могу в него протиснуться. Как змея в невозможно узкую, крохотную нору в скале.

Неказистое двухэтажное здание, расположенное в бедняцком квартале, — постоянный дом для небогатых рабочих и дорожных людей — уже всюду полахало с парадного входа,

распространяя по узким переулкам запах дыма. Треск пламени не заглушал ни грубоватых смешков наемников, с арбалетами наперевес стоявших у каждого заколоченного досками окна или двери, ни воплей людей, запертых в горящем доме. Казнь, одна из самых страшных, что может быть применена к человеку. Сожжение заживо вместе со всеми близкими и родными — так поступают только с закоренелыми преступниками, которые продавали людей на корм теневым тварям и нежити, оберегая тем самым собственное гнездо. А здесь...

Дудочник огляделся, ища взглядом тоненькую фигурку Катрины. Девушка нашлась быстро — сидела на перевернутой здоровенной бочке, довольно улыбаясь и болтая ногами в модных остроносых сапожках. Тяжелый даже с виду револьвер, украшенный вычурной золотистой гравировкой, спокойно лежал у нее на коленях с взведенным курком, но бывшую дудочницу, похоже, совершенно не волновало такое опасное соседство. Заметив Викторiana, девушка радостно замахала ему рукой, подхватила револьвер и легко спрыгнула с бочки.

— Вик! А я тебя заждалась! Смотри, как полыхает-то! Одна жалость — наверняка эти бродяги задохнутся от дыма раньше, чем до них доберется очищающее пламя. Говорила же, что не надо масла жалеть, нет ведь, сэкономили орденские денежки для своего кармана, прохиндеи. — Ганслингер недовольно сморщила хорошенький носик, когда улицу заполнил запах гари, а крики ромалийцев стали громче. Где-то раздался треск, на мостовую упала отлетевшая от заколоченного окна доска. Катрина досадливо топнула ногой, окрикнула опустивших арбалеты наемников: — Эй, не спите, вам деньги за что платят?! Чтобы ни один поганец не ушел, не хватало еще, чтобы это змеиное гнездо по всей Славении расплозлось!

— Ты чего творишь?! — Викторiан схватил девушку за плечи, встряхнул так, что расшитый капюшон соскользнул с аккуратно причесанной светлой головы. — Совсем рехнулась?! Это же люди! Люди, ты понимаешь? Не теневые твари, не нежить и не шассы выродки! Люди!

— Это ты рехнулась! — Ганслингер вывернулась из рук бывшего напарника, отступила на шаг. — Жалеешь тех, кто укрывал шассу полгода? Жалеешь, да? А если бы та мерзкая тварь искалечила не меня, а тебя? Если бы у тебя отобрала то, ради чего ты жил, дышал и вообще существовал на этом свете? Что тогда? Продолжил бы их жалеть... или первым бросил бы факел на крышу, чтобы другим неповадно стало? Вик, они знали, что среди них живет шасса, знали и не донесли, никому не сказали, а когда я их допрашивала, как один говорили, что это их лирха, а не змея, не чудовище. Брось, они ведь бродяги, их и не считает никто. А за сожженный дом Орден внесет положенную виру в городскую казну.

— Ты сумасшедшая, — тихо и как-то горестно вздохнул змеелов и повернулся к наемникам, собираясь отдать приказ, но не успел. Почуял, как магия, заключенная в тяжелом револьвере, стянулась в тугую петлю, как от ганслингера повеяло железной окалиной, жаром кузнечного горна. Медленно повернулся, глядя в пустые, равнодушные глаза девушки поверх направленного на него револьверного дула: — И что ты собираешься делать?

— Пока ты не делаешь глупостей — ничего. Мы с тобой просто сядем и почтим память казненных во имя лучшей жизни для всех людей минутой молчания. Или получасом молчания — пока этот треклятый вертеп не сгорит дотла, а я не буду точно знать, что шасса сгорела вместе с ними.

— Или что ее там не было? — негромко поинтересовался музыкант, скользнув кончиками пальцев по чехлу с небольшой, почти игрушечной свирелькой, скрытому под

плотной тканью рубашки.

Если он попытается достать инструмент, Катрина выстрелит без малейшего сомнения, а потом... в конце концов, труп можно закинуть в горящий дом и сказать, что с Викторианом из Ордена Змееловов произошел несчастный случай. Устраивать дотошное разбирательство вряд ли кому-то придет в голову, особенно с учетом сбежавшего из каземата чарана.

— Они не настолько мне дороги, чтобы я рисковал ради них своей жизнью.

— Вот и молодец. — Девушка широко, солнечно улыбнулась, но револьвер по-прежнему смотрел в голову змеелова. — Подождем вместе. А потом прогуляемся на охоту. Вместе, как раньше.

Дудочник не успел ответить, отвлекаясь на вылетевшую из узкого переулочка пастушью собаку, которая, недолго думая, прыгнула на ближайшего наемника, метя зубами в горло. Тот заорал что-то нечленораздельное, падая под весом немаленькой псины на мостовую, роняя арбалет и едва успевая закрыться рукой. Хрустнула под зубами пастушника кость предплечья, человек как-то тонко, смешно завизжал, пытаясь оттолкнуть собаку, которая уже выпустила жертву и метнулась в сторону, петляя, как заяц, уходящий от погони, да так удачно, что с полдюжину болтов просвистели мимо, даже не царапнув серую шкуру.

— Куда стреляете?! Идиоты!

На ромалийскую девчонку с растрепанными черными кудрями, босоногую и в одной нижней сорочке, никто поначалу не обратил внимания — только Викториа́н беззвучно ахнул, наблюдая за тем, как златоглазая шасса во весь дух несется к полыхающей двери, не боясь ни жара, ни огня. И не остановить ее, не помешать — арбалеты наемники разрядили, пытаясь подстрелить не в меру юркую собаку, а Катрина застыла каменным изваянием с белым как мел лицом, с трудом удерживая в трясущейся руке тяжелый револьвер.

Брызнули во все стороны горящие щепки, когда шасса, на ходу обросшая чешуей, отражающей золотые отблески пламени, всем телом ударилась в заколоченную дверь, проламывая прочные доски и исчезая в заполненном черным дымом огненном аду.

Пока не поздно... Пока еще не поздно...

Выбить у Катрины револьвер оказалось даже слишком просто — всего один хлесткий удар по трясущейся руке, и оружие отлетело в сторону, выстреливая в мостовую стуктом алого пламени.

— Стоять! ВСЕМ! СТОЯТЬ! — Усиленный малой толикой магии из орденского медальона, голос Викториа́на эхом загрохотал над испуганно притихшими людьми. Дудочка, не вычурная рабочая, что болталась мертвым, бесполезным грузом на поясе, а тонкая и простенькая на первый взгляд, до сих пор тщательно оберегаемая от посторонних глаз, моментально оказалась в руках змеелова, но заиграть не успела — объятый пламенем дом вдруг перестал гореть.

Вот так просто: огненные языки словно впитались в почерневшие от сажи стены, ветер, дующий со стороны пожара, вдруг остыл и посвежел, а из пролома на месте двери, сделанного перекидывающейся шассой, начали выбегать ромалийцы. Обожженные, отчаянные, кашляющие от дыма, но живые.

— Стреляйте! Уйдут ведь! Они...

Затрещали доски, которыми были заколочено самое большое окно на первом этаже, ставни содрогнулись от мощного удара изнутри.

— Быть не может... — тихонько шепнула бывшая дудочница, сцепляя покалеченные, неровно сросшиеся пальцы в замок.

Викториан невольно улыбнулся и расправил плечи. Может, еще как может.

Ставни вдруг осыпались легким серым пеплом, в темноте заполненного дымом помещения мелькнуло сияние расплавленного золота, повеяло жаром, как от кузнечного горна, а затем на каменный подоконник легла тонкая чешуйчатая рука с длинными когтями. Сияющая, подобно солнцу. Так ярко, что глазам было больно смотреть. Подоконник моментально раскалился докрасна, зашипел, оплавляясь, пока золотая шасса, сбросившая наконец-то человечесью шкуру, выбиралась на волю, неловко перебирая руками и глядя на Викторiana в упор ярко-желтыми глазами с узким вертикальным зрачком.

Страшное и одновременно восхитительное по красоте зрелище — змеелюдка, чья чешуя подобна расплавленному золоту и пышет жаром столь сильно, что даже на расстоянии двадцати шагов хочется отвернуть лицо и закрыть его рукавом, чтобы уберечь от ожогов. Изящный женский трос плавно перетекает в длинный гибкий хвост с янтарно-рыжим жалом на кончике, лицо, которое язык не повернется назвать мордой чудовища, настолько тонкое и обманчиво-хрупкое, что кажется отлитым из золотого слитка и украшенным тончайшей резьбой. Крохотный, почти незаметный носик, тонкая линия рта, неяркий бронзовый узор, вьющийся по щекам наподобие татуировки и «рисующий» шассе нечто вроде удивленно приподнятых бровей. Огромные глаза, кажущиеся озерцами расплавленного металла, золотыми звездами. Длинные, гибкие шипы, растущие у шасс наподобие волос, едва заметно покачиваются в такт каждому движению змееды. Волшебное, чарующее создание. Оборотень, легко меняющий одну человечесью шкуру на другую.

Девушка с змеиными глазами, легонько вздрагивающая в ответ на каждое его прикосновение. Еле слышный звон кандалов в полумраке...

*Ты можешь меня убить прямо сейчас, если захочешь, взять ключ и уйти отсюда. Никто тебе не помешает.*

Она могла убить его еще тогда. Укус шасс ядовит, даже когда они сохраняют человеческий облик. Ослаблен, но все равно смертельно ядовит для человека, особенно для того, кто не хочет бежать за помощью и противоядием. Кто играет со своим наиболее сильным страхом и самым глубинным желанием.

Но не убила.

Всего лишь на миг в голове змеелова возникла предательская, чуждая и при этом совершенно естественная мысль — такие существа, как золотые шассы, должны жить. Просто обязаны, иначе... что-то важное будет утрачено безвозвратно.

— С-с-са ш-ш-што?

Голос приглушенный, срывающийся на шипение, такой, как будто заговорил брошенный в ледяную воду брусок раскаленного добела железа. Шасса сползла с подоконника, нимало не беспокоясь ни о моментально раскалившихся камнях мостовой, ни о нацеленных на нее арбалетах. Свободная от неудобного, неуютного человеческого облика, превосходно чувшая страх людей, попятившихся назад, стоило ей только качнуться в их сторону и поднять острый янтарно-прозрачный спинной гребень.

Револьверный выстрел, грянувший в шаге от Викторiana, разорвал сгустившуюся над улицей тишину, выбил каменную крошку из покосившейся стены за спиной у шассы, но саму змеелюдку даже не задел. И неудивительно: и обычным-то шассам большого вреда от магического удара не будет, а уж золотым и подавно — либо впитает заряд магии, став еще

сильнее, либо отклонит его в сторону, оставшись целой и невредимой.

— Стреляйте по бродягам!

Наемники оказались на удивление исполнительными. Защелкали тетивы арбалетов, тяжелые болты с калеными наконечниками, рассчитанные на тварей с толстой шкурой, насквозь пробивали хрупкие даже на первый взгляд, непрочные человеческие тела. Кто-то упал и больше не поднялся, кто-то нашел в себе силы и попытался уползти в ненадежное укрытие за деревянными ящиками, сложенными у стены ближайшего дома. А затем...

Дудочник не поверил своим глазам. Золотая шасса ринулась защищать ромалийцев. Невзирая на то, что очень быстро ее шкура перестала сиять, подобно солнцу, а отпугивающий людей жар пропал. Не обращая внимания на засевшие в хвосте тяжелые болты, на пачкающую безупречное золото чешуи алую кровь, струящуюся из ран. Она просто зло и яростно калечила, выводила из строя наемников одного за другим, защищая своих. Вольных детей дорог, однажды принявших ее дождливым осенним днем, безумный и благословенный кочевой народ, славный на весь мир песнями и плясками, что могут остановить нежить, чудными извилистыми дорогами, которых никто, кроме них, не находил, и легендами, в которых больше правды, чем в книгах змееловов.

Защищала людей.

— Убью... убью...

Викториан обернулся. У Катрины дрожали руки, и потому у нее никак не получалось перезарядить револьвер. Сколько пуль в ее магической игрушке? Четыре? Шесть? Две она израсходовала при нем, куда делись оставшиеся?

— Гадина... тварь...

Щелкнул, вставая на место, откидной барабан, ганслингер вскинула руку с револьвером, но выстрелить не успела. Мелькнула переливающаяся в тусклом утреннем свете чешуя, шасса оказалась рядом с девушкой удивительно быстро, будто бы позабыла о том, что не могут, не должны змеелюды передвигаться с такой скоростью. Молниеносные броски на короткое расстояние — да, удар массивным хвостом, когда человеческий глаз видит лишь размытую тень, — еще как да, но преодолеть за мгновение расстояние в полтора десятка шагов и вздернуть девушку в воздух за руку, удерживающую револьвер, как тряпичную куклу, — это уже перебор.

Тонкий, надрывный крик Катрины почти заглушил хруст костей, когда шасса смяла ее правое запястье, как бумажное, подержала еще мгновение, а потом отбросила ганслингера в сторону, нимало не заботясь о ее дальнейшей судьбе.

Лучше бы убила...

Огромные змеиные глаза оказались напротив лица дудочника, когда шасса наклонилась и легонько, почти нежно провела длинными когтями по его шее, а потом внезапно сгребла за воротник и одним рывком подняла в воздух, вынуждая змеелова беспомощно болтать ногами и отчаянно цепляться за чешуйчатое запястье.

— Ты ш-ш-ше обещ-щ-щал их с-с-спас-с-сти!

Мгновение, когда в голове стало пусто и гулко, а сердце поочередно сжимают страх и щемящее, необъяснимое чувство, которое побуждало... Попросить прощения? Заткнуть ей рот, чтобы не выставляла ничтожеством?

Защитить?..

Где-то вдалеке ледяным колокольчиком прозвучал высокий девичий смех. Неожиданный, неуместный звук, услышав который змеедева разжала пальцы, отбросив

дудочника в сторону, будто нашкодившего щенка, круто обернулась, со свистом взрезав копной тонких шипов воздух, и громко, с вызовом зашипела, приподняв блескучий острый гребень над позвоночником. Что-то приближалось, и это неведомое что-то умудрилось обеспокоить своим присутствием даже золотую шассу.

Мостовая затряслась. Вначале едва ощутимо, мелкой неявной дрожью, а затем все сильнее и сильнее. Казалось, будто бы неведомая сила лупит огромной кувалдой из-под земли по тесно уложенным камням, надеясь разрушить непреодолимую доселе преграду.

Ясмия обернулась через плечо, цепкий, пристальный взгляд змеиных глаз скользнул по лицу дудочника.

— Беги. И с-с-собери с с-собой вс-с-сех, кого с-смо-жеш-шь.

Змеелов вздрогнул, потянул было из чехла, висевшего на груди, тонкий инструмент Кукольника, но шасса коротко, отрывисто тряхнула головой.

— Не с-спас-сет. С-с-с этим не борюте-с-ся. От этого бегут.

Невесть откуда поднявшийся туман заполнил собой все пространство вокруг, белыми молочными волнами изливаясь из узких переулочков и свиваясь в плотное облако, накрывшее собой притихший квартал. Подземные толчки все нарастали, так, что невозможно было уже устоять на ногах, становились чаще и размеренней — будто бы где-то в глубине под городом билось чье-то гигантское сердце, а потом мостовая вздулась чудовищным каменным нарывом и лопнула, выпустив на волю ворох темных щупалец, похожих на непрестанно извивающиеся змеиные хвосты толщиной с корабельную сосну.

Сердце дрогнуло и пропустило удар, обдав изнутри леденящим холодом и поселив в голове пустоту, наполненную лишь шумом крови в ушах. Викторинан медленно, будто во сне, оглянулся. Никто не остался стоять, даже шасса припала к земле, сложив спинной гребень и обернув длинный хвост кольцом вокруг себя.

Гулкую тишину нарушил еле слышный стон.

Катрина. Тихонько подвывающая, лежащая на боку и баюкающая жестоко покалеченную, раздавленную змеелюдкой руку. Остро пахнущая железом кровь насквозь пропитала рукав, белые кружева на манжете обратились в красные, пальцы скрючились и поникли. Глаза девушки были плотно закрыты, она бредила, что-то неразборчиво бормотала и даже не пыталась подняться.

Может, оно и к лучшему.

Потому что существо, пробившее себе путь на волю из подземных катакомб Загряды, было чем-то невиданным. Грандиозным. Подавляющим.

Шасса была права: с этим бороться невозможно. Можно только попытаться убежать как можно дальше и надеяться, молиться, чтобы это создание сочло тебя слишком мелким и незначительным, недостойным своего внимания. Быть может, тогда и только тогда удастся спастись...

— Мийка! — Змеелюдка вострепелась, услышав этот голос, резко поднялась на хвосте и обернулась на звук. — Лови!

Что-то просвистело в воздухе, шасса стремительно метнулась в сторону, перехватывая это нечто на лету, и круто развернулась лицом к выбравшемуся из-под земли чудовищу, держа в опущенной руке уже знакомый Викторинану посох ромалийской лирхи, к которому был привязан небольшой кожаный мешочек.

Ай да старуха!

Змеелов вспомнил женщину, что была прежней лирхой у этого табора, вспомнил, как

властно и уверенно она набросила дорожную шаль на худенькие, дрожащие плечики чернявой девчонки.

### *Нашей крови ребенок...*

Неужели та длиннокобая «зрячая» еще тогда знала, перед кем придется встать ее приемнице, и потому из всех, кого ромалийский табор встречал на дороге, выбрала именно затаившуюся в человеческом теле шассу, да не простую, как оказалось. Золотую, волшебную, редкую змею пригрела на груди лирха в надежде, что, когда табор окажется пред лицом подземного ужаса, шасса сумеет выстоять там, где человеку не будет предоставлено ни единого шанса.

Змеелюдка взмахнула посохом, на удивление чисто, без шипения выговаривая странные, непонятные слова, наполнившие гулкую тишину, как молоко — кувшин. Эхо заметалось в каменных тисках меж домов, отразилось от развороченной мостовой и ударило в переплетение слабо светившихся гнилой зеленой щупалец, заставив их отшатнуться, свиться в тугий жгут и нырнуть обратно под землю, в неровный пролом.

— Михай! — Шасса, не оборачиваясь, полоснула себя когтями по бедру, окровавленные пальцы заметались в воздухе, чертя уже знакомый ярко-красный знак. — Собирай всех, кого сможешь! Я открою вам дорогу к северному морю!

Бам-м-м-м!

Грохот раздался такой, что дудочник упал ничком, зажав уши руками. Земля заходила ходуном, затрещала и вдруг разошлась вдоль и вширь огромной рваной раной, в которой исчезло и ромалийское зимовье, и стоявшие по соседству два дома. Из огромного пролома, в котором скрылась часть улицы, к розовеющему предрассветному небу с громовым ревом ринулся лес туго скрученных жгутов, отливавших бледной сияющей зеленью, и обрушился вниз, на спящий город.

Выстроенная змеелюдкой колдовская стена вспыхнула алым полукругом, едва сдерживая напирание чудовище, и в краткий миг озарения Викторинан понял, что именно эта тварь и есть та самая Госпожа Загряды, слухи о которой иногда доходили до Ордена, но подтвердить существование которой еще никому не удавалось. Кто-то думал, что это просто очень старая вампирша, живущая в тщательно скрываемом от посторонних глаз подземелье, кто-то предполагал, что это просто дух города, призрак, обладающий большой силой, но почему-то предпочитающий нейтралитет. А оказалось...

С этим созданием нельзя договориться. Его очень трудно убить человеческими руками — если вообще возможно. Его существование раскрыто, и неизвестно теперь, вернется ли прежнее хрупкое равновесие, в котором пребывала Загряда до сих пор.

Сквозь алую пелену пробилась серо-стальная молния, звенящим шаром прокатилась по мостовой и остановилась в шаге от сияющего золотом шассьего хвоста, оказавшись чараном. Судя по косым, едва запаянным шрамам на прочной броне — тот самый, который лежал на пыточном столе в следственном доме. Быстро оклемался, ничего не скажешь.

— Доигр-р-рались, — глухо прорычал железный оборотень, встряхивая звенящей гривой с крохотными белесыми искорками на кончиках прядей. — Что делаем?

— Найди ромалийцев и других людей в этом квартале. Всех, кого сможешь, и принеси сюда. — Ясмия взмахнула посохом, блеснув бронзовым узором на золотой чешуе, гибко извернулась, будто в танце, и приподнялась на свернутом в кольцо хвосте.



Казалось, шасса не замечала ничего вокруг, поглощенная странным, текучим танцем, повторить который не сможет ни одна даже самая лучшая человеческая танцовщица. Нет у человека такой гибкости, такой плавности движений, не может он настолько чарующе переливаться из одного движения в другое, когда кажется, что существо состоит не из плоти, крови и костей, а из воды, ветра и солнечных бликов на поверхности реки. Золотая чешуя сверкала и искрилась сама по себе, как будто в глубине шассьего тела было заключено свое солнце, жаркое, сияющее, способное осветить собой если не целый мир, то один отдельно взятый город — точно.

— Эй, парень! — Вик не сразу сообразил, что обращаются к нему. Обернулся — и увидел изгвазданного по уши рослого ромалийца. Того самого, что на своем горбу вытаскивал по серебряной колдовской тропе истекающего кровью чарана в человеческом облике и не побоялся принести своей лирхе ритуальный посох. — Не сиди тут, беги, пока можешь. И девку свою полоумную прихватить не забудь. Дрянь она, конечно, порядочная, но...

Ромалиец как-то устало покосился на зеленоватые щупальца, беспорядочно бьющиеся о волшебную преграду, и тяжело вздохнул.

— Ты же понимаешь, что такой твари по доброй воле нельзя оставить ни единой жертвы.

Змеелов молча кивнул и поднялся. Кое-как взвалил на спину потерявшую сознание Катрину и, прежде чем скрыться за поворотом улицы, ведущей к ближайшим городским воротам, оглянулся. То, что он увидел мельком, раскаленным железом отпечаталось в памяти.

Горящая золотым огнем шасса, удерживающая в одной руке посох, нижним концом упирающийся в мостовую, и кое-как не дающая расползтись кровавому знаку свободной ладонью, окровавленной, с поломанными когтями и ободранной чешуей.

Дрожащая, трепещущая, будто на невидимом ветру, алая колдовская взвесь, не позволяющая гибким щупальцам, на нижней поверхности которых раскрылись круглые, как у миноги, рты, добраться до кучки людей, по одному скрывающихся в портале.

Мечущийся туда-сюда серо-стальной тенью железный оборотень, едва успевающий уклоняться от хлестких ударов чудовища и приносящий живых людей откуда-то из руин, из соседних переулков.

И звонко смеющаяся, хохочущая во весь голос под кровавым душем девица со слепыми, затянутыми бельмами глазами на миловидном кукольном личике, в длинном немарком платье горожанки, стоящая посреди этого ада в окружении щупалец...

Госпожа Загряды...

Викториан уже абсолютно точно знал, что не забудет это зрелище до самой смерти.

Сырая глинобитная дорога была едва видна в сереющих сумерках, небо на востоке просветлело, но тяжелая пелена надвигавшихся с юга грозовых туч успешно пожирала первые солнечные лучи, и Викторин ехал почти вслепую, одной рукой придерживая безвольно лежавшую поперек седла Катрину, а другой натягивая поводья, не позволяя перепуганному животному нестись вскачь. Загряда осталась позади, за холмом, и за дудочником никто не гнался, но ему постоянно чудился чужой, хищный взгляд, высверливающий затылок, который пропал лишь после того, как конь взобрался на очередной холм, повыше, и там остановился, дрожа всем телом.

Змеелов спешился и повернулся лицом к затянутому белесой туманной дымкой городу, лежавшему в низине и едва заметному в темноте лишь благодаря кое-где сохранившемуся уличному освещению. Вытянул из-за пазухи инструмент Кукольника и приложил его к губам, играя ту же мелодию, что и в день прибытия в Загряду, ту же музыку, отделяющую людей от нелюди, своих от чужих и отмечающую нечисть крохотным светящимся огоньком, видимым лишь самому Викторину. Негромкая, пронзительная трель разнеслась над притихшей низиной, над рекой, огибающей Загряду по западной стороне, накрыла город невидимой простыней... Одна за другой зажигались мерцающие алые точки... Десятки, сотни... на крышах домов, на улицах и площадях, на городской стене и у самых ворот...

Змеелов вздрогнул, пальцы, удерживавшие тонкую металлическую трубочку, мелко затряслись, едва не сбив ритм мелодии. Потому что яркие алые огоньки, усыпавшие предрассветную Загряду, были всего лишь искрами, поднимавшимися от огромного костра, зеленоватым гниlostным пламенем полыхавшего под городом.

И в этом костре у западной стены металась ослепительно-яркая золотая звездочка.

Зеленые языки пламени то захлестывали ее, то отступали, а алые точки-искры подбирались все ближе, стремясь задавить, погасить непокорную звезду, уничтожить редкое и непокорное змеиное золото, похоронить его под городом, в сияющем болоте, которое было... Чем? Нечистью, подобной которой никто никогда не видел? Порождением давно забытой и похороненной во времени магии? Но как такое можно было пропустить?!

Золотая звезда чудом оказалась у едва заметной границы, пролежавшей вдоль западной стены и кольцом обнимавшей Загряду. Какой-то барьер, который не могло преодолеть зеленое пламя.

Ну же... еще немного! Викторин прикрыл глаза, и мелодия, разносившаяся над рекой, стремительно изменилась. Змеелов больше не был простым, незаметным наблюдателем. Он стал тем, кто приказывает встать на колени силой воли, вкладываемой в тонкую, пронзительную и звенящую, подобно стальной удавке, музыку.

И зеленое пламя дрогнуло, слегка расступилось и вдруг опало неровным кругом, будто бы кто-то огромный, невидимый в темноте одним махом затоптал почти треть пылавших угольев — это и позволило золотой звездочке наконец-то пересечь черту городских стен. Вик успел увидеть, как следом за ней через границу перемахнула крохотная, стремительная, как метеор, золотисто-алая искра, и торопливо отнял дудочку от губ.

Вскочил на коня и, не оглядываясь, погнал его прочь от проклятого города...

**Больше книг на сайте - [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**